ISSN 0131-6656

СМЕНА

ГРЕГОРИ МАКДОНАЛЬД. СОЗНАВАЙТЕСЬ, ФЛЕТЧ!

ИЭН ГИЛЛАН - ЗВЕЗДА РОКА. • ОКТЯБРЬ 1917-ГО. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА.

11'91

НИКОЛАЙ ВРАНГЕЛЬ. ПРИЗРАК МИНУВШЕГО СНА.



11'91

СМЕНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
Основан в январе 1924 года.

Сдано в набор 20.08.91.
Подписано к печати 18.09.91.
Формат 84×108⅟₃₂.
Бумага газетная «Тампресс».
Печать офсетная.
Усл. п.л. 15,54. Усл. кр.-отт. 17,64.
Уч.-изд. л. 23,10. Отпечатано
1 665 034 экз. (из общего тиража
1 865 000 экз.).
Заказ № 842.
Цена 1 р. 65 коп.

101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14.
212-15-07 — для справок
212-11-27 — отдел писем.

Типография издательства
«Правда»
125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

11 (1525) НОЯБРЬ

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

20
АНДРЕЙ БЫЧКОВ. РОКИ РАККУН
Рассказ

66
НИКОЛАС УАЙЗМЕН. ФАБИОЛА
Повесть

206
ГРЕГОРИ МАКДОНАЛЬД. СОЗНАВАЙТЕСЬ, ФЛЕТЧ!
Детектив

ПОЭЗИЯ

14
ВЕРОНИКА БОДЕ, АНАТОЛИЙ БОГАТЫХ, ОЛЕГ АЛЕШИН, ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

4
ВИКТОР АНТОНОВ. ХРАМ

34
БОРИС КРИЧЕВСКИЙ. ПЕТРОГРАД. ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА

138
ИРИНА ХАЛЕЕВА. ЯЗЫК МОЙ

190
СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ. КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ

282
МАРИЯ БОГДАНОВА. ЦЫГАНСКАЯ СВАДЬБА

НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ

150
ВЛАДИМИР АНИСИМОВ. НАШИ ЗА ДУНАЕМ

КУЛЬТУРА, МУЗЫКА, ИСКУССТВО

54
НИКОЛАЙ ВРАНГЕЛЬ. ПРИЗРАК МИНУВШЕГО СНА

На нашей обложке: фотоэтюд ВЛАДИМИРА ОГЛОБЛИНА

144
АЛЕКСЕЙ ЗАИКИН. ИЭН ГИЛЛАН

164
СНИМАЮТ ФОТОЛЮБИТЕЛИ

180
СВЕТЛАНА МАГДИСОН. «Я ДОБРЫМ БЫТЬ СТРЕМИЛСЯ...»

187
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВ. ФЕЙЕРВЕРК НАД КАЧКАНАРОМ

274
НАТАЛЬЯ КИЛЕССО. СЕРГЕЙ ДРОНОВ

СПОРТ

194
КОНСТАНТИН ТИНОВИЦКИЙ. НЕ ВООРУЖЕН, НО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН

276
ШАХМАТЫ, КРОССВОРДЫ

АНОНС:

■ **ИВАН ЕЛАГИН.** Из неопубликованного.
«Обо мне забудут; мои стихи «туда» не дойдут»... Но они дошли и живы сегодня, стихи, проникнутые трепетным чувством любви и уважения к родной земле и болью за трагическую, горькую судьбу поколения, «в чужую землю брошенного»...

■ **МАРИЯ КУСТОВА.** «Майская ночь».
События той давней ночи — одной из самых мрачных ночей царствования Николая II — много лет привлекали внимание известных писателей и журналистов. Что же случилось на Ходынском поле и кого можно считать виновниками этой трагедии?

■ **ВЛАДИМИР АНИСИМОВ.** «Травники».
«Весть о новой необычной лечебнице быстро разошлась по Краснодарскому краю, а потом — через пациентов, их родственников — и по многим другим городам».

■ **СЕРГЕЙ КАЛЕНИКИН.** «Грядет нечто...»
Совместная экспедиция «Смены» и экологической ассоциации «Аргус». «НЛО: реальность и вымысел. Мы под колпаком пришельцев? Кругом — одни «барабашки»



ВИКТОР АНТОНОВ
Фото ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

Этот день нигде особо не отмечен, но запомнится надолго. Тысячи две, пожалуй, собралось в Косине у трех церквей, что над Белым озером. Сам Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II отслужил литургию по случаю возвращения чудотворной иконы в дом свой. Давно уже праздник Косинской или Моденской Богоматери не знал подобного: с пением, со свечами пронесли образ Царицы небесной в резной раме, подняли по ступенькам к колоннам храма Успения.

— Пресвятой Богородице помолимся,— воззвал церковный бас.

— Пресвятая Богородица, помилуй,— подхватил хор...

Репетиция хора

А чуть в стороне одиноко стоял человек, едва ли не больше всех сделавший для нынешнего события,— директор детской музыкальной школы Альберт Артович Князев. И вид у него был далеко не праздничный. Я-то чуть не подлетел к нему с поздравлениями: ведь это ж он когда-то и разыскал икону и упросил реставраторов привести ее в божеский вид (и все гадал, куда бы лучше определить ее, ведь в кабинете же не повесишь) — теперь-то она заняла свое законное место, как не порадоваться?

Но именно сегодня поздравления прозвучали бы насмешкой: ему-то радоваться нечему — вот разве что за икону. Материал о Князеве написан был давно, но жизнь дописала свою концовку, и я понял, что дольше ждать нельзя, что должен рассказать о другом хоре, еще недавно певшем в Успенском храме...

— Сколько стоит хорошая акустика? Такая вот уникальная, как здесь?— вопрошает Князев своих

АМ

может стать «запретной зоной» для детского песнопения

восьмилетних хористов, обводя взглядом и очерчивая руками своды храма — концертного зала — предмета своей гордости, их общей гордости. — Миллион, миллиард? Я вам скажу: больше! Старые мастера знали секрет, но унесли его с собой. Вот отсюда, где сейчас рояль, а прежде был алтарь, можно было говорить тихо — и все равно слышно в любом приделе.

И он снижает свой голос до шепота:

— Так вот слышно меня?

Да, слышно. Хотя магнитная лента на таком расстоянии фиксирует речь невнятно. Она же подтверждает старую истину: своды церкви рассчитаны на размеренную речь и торжественное слово, а не на суетный разговор. Князев же говорит восторженно и быстро; он всегда говорит взахлеб, когда речь ведет о музыке.

— Видите эти своды? Здесь нет ни одной прямой линии. Потому что сфера — это совершенство. Так и хороший, открытый звук — округлый, он не должен быть плоским, задавленным... Вообще-то голос — самый совершенный музыкальный инструмент.

Директор садится к роялю.

— А теперь первые альтики на первый ряд, вторые альтики — на третий. Сопранчики то же самое. Все помнят, у кого какой голос? Люсь, у тебя какой? Забыла уже? Давай сюда, вперед. Начинают первые альтики, сопранчики подхватывают. Вот с этого места: «ми», «ми». Поняли? У вас в партитуре там «фа» — неправильно. Все запомнили? Попробуем сперва без слов. Отсюда, с «ми»...

Резкий взмах руки — голоса разом смолкают. Но звук еще плывет, воспаряя к куполу, медленно истаивая.

— Вот!— вскакивает со стула.— Вот, слышите? Он тут еще,





висит, как туман утром в лесу. Такой чистый... Да, иногда вы так можете спеть, ну так хорошо, как я не знаю! А иногда...

Месяца три назад, перед началом учебного года, я спросил у Альберта Артовича, как бы послушать их хор. «Нет, что вы, дети наши пока не поют,— объяснил он. — Где-то во втором полугодии, не раньше. Им же надо распеться. Никак не раньше». Я еще недоумевал: отчего так долго? А Князев знает: прежде времени нужный звук не родится, хоть клещами его тяни. Он должен вызреть сам. А занятия? Они лишь помогают ему созреть.

Нет, всего этого не сказал тогда директор 85-й косинской музыкальной школы. Это открылось сейчас, в этом зале.

Дорога к храму

— Для меня он не просто концертный зал,— говорит Князев.— Это — храм.

А как еще может относиться к своему детищу человек, пятнадцать лет жизни потративший, чтобы поднять из руин этот памятник. И ведь поднял! Ну, может, «из руин» — слишком сильно сказано (сама торжественность обстановки диктует «высокий штиль»), но состояние Успенского собора, много лет служившего складом театрального реквизита, было и впрямь плачевным (довольно посмотреть снимки 70-х годов). Равно как и церкви Николая Святителя с двухъярусной звонницей, в подвале которой в войну их, детсадовских ребятишек, прятали от бомбежек. Позже и тут был театральный склад. Но у этих двух церквей хоть каменные стены сохранились (первая треть XIX века как-никак), а в каком виде досталась третья — Николы Чудотворца — деревянная, XVII века? Развалюшка — другого слова нет. А посмотрите-ка нынче на эту красавицу (любовно нареченную «деревяшечкой») с главкой-шишечкой наверху — просто игрушка!

Вот всю эту красоту у Белого озера и восстанавливали вместе с профессионалами-реставраторами сами ученики музыкальной школы. И их родители. Каждый взрослый обязан был отработать на той стройке 4 часа в год. Всего. А умножьте-ка 800 на 4 — внушительно? На самом деле работали много больше, кто хотел, тот приходил еще и еще. И ребята из других школ помогали, да и жители поселка не стояли в стороне. Прямо народная стройка. А уж сам Князев, конечно, пропадал тут все свободное время. («Свободное» — это, понятно, лишь метафора.) И колокола разные, найденные в хламе, и обломки паникадила, все сносил к себе в кабинет — до лучших времен...

Встретившись с увлеченным человеком, всегда хочется понять: что для него самое главное в жизни, каково генеральное свойство его натуры? Настойчивость и терпение? Способность противостоять любым модным веяниям? Умение увлечь окружающих своими идеями? Увы, не каждому даны незаурядные бойцовские качества, не всякий наделен страстью к преодолению. Но все надеются увидеть свою мечту воплощенной — и уже завтра...

Это уж как повезет — многое здесь от случая. У Альберта Артовича таких случаев — целая коллекция. Начать с того памятного, 45 лет назад, когда к ним в детсадик пришли учителя только что открытой музыкальной школы — и в числе отобранных ими оказался и он. А ведь запросто мог не попасть в список: школа же для совхозной детворы, а он-то из

фабричных. (И, может, вся последующая жизнь музыканта и педагога А. А. Князева была доказательством правильности того выбора?)

— Так о чем будем писать?— сразу же спросил он меня при знакомстве.

— О вас, о школе...

— Обо мне не надо, о школе давайте.

Само открытие ее знаменательно. Еще шла война. Разруха, голод — до музыки ли тут? И тем не менее первая в стране совхозная музыкальная школа была открыта 22 апреля — точно в Ленинский юбилей. Музыкальные инструменты для нее собирали буквально с полей сражений, до сих пор в одном из классов стоит — и еще как звучит!— «трофейный» «Стейнвей».

Да, Князеву везет. Настолько, что все стереотипы, выработанные десятилетиями: о неизбежности «прошибания» всякой здоровой идеи, о «взятии измором» чиновных кабинетов,— в данном случае вроде бы рушатся на глазах. Вроде бы только предложил — и пожалуйста. Уж сколько раз люди тертые и битые ему пророчили провал: даже и не связывайся, предупреждали, отступись, советовали. А он за свое. И — поди ж ты — выходил победителем. Одно слово: везучий. Чем еще, как не везением, объяснить, что удалось-таки убедить дирекцию двух театров освободить церковные помещения? Разве кто когда уступал добровольно «свою» площадь (если она не совсем в аварийном состоянии)? Значит, был бой?

— Да не то чтобы бой,— вспоминает Князев,— просто мы с прежним директором совхоза присмотрели другие хоромы под их декорации. Даже попросторней этих...

И приискали, и сами отремонтировали, лишь бы поскорей начать реставрацию.

— Храм-то мы подняли в основном в то самое застойное время,— довольно улыбается директор.— Сейчас бы у нас это вряд ли вышло. Почему? Слишком много охотников появилось. То никому не нужно было: все преспокойно рушилось, приходило в запустение. Зато теперь, на готовенькое-то...

— А не боитесь, что могут отобрать готовенькое?

— Отобрать?!— И он глянул на меня, как на ненормального.— У детей отобрать? Да мы всех на ноги поднимем — не дадим!

И мне становится стыдно. Нет, не от самого предположения — ведь бывало, чего уж там? — стыдно за противоестественное состояние, в коем все мы пребывали столько лет, и считали его нормальным. Стыдно, а ну как и сегодня подобное случится...

Но — случилось. В конце прошлого года обе Никольские церкви переданы были патриархии. Сегодня на очереди Успенская — концертный зал. Вопрос уже согласован — Моссовет «за», документы готовятся. И это несмотря на письма общественности с тысячами подписей: учеников, их родителей, известных деятелей культуры (во главе с народной артисткой СССР И. Архиповой). У кого не дрогнуло сердце при этой новости? (Но только не говорите, что решение принято по просьбе местных верующих — с каких это пор мнение простого человека у нас стало решающим?) О чем же просит общественность? Не лишать возможности **совместного** использования храма: разве Бах и Гендель, Бортнянский, Архангельский и другая духовная музыка противоречат постулатам церкви? Просят о создании

хотя бы церковной воскресной школы (на базе детской музыкальной). «Нам очень нравится петь в храме,— пишут Святейшему Патриарху Алексию учащиеся.— Мы бы хотели петь во время богослужений. Нам и уйти-то некуда. Школа наша в плохом состоянии...»

Не по-божески это как-то, отцы-святители, не по-христиански. Воля ваша, но отобрать у детей концертный зал (единственный очаг культуры), ничего не дав взамен,— это против заповедей. Разве дети, поющие в храме Ave Maria, не на пути к Храму Господню? И разве не наставлял Учитель будущих апостолов веры: оставьте сети, идите за мной, отныне не рыб, но души человеческие уловлять будете... А отлученные от храма пойдут ли в церковь? Сомнительно. Дай-то Бог, чтоб не стали они новыми Атиллами, сокрушающими святыни. «На музыкальную школу с концертным залом три миллиона мы найдем»,— пообещал Ю. М. Лужков. Но когда все это будет, а храма уже нет. Дети растут быстрее, чем начинают работать самые добрые проекты, и благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад...

Говорим об этом с отцом Михаилом, настоятелем косинских церквей.

— Наши предки для молитвы это строили, и никакого рояля тут быть не должно. Возвращать церкви — значит возвращать полностью.

— Но вам не кажется, что в конкретном случае что-то не так? Ведь дети с родителями вместе много лет восстанавливали храм, и вдруг в одночасье, не спросив ничьего согласия...

— А чьего согласия спрашивали, когда здесь ставили к стенке духовенство и верующих? Когда все отнимали, жгли, ломали?..

Да уж, тут возразить нечего: так было. Но по чьему приказу, по чьему «диавольскому наущению» совершалось сие святотатство? А преемники тех большевиков (их достойные ученики — плоть от плоти) преспокойно наблюдали, как загаживались святые места, и не мешали стихиям довершать разрушение (и как издевку развешивали таблички «охраняется государством»). А сменившие их бросились замаливать грехи (так, что лбы затрещали) и бездумно, одним росчерком пера похерили труд многих лет, надежды детей, их родителей, всех, кто приходил сюда и приезжал издалека прикоснуться к духовной музыке. Перечеркнули надежду на возрождение, веру в справедливость... Что целому поколению нынешних детишек грозит бездуховность, очевидно. На пустыре не жди обильных злаков — лишь чертополох да крапива. Что посеем... О какой исторической справедливости речь, о каком уважении к чувствам верующих? Наша «народная власть» никогда не считалась с мнением народа: ни когда рушили храмы и истребляли духовенство (и ведь тоже находились в народе, кто с охотой ставил свою подпись под «обращениями»), ни когда крестят лоб и возвращают церкви и монастыри. Не обольщайтесь...

Еще год назад везучий Князев был уверен: у детей — ни за что! Сегодня (хотя решения пока еще нет) уже не строит иллюзий:

— Все, храм отобрали — это вопрос решенный.

И его «Помогите!» — как последний вздох утопающего.

Дела житейские

— Главное, он живет: не какой-то склад под замком, немым укором всем нам, а вновь ожив-

ший культурный центр,— повторяет Князев с гордостью. Еще бы: на балансе у совхозной школы такой концертный зал! Москонцерт дважды в неделю свои концерты устраивает. Со всей Москвы едут, и билеты совсем непросто достать.

Помню, после репетиции наставлял он своих воспитанников — только, чур, по секрету!— как можно попасть на выступление знаменитой хоровой капеллы:

— Кто захочет пройти — бесплатно, разумеется, три рубля за билет — это ж дорого,— пусть подойдет ко мне. За полчасика до начала. Станьте рядом и ничего не говорите — я сразу все пойму. Если будете просить: «Альберт Артович, проведите нас»,— все, ничего не выйдет. Администратор наша Элла Серафимовна, она строгая. Как услышит, сразу: «Ага, без билета? Никак нельзя». Вы молча стойте, и все. А я пойду туда, вдоль стеночки, и буду тихо бубнить под нос, она — за мной, станет переспрашивать: «Что-что?» Я дальше, она — за мной. А вы сразу налево, за портьерку шмыг. Многих враз провести, понятно, не смогу, но двоих, троих вполне...

Сколько же слов было сказано о необходимости приобщения детей к высоким образцам искусства, об эстетическом воспитании, одних диссертаций сколько написано, а как практически приобщить 8—10-летних к тем образцам, каждый учитель должен решать сам всякий раз. И не знаешь, чему больше удивляться: прозорливости ли тех, кто неизменно находит эти способы, слепоте ли прочих педагогов...

— Культуру на потом откладываем,— горячится Князев.— Вот у нас здоровый микрорайон отгрохали. И что? Один Дом культпросветработы — и все! Спортсооружений никаких. Беспросветно. Ну куда человеку деться? Пришел с работы — садись к телевизору, посмотрел — ложись спать. Утром встал — пошел на работу, пришел с работы — опять телевизор. Город-спальня. Мы ж совершенно отвыкли от общения, от соборности — каждый сам по себе...

Может, в этом директор музыкальной школы и видит свою задачу: разбудить спящий город, возродить традиции общения? А как же иначе — ведь он восприемник традиций первых учителей косинской музыкальной. Многие из них — признанные авторитеты, авторы учебников...

— В Москве-то им было удобней и ближе — что их гнало сюда, что заставляло? Конечно, не материальные блага, какое там. Зимой брели от электрички по колено в снегу. Но шли! А теперь... Как-то незаметно и мы съехали в общую колею, и нас потихоньку засасывать стало мещанство, этот вот вещизм. И высокому предназначению приходится потесниться.

Раз после репетиции нужно было Князеву ехать в мебельный за стенкой для квартиры. Дело житейское, но чем другой бы только гордился, его явно смущало. За роялем для школы кинулся бы, не раздумывая, а тут, чувствовалось, не в своей тарелке. Иной мир, с иными критериями ценности...

Обретенное чудо

Собирает Князев свидетельства о Косине с древнейших пор: тут и данные научных трудов о целебности местного озерного ила (недаром врачевали им раны еще во времена татарского нашествия), и изустные предания — но уже не легенда — о знаменитом косинском пескаре, за которым давились у Елисеева московские купцы, отводя душу после семги да

белорыбицы... Словом, все, что работает на идею восстановления корней, возрождения первородства, все идет в дело.

Такого мастера оживлять предания надо поискать. За что бы он ни взялся, все обретает почву, почти историческую достоверность. Прямо наваждение какое-то. Не удивлюсь, если когда-нибудь на дне Святого озера и впрямь отыщут остатки часовни, которая согласно легенде медленно и торжественно, под пение серафимов, ушла под землю, и на месте сем появилось озеро (вот вроде знаю, что озеро доледниковое, а не удивлюсь).

А тут загорелся идеей найти старинную икону. В 40-м, когда косинские церкви закрыли, много чего было сожжено и поломано, что-то растащили по домам. И среди главных утрат числились две реликвии: иконы Николы-Чудотворца и Богоматери Моденской. Граф Борис Петрович Шереметев привез из Италии в подарок Петру I икону греческого письма. А Петр как раз только что перевел свою «потешную» флотилию из Измайлова на простор Косинских озер. Хоть и недолго проплавала она здесь — скоро тесным показалось Белое озеро возмужавшему «державному отроку», но любо стало государю место сие. Настолько, что в 1717 году подарил он прихожанам местной Никольской церкви (да, той самой деревяшечки) Моденскую Божью Матерь. И почиталась она с тех пор чудотворной, исцеляющей от болезней.

Так вот она пропала, и, казалось, бесследно. Услышал как-то музыкант одно пророчество: «Ищите у себя в поселке, икона же косинская, исконная — не могли ее жители отдать. Ищите...»

С тем и пошел он по домам старожилов. Чайку попьет, потолкует о старине. Видел, как вспыхивает в людях вера (не загасили, знать, окончательно, не затоптали) — и они тоже начинали искать. И один старичок вспомнил: в музее Андрея Рублева есть человек, который говорил как-то, что встречал эту икону. Поехали к нему. И верно, указал тот человек адрес. Нашли-таки — в ленинградском Казанском соборе! Стоит в запасниках, калькой закрытая, закопченная вся — только лик Богоматери чуть проглядывает. Возили туда косинских бабушек (поссовет машину давал) на опознание. Те походили вокруг, поглядели да вдруг как заплачут, запричитают — и давай прикладываться, целовать. Узнали, значит!

Нужно было только вернуть ей прежний вид. Но мастеров этого дела мало, очередь у них жуткая — на годы. Что делать? Князев пошел к директору совхоза и попросил выписать ему... мешок огурцов. Зачем? Вот и директор спросил: зачем? А вот зачем. Заметил Альберт Артович в мастерской — по манере речи, по строгости убранства комнат, по всему,— что мастера-реставраторы ну просто не могут не веровать. Так ли оно было на самом деле, не так ли, а попробовать стоило. Тем более уже начался пост, и от огурцов, поди, не откажутся. Директор совхоза ни в какую: «Да ты что, с ума сошел? За какую-то иконү...» Но и Князев не отступает: «Послушайте, Алексей Иванович, вы же культурный человек, всего Есенина наизусть знаете. Да что ж вам жалко, на святое-то дело?» Словом, уговорил. И иконку заветную взяли в работу. А ведь и впрямь оказалась она чудотворной, если стольких людей поселка смогла объединить. Был образован даже штаб по спасению памятников...

Да, еще совсем недавно дирек-

тору музыкальной школы за подобную самодеятельность не миновать бы нагоняя по партийной линии. А вот как-то же умудрялся избегать санкций и даже смог убедить отцов города: не шпилем завершить отреставрированный храм,как они предлагали, а, как и положено, золоченым крестом. «Да посмотрите ж, у нас весь ЦК — в крестах...» У кого-то, поди, возникнут сомнения: мало, что ли, Князеву других забот, что он еще занялся «поисками-находками»? Понятно, когда свой отпуск потратил на поиски могилы отца, погибшего в первые дни войны, но тут-то совсем другое...

Можно только гадать: что же им движет? Чувство ли чужой вины за прежнее варварство, благодарная ли память к древним стенам, спасавшим от бомб в минувшую войну? Или, может, просто душа музыканта настроена в резонанс этим сводам?

— Вот погодите, отвоюем еще здание старой земской школы да откроем в ней музей поселка — с древнейших времен — будет на что посмотреть. Чтоб хоть детям-то нашим не стыдиться за нас: дескать, могли, да не уберегли...

— Что, дети, восстановим Ave Maria? Красивая музыка, верно? Поищите-ка дома ноты. Но только, чур, работать так, чтоб не совестно было, чтоб не осквернять храм своим фальшивым пением...

Вот и закончилась еще одна репетиция. Еще шажок к совершенству. Подождем, пока мелодия созреет, и постараемся попасть на концерт. Лично я давно мечтаю прийти в зал пораньше, занять место в центре, под самой люстрой-паникадилом о тридцати свечах (та, подлинная церковная вещь, собранная из обломков). Именно здесь, говорят, пересекаются все магнитные линии, и человек способен исцелиться от многих недугов...

ВЕРОНИКА БОДЕ

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

В переулках бродили снег губами ловили
пели Гаудеамус и Аве Мария
а потом уезжали и втроем в Коктебеле
на раскинутой шали у моря сидели
осень выдалась шалой больной и бедовой
с перебежками вялой листвы по Садовой
все казалось бы весело было и мило
только ранило все и ничто не щадило

мы вернемся туда по извечному кругу
если кто-то отступит напомним друг другу
и приблизимся к нашему верному Раю
к побережию боли к его рваному краю
вот и город велик а все некуда деться
где закончится юность начинается детство
странный маленький мир сохрани его Боже
ибо дальше всегда будет так же и то же

город юности пуст холодны его плиты
неприветливы птицы из дьявольской свиты
и из дома никто не выходит навстречу
и совсем не такой представляли мы встречу
этот мир неподвластен ни тленью ни чуду
через тысячу лет тут по-прежнему будут
в небе крылья черны и рулады картавы
и река потечет через те же кварталы
на ее берегах будет чисто и пусто
и уже никогда не изменится русло

АВГУСТ

Маше Максимовой

Лето явно пошло на спад
и на лад — натяженье жил.
Это август себя изжил.
И молчишь. И отводишь взгляд.
И уже принимаешь в дар
гарь вокзальную, долгий дым.
И не жгуч этот поздний жар,
а покоен и нерушим.
Он теперь уже — только твой —
с хлебом съешь или в землю спрячь...
И глухие заборы дач
зарастают сырой травой.

И над бревнами комары
затевают вечерний пляс.
И в листве различает глаз
смерти призрачные пиры...

На террасе, под тихий стук
«роботрона» из-за стены
на охоту идет паук,
и движенья его верны —
не в пример тем страстям косым,
что неведомы пауку...

Чтобы лучше увидел сын —
подними его к потолку.

═

Все идет как-то так: мимо рук.
Только встанешь да глянешь вокруг:
Бог ты мой: мимо губ, мимо глаз
целый мир уплывает от нас.
За окном — то ли снег, то ли пух,
и летит, и летит во весь дух.
Он горчит и на вкус и на слух —
непонятно, который из двух.
Полуявь, полусон, полубред,
ни названья, ни облика нет.
Обернись: над кварталом пустым —
это облачный храм или дым?..

АНАТОЛИЙ БОГАТЫХ

═

...Еще потерь своих — на полпути —
не сознаешь, влюбленный в звон таланта,
но поздней ночью у бессонной лампы
взгляни в себя, как в книгу, и прочти
все сызнова. Иль как бесстрастный врач,
труп лет разъяв, спокойно и без дрожи
сними с души покров отмершей кожи,
гляди в себя и, если можешь, плачь...

═

...И не о тех,
теперь забывших род свой.
Но (в одиночестве, как в странном сне,
вдруг ощутив знобящий знак сиротства) —

во тьме ночной чредой явились мне:
и давний снег, багреный русской кровью,
и тени жен, познавших муку вдовью
(их долгий бабий крик до немоты),
и скорбных кладбищ русские кресты,
там, на чужбине,— имена простые
фамилий славных, кость и кровь России
(Твоей России, Господи,— прости
чужбину им, умершим и убитым.)
...Не мне ли знать,
что днем,
для нас сокрытым,
нас всех Владыка призовет, и примет,
и дýши наши благодатью летней
в последней правде и в любви последней
соединит; и враг врага обнимет,
и цвет знамен в один сольется цвет? —
Но плачу я, и горше плача нет,
когда ночами сны мне снятся злые,—
как навсегда уходят корабли,
как сохнут слезы ясных глаз России,
рассеянные по лицу земли...

МУЗЕ

...Я, убивший в себе человека,
полунищий, растерзанный, пьяный —
ради славы твоей окаянной
жизнь проживший, но жизнью не живший,
для тебя и детей позабывший,
ставший мертвым теперь, я — не каюсь,
но от славы твоей отрекаюсь
я, убивший в себе человека...

ХУДОЖНИК

Бросить весла и парус тугой опустить,
И по воле теченья безвольному плыть.

Без руля, по теченью, спустя рукава,
Плыть на стрежне крутом, огибать острова.

Повторить наудачу смертельный изгиб,
Где в отчаяньи прежде плывущий погиб.

Нет приюта душе, но и духу — оков.
И для пристани нет по бортам берегов.
Сам в себе заплутавший — во лжи расписной,
Не прельстит славословием берег родной,
Не заманит — надменный, холодный, чужой —
Окаянной свободою берег другой,

Ни властям, ни народу тебе не служить,
Только вечному верить, в прекрасное плыть.
И в награду земную, в награду уму
Испытать поневоле суму да тюрьму.
Да в отместку за честность — литую петлю.
...Но светла твоя жизнь в темноте, во хмелю!

ОЛЕГ АЛЕШИН

═

Язык мой нем, глаза, как два колодца,
В которых спит зеленая вода...
Тускнеют звезды, и восходит солнце —
Не остается в памяти следа.

Дитя столетья, или тень забвенья,—
Куда бреду, забыв свое село?
Мне кажется, на мир оледененье,
Как саван на покойника, легло!

Свернусь калачиком, как в материнском чреве,
Засыпанный снегами — притаюсь...
«Кто вам сказал,
что я на век свой в гневе? —
Я самой страшной смерти не боюсь!»

═

За кусок сердобольного хлеба
И протянутые гроши
Попросил у слепого я небо
И чуть-чуть его доброй души.
А изверившись в счастье навеки,
Погибая в глубоких снегах,
Попросил я костыль у калеки,
Чтоб устойчивей быть на ногах.
У обманутой выпросил веру,
У больного — несломленный дух,
А у нищенки жалкой — манеру
Не бежать от чужих оплеух...
И несчастной судьбе моей беглой
Стало как-то светло и тепло!
Словно Истину небо извергло,
И на сердце блаженство легло!..

ВАЛЕРИЙ ГУРИНОВИЧ

Припаду к следам горячим,
к тем следам — моей любви.
Не иначе, не иначе —
только слово повтори!
Будет все, как прежде,
бог с ним,
с тем, невыразимым днем,
с осенью, с поляной росной
в одеяньи голубом...
Будет все...
Как не бывало
складок горестных у рта,
и души не убивала
мелочная маета.
Припаду к следам последним,
вспомню первые слова.
Вспомню: ждал тебя по средам
после смены, ровно в два.
Только почему же — «вспомню...»?
Помню! И не забывал —
грохот электрички, «Сходня»,
тонкого лица овал.
Облака в зеленом цвете,
листья — в красном, в сентябре...
Восемнадцать. Губы. Ветер.
И — ни строчки о тебе...

РУССКОЕ ЧУДО
— Боже-е!
— зовет исступленно старик,
падая ниц у райкома.
И вмиг
рядом — надраенный рьяно сапог
нервную дрожь выбивает:
Как мог?! —
этот насквозь подозрительный дед
(грязный, заросший, разут и раздет...)
здесь, у парадного входа в райком,
биться о землю
бессмысленным лбом?!
....
В церкви, что рядом,
— не клуб и не склад,
там позолота, свеченье лампад.
Боже оттуда услышит скорей,
чем от райкомовских
строгих дверей...
Но — кто возьмется рядить да судить,
где нам поклоны привычнее бить,

чуда откуда привычнее ждать,
кто же на нас ниспошлет благодать?
...Гляну наверх,
но пусты небеса,
снова к земле опускаю глаза.
Так-то надежней
— авось, не споткнусь...
Вижу окрест
оголенную Русь.
— Русское чудо-о!
Аукнется крик...
Молча стоит перед Богом старик.

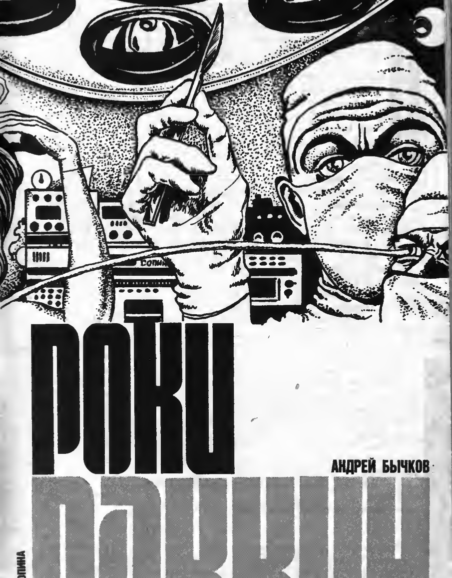
═

Эта очередь — куда?
Да не все ли нам едино!
Всех поглотит навсегда
зев пустого магазина.
Но не бытом — бытием
определено сознанье.
Все нормально, все путем,
все рассчитано заранее.
До рожденья твоего
и до моего рожденья...
Диалектики раденье —
единенья торжество!
Так что очередь — пустяк.
И, в затылок чей-то глядя,
повторяй же, бога ради:
все нормально, все ништяк...

═

Кто виноват? Опять — никто...
О, Господи!
А делать — что?
И в небе — звездный знак вопроса,
и на земле —
все тот же знак.
Но безответны глушь и мрак,
и жизнь,
летящая с откоса.
Неужто это — жизнь моя?..
Нелепый слепок Бытия
и галактического Духа.
Что в небесах и что внизу —
тут в пору уронить слезу.
Но и в глазах, и в сердце —
сухо...
Ты, осень, подводи итог,
подсчитывай
и так, и этак,
оставь свою — средь прочих меток:
не смог... не сделал... не сберег...





РОКИ РАККУН

АНДРЕЙ БЫЧКОВ

Рисунки БОРИСА СОПИНА

Наклоняясь над кроватью раненого юноши, Алина думала о розовом платье. Юноша, бледный бог, был доставлен в реанимацию без сознания. Кровь его с реинфузии была бурого цвета. «Смертельный»,— сказал реаниматолог, набирая шприц для анализа. Часто посмеиваясь с хирургами, ибо нет и нежности без напускной жестокости и равнодушия, про себя Алина молила о многих, но жатва смерти оставалась неизменно полна. И этот юноша, этот бледный бог, неужели он должен уйти? Дядя Федя, бодро надувающий шар в качестве тренировки для легкого, дядя Федя, что роняет случайно шар, когда Алина входит в палату, и незаметно заглядывает ей под халат, дядя Федя, что по утрам кричит о недоливе фурацилина для промывания его священного мочевого пузыря, этот дядя Федя скоро поднимется на второй этаж, чтобы донести бремя жизни за бледного юношу.

Она положила под спину умирающему полиэтиленовый пакет с физиологическим раствором. Раненое тело должно было надавливать само на пакет, чтобы жидкость через трубочку входила в него, бессмысленностью законов физики оттягивая неизбежность конца. Так было принято здесь.

Юноша бессознательно застонал, и Алине открылось, что он мог бы стать ее мужем.

— Не перестилать! — крикнул реаниматолог из угла.— Сколько раз говорил, не трогать после контроля груди!

— Я не перестилаю, я только раствор,— как можно равнодушнее ответила Алина.

— Посмотри по катетеру, не пошла ли? Я раздул немного побольше. И потом, эт-та, как его, газы у него возьми.

Алина поправила трубку, врезанную в дыхательное горло, и заглянула юноше в глаза. «Все будет хорошо,— тихо сказала Алина.— Не бойся». Ответить он не мог, ни горло, ни грудь (за него дышал серый шкаф «и-вэ-эл») не принадлежали ему. Мальчик все же попытался улыбнуться, но и улыбка не принадлежала ему. Тогда он медленно прикрыл и снова открыл глаза, чтобы девушка, склонившаяся над ним, догадалась, что он услышал и принял ее слова. Пунктир его пульса, усиленный электронным зуммером, зачастил, стал сбиваться.

— Конец? — бесстрастно отреагировал реаниматолог на звук зуммера.

— Нет,— глухо ответила Али́.

Этих денег ему хватит на три года. Чтобы три года не делать ничего. Лежать в комнате, слушая Битлз, иногда выходить на кухню. По утрам, когда стадо клерков спешит по конторам, он будет кататься на мотоцикле. А потом будет возвращаться и пить холодную воду, и снова лежать, слушая музыку. В жару, наверное, он будет слушать девятую мандалу Сома Веды. Священная сома, поглощая его тело, будет уносить его в океан исполнения желаний. Он счастлив и теперь, лишь бы этих денег хватило на три года. Idle — значит, незанятый. Никто не знает, что он теперь полубог.

Пора было ехать дальше, наверное, движок уже остыл. Он подошел и поплевал на картер, слюна не закипела. «Собака,— подумал он.— Развинчивается, точно на сотне, значит, надо держать по спидометру девяносто». Он подтянул крепеж, попрыгал и помахал руками. «Шоферия посходит с ума, если я опять буду выгибаться на ходу».

Пустота благоговейно подхватила его. Самое начало движения, когда пространство только-только проникает в тело и тело на мгновение исчезает. Остается лишь ускоряющаяся сама в себе пустота. Сейчас это ощущение напомнило ему прошлый апрель, когда после долгой простуды он вышел во двор на пробивающуюся траву и гладил бездомную молодую собаку, бессознательно ощущая свежесть ветра в подмышках. И сейчас, после четырехмесячных мучений на пилораме с корявыми скользкими бревнами; после заляпанных окорят с ненавистным раствором, на кучу которого сначала тупо и обреченно глядишь, а потом поднимаешь; и после, и после, но ведь это только легкая тяжесть воспоминаний, а свобода, она — легкая легкость легкости и она — впереди. «Хыл-дыл-дрыл!» — радостно выкрикнул он, перекидывая мыском сапога передачу и открывая на себя ручку газа. «Харр-хха-харр»,— выкрикнули вслед ему грачи. «Если б могли, они бы, наверное, улыбнулись. Но они не знают, откуда я возвращаюсь!» Его «Цундап» с литой рамой и с новым движком от «Юпитера» — старинного вида мотоцикл, доставшийся в наследство еще от отца,— затарахтел и затрясся, заблестели от солнца шары, напяленные на рычаги сцепления и переднего тормоза пьяными добрыми слесарями.

— Кровит, как кровил? — угрюмо спросил подсевший к койке хирург.

— Из всех дыр,— бодро ответил реаниматолог.— С утра в плюсе держим, получает больше, чем отдает. По плевральному третий литр консервов пошел. Я так думаю, что...

— Думай про себя,— резко проговорил хирург, отворачиваясь к Алине.— Какой протромбин?

— Семьдесят,— тихо ответила медсестра.

Хирург встал со стула, присел на корточки перед кроватью, глядя, как капает из резиновой трубки жизнь мальчика. Потом поднял с пола наполненную кровью склянку.

— Сколько не сворачивается?

Алина бесстрастно ответила:

— Десять минут.

— Ждать тридцать,— угрюмо сказал хирург.

Реаниматолог присел рядом, взял банку, поболтал, пуская кровь по кругу, словно это была не кровь, а компот.

— При таком темпе кровотечения она не успевает. Ясно, что...

— Это не хирургическая кровь,— перебил хирург.

Реаниматолог ответил с досадой:

— Ну не хирургическая, ну и что?

— Была бурая, а стала алая, значит, мышечная. Брюшную стенку пальпировал?

— Сделали даже лапороцентоз,— язвительно ответил реаниматолог.— Но в животе ничего не оказалось.

— Ничего не оказалось, ничего не оказалось,— не обращая внимания на его интонацию, глухо повторил хирург.

Алина стояла за его спиной у свежезастекленного окна. Три дня назад на этой койке умерла девочка, и ее мать, интеллигентная женщина, в шоке начала выбрасывать в окно флаконы с глюкозой. «Только ты можешь его спасти,— думала Алина, глядя в короткостриженный затылок сидящего на корточках хирурга.— Бык, ты лапал меня в углу после той десятичасовой операции, когда Гапонов уже отказался и хотел просто побыстрее заштопать. И теперь, Бык, я снова прошу тебя, умоляю, Бык, дай ему жизнь, спаси его. Спаси и делай со мной, что захочешь...»

Хирург медленно повернулся, словно услышал ее мольбу.

— Ты хочешь, чтобы он выжил, Али́? — грубо засмеялся он, охватывая ее тело взглядом и жадно вдыхая воздух.

Реаниматолог опустил завистливый взгляд.

Алина молчала. Она вспомнила то воскресенье, когда, наврав по телефону жене, Бык сидел голый у нее на кухне и выстригал жесткие волоснки из своих одиссеевых ноздрей. Золотистые и стремительные, они разлетались, словно поджигая ауру заходящего солнца.

Бык резко поднял голову и посмотрел ей в глаза.

— Да,— сказала она, не отводя взгляда.

— Хорошо,— сурово произнес Бык.— Я возьму его.

— Это безнадега,— ухмыльнулся реаниматолог.

— Сам ты безнадега.

— Но вы не соберете команду,— взорвался тот.— Гапонов оперировал сегодня уже дважды. Он не может стоять по двенадцать часов. И анестезиолога в это время вы уже не найдете. А дежурная бригада...

— Вот ты и будешь у меня анестезиологом,— глухо сказал Бык.

— Я?

— Да, ты.— И Бык отвернулся к Алине.— Какое давление?

— Сто шестьдесят,— как можно равнодушнее проговорила Али.

— На таком фоне можно быстро прооперировать. Введи ему кондрикол.

— А если швы полетят, швы?! — выбросил два пальца реаниматолог.

— А если полетят швы, то я разрежу тебе рот до ушей, чтобы ты поменьше каркал и побольше улыбался,— расхохотался Бык, дружелюбно похлопывая того по плечу, и уже серьезно добавил: — Ты ни в чем не будешь виноват, ты же знаешь. Это мое решение, мое. Иди, готовь наркозный аппарат.

Когда реаниматолог вышел, Бык положил Алине руку на бедро:

— Деточка моя, ты догадываешься, как я буду в этот раз тебя брать?

Сома, священная, несущая жизнь, когда кончится шоссе и он поставит «Цундап» у стены дома, и мать закричит от радости в окно, и тарелка на счастье выскользнет из ее рук, разбиваясь о подоконник, сома священная, что оставляет любовь и молчание, легкая и божественная, обретет его вновь в прежней жизни, в которую он возвратился, с удивлением открывая теперь ее странность — смешное многообразие ненужных ботинок (вот эти для лета, вот эти для осени, а эти для весны...), рюкзак с кирзой, все еще облепленный бетонной свинцовой грязью. Негнущимися от носилок крючками пальцев он попробует потрогать новые маленькие значки брата. «Ну что ты, язык проглотил?» — засмеется мать и вдруг, как всегда, начнет рассказывать о чем-то, непонятно о чем,— вчера вечером кот описал ее сандалии, и среди ночи она поднялась, чтобы опрыскать их дезодорантом «Поляна». Дезодорант «Поляна», сандалии, кот — поразится он, сдерживая от умиления слезы и вспоминая свою замурованную в раствор куртку, которую на ночь ставил в угол избы, и вновь словно ощутит телом обвалившийся в яму экскаватор, визг мотопилы «Тайга», брус-лиственку и свои глянцевые ладони с исчезнувшими линиями искусств и ума. Дезодорант, сандалии, кот... «О, хрустальные сферы», — подумает он и долго будет лежать в изумрудной, с еловым экстрактом, воде, отмокая, сокрушаясь о черных с варовой грязью ногтях, которые никак невозможно отмыть. Он будет лежать в изумрудной пенной воде, слушать, как мать бренчит вилками, собирая на стол, журить себя за то, что два месяца он не чистил зубы, а последнюю неделю, на спурте, ел консервы с обрезка пилы. Может быть, он даже заплачет посреди этой драгоценной искрящейся пены, когда внезапно сквозь звон и бренчание услышит звук простого белого радио, что висит у них на кухне над столом. Он заплачет, и никто никогда не узнает, что он плакал в этой дурацкой ванне, среди любопытной зрачкастой пены.

Сома священная, теки...

А потом он будет сидеть на кухне, немного стесняясь своих грязных ногтей, поглядывая, как прежде, в окно, не сперли ли отцовский «Цундап», и будет что-то бессвязно мычать и улыбаться в ответ на мамины вопросы. «Иди спать,— скажет мать, усмехаясь.— Как же ты вымотался, бедняга, одни глаза». А он? Он выйдет на улицу, заглянет в кондитерскую и в аптеку, он будет стоять с открытым ртом, прислушиваясь с неизъяснимым блаженством к смешным и дурацким разговорам пенсионеров, и будет исповедовать дедушек и бабушек о погоде и о том, есть ли сыр в магазине, гурманя языком витиеватые фразы под Пруста, увы, непонятные добрым старушкам, выписывая фиоритуры тем самым языком, что четыре месяца подряд изрыгал чудовищные ругательства, потрясавшие местных слесарей.

Сома священная, неизъяснимая, вечная, мандала божественная земной солнечной жизни, напиток браминов и посвященных, имя бога, величием равного Индре, звук круга в четырех лепестках бессмертного лотоса, желтый квадрат и алый треугольник с важдрой бычачьей цвета морской волны, обернутой белой светящейся нитью...

Узкий с подлокотником операционный стол — белая чистая лодка Харона, тень смерти, боль жизни, жертвоприношение и алтарь.

— Ненавижу,— тихо сказал в дверях реаниматолог.

Алина не услышала.

Кварцованный ноздреватый воздух цвета смертежизни — это синяя стерилизующая лампа под потолком.

Алина проверила биксы, отсосы внизу. Реаниматолог включил иа проверку наркозный аппарат.

— Черт бы их драл, этих мотоциклистов,— сказал он сквозь зубы.

— А почему? — повернулась Алина.

— А потому. Наглые все. Лезут в каждую щель, иа тротуар готовы, лишь бы обогнать, сволочи.

— У вас что, есть машина? — неестественно громко спросила Али.

— Была!

Чтобы избавиться от этой («Была!») злобы, навернувшейся в воздухе, Алина открыла и закрыла огненный зев автоклава.

Сейчас его привезут и будут перекладывать на узкий операционный стол. Она будет поддерживать его потную голову с открытыми бессмысленными глазами, в которых еще бьется с надеждой красная нитка зуммера.

«Как они умещаются на этом узком столе?
Тот, кто не умещается, тот...»

Стол с ремнями, с педалями и с винтами, чтобы поставить тело вертикально, если будет надо.

Алина включила потолочную лампу. Синее стало белым. Вошли хирурги.

— Сколько доноров? — спросил второй из-за спины Быка.

Бык входил первым, красиая морда, седоватая щетина, он дергал иос мяснстыми пальцами вниз, дергал и отпускал.

— Четыре или три,— ответил третий хирург.

— Мало,— чмокнул снизу второй.— Работы же часов на шесть.

— Ты увереи, что нз артерии? — спросил Быка третий хирург.

— Такая интенсивность, источник нужен,— ответил Бык.— Найдем, е... мать!

Третий усмехнулся, оглядываясь на Алину. Она стояла к иему спиной, собирая ранорасширитель. К мату Быка в операционной Алина давно привыкла.

— Алина, никак ранорасширитель научилась собирать? — покозлиному выкрикнул вдруг реаниматолог и рассмеялся.

Хирурги не повернулись на его смех. Не повернулась н Алина.

— Даже если мы окажемся не правы...— тихо договаривал второй.

— Только уходить надо медленно,— еще тише сказал третий.

— Я докажу вам, что это аорта! — закричал Бык.

Открылась дверь, и все замолчали. Две сестры вкатили железную кровать. Он лежал навзничь, без подушки, его рука с желтоватой, словно игрушечной, трубочкой капельницы была откинута и неестественно разогнута в локте. Алина вдруг нспугалась, что рука сейчас переломится, и дернулась поправнть ее. «Не

надо»,— строго сказала высокая чериая сестра, державшая оранжевый шар с кислородом. Хирурги молча всматривались в немое лицо мальчика. Шланг, торчащий из горла, слегка подрагивал. Потом четыре сестры и реаниматолог осторожно стали перекладывать тело на узкий хирургический стол. Гофрированный шланг натянулся, не давая телу лечь сразу на стол.

— Не видишь, что трубка?! — рванулся к реаниматологу Бык.

— Погодите, погодите, ремень зацепился,— виновато забубнил реаниматолог.

Темноватая пауза поднялась в чистой стерильиой комнате для операций, овладевая стоящими. Словно беда уже оголила крылья в углу. Тогда второй хирург быстро заговорил очищающими словами:

— А то я одного делал-делал, десять часов уже делаю, стоять не могу, а ему хоть бы хны, н давление держит тютелька в тютельку. Думаю, хоть бы ты окочурился, черт. А ему хоть бы хны. Через год встречаю: «Ну как, помнишь про живот?» «Не-а,— говорит.— Прыщик вот только на морде вскочил».

Все засмеялись, расслабились, н тогда жнзнь бледного юноши словно остановилась в дверях, оглянувшись: не вернуться ли в нзмученное тело, не подождать ли еще?

Иногда казалось, что в самую грань иеудержимой скорости простраиство останавливается и замирает. Слившись с пространством, ои исчезал и в самом деле, оставляя в созерцающей самое себя пустоте движущиеся деревья, мелькающие указатели и домишки. Смеясь, он смотрел из своей пустоты в внсящую перед ним коробку спидометра, с удивлением отмечая все те же иемалые девяносто. Только редкие встречные, рождаясь из точки иа горизонте, вырастая и проносясь с убийственным ревом, отрезвляли его, заставляли слегка покачиваться в седле, несмотря на тяжелую устремленность «Цундапа». Но лишь встречные исчезали, ои забывал о них, и снова это странное чувство, отделяясь от скоростн мотоцикла в пространстве, охватывало его.

Постепенно и где-то даже иеожиданно для себя он нагнал оранжевые «Жигули» и шел за ними колесо в колесо, разглядывая странную клетку с маленьким черио-белым животным, стоящую на спинке заднего сиденья. На шоссе машин больше не было, и, чтобы сиова остаться один на один со своей самостью, он решил обогнать легковушку. Поднимая с девяноста до ста, он вышел иа осевую н натужно обошел «Жигули», краем глаза заметив за рулем мужчину в очках посеребренной оправы, с толстой, словно вываливающейся из воротника, шеей. В дрожащем зеркале заднего вида запрыгали «Жигули». Теперь в свободном пространстве он снова увидел взлетную полосу, голубизну затягивающегося неба, летящую комнату, в которой он будет просто лежать.

«I look at the floor and I see it needs sweeping.
*Still my guitar gently weeps...»**

Он засмеялся, зачем-то включил н выключил дальний свет

---

* «Я смотрю на пол, я вижу — его надо просто подмести. С тех пор, как моя гитара поет...» — Битлз *(англ.)*.

фары, словно салютуя своей свободе, и почувствовал, как неоспоримое желание жить пронизывает и почти поднимает его... Он едва успел уйти вправо, так жестко и круто приняли на него обгоняющие «Жигули». Оранжевая машина, намеренно замедляясь, закрывала пространство. Серые выхлопы и ядовитая пыль из-под задних колес ударили ему в лицо. Он увидел, как маленькое черно-белое животное в клетке, чем-то похожее на крота, только с непомерно толстым н длинным голым хвостом, повалилось от торможения на спину. Оранжевая заслонка заставила-таки его сойти на обочину. В пыли он увидел, как машина удовлетворенно уходит вперед.

Но через час он снова заметил ту же машину, развернутую на «кармане». Человек с толстой шеей лениво лежал на траве, словно бы поджидая...

— Влюбилась в этого переломанного мотоциклетного Будду и решила снова отдаться Быку? — тихо, чтобы не услышал Бык, шепнул Алине реаниматолог.

Она смывала с раненого тела клиол медицинским бензином и отлепляла повязки. Бензин смешался на его теле с брызнувшей горячей слезой. «За что?!» Руки ее задрожали, н она стала быстро-быстро тереть, чтобы никто не заметил.

Но реаниматолог, конечно, заметил н, наклонившись еще ближе, почти касаясь своей губастой жаждой ее прохладных душистых волос, громко проговорил, воспользовавшись неожиданным смехом хирургов:

— Я тоже хотел бы его спасти... как анестезиолог...

В ужасе отшатнувшись, она начала перекладывать на столике крючки н зажимы. «Сон, сон,— стучало в висках,— я все придумываю себе... Сутки... От переутомления это все... Ничего он такого не говорил». Она стояла спиной к нему, склонившись над стеклянным прозрачным столиком, бессознательно разглядывая сквозь стекло свои тапочки на завязках. Теплая внимательная рука легла на бедро. «Нинка? Бык? — встрепенулась Алина.— Опять эти шуточки!» Обернулась.

Реаниматолог вроде бы смеялся, отыгрывая назад жестокую шутку, но Алина знала, что он хотел ее, как н Бык.

— Ты хочешь, чтобы он выжил, Али?

И за шуткой, в приоткрывшемся на мгновение взгляде, Алина увидела следы подлой страсти, тоску, радость смерти и бесполезную жажду любви.

«Господи, неужели он так несчастен?!» — отшатнулась в судороге ее душа. И в невинной самозащите, не принадлежа себе, Алина вульгарно засмеялась.

«Да или нет?!» — прочла она в его помутневшем от бессильной ярости взгляде.

— Алина! — раздался голос Быка.— Хватит там шашни крутить. Лучше зонд потолще найди. Я думаю, что мотоциклисты едят грубую пищу. А ты,— Бык ткнул пальцем в реаниматолога,— иди сюда.

Тот неслышно отделился от Алины и подошел к Быку, глядя бессмысленно в сторону.


BEATLES

— Сделай милость,— с тихой угрозой сказал ему Бык.— Подклей-ка мне сзади фартук. У тебя это хорошо получается.

— Все-все! — гортанно закричала высокая черная сестра, оканчивая перекладку тела чистыми белыми скрученными простынями.— Можете мыться. Можете мыться.

Опережая удивленных хирургов, Алина подошла к раковине н, набрав в ладони холодной воды, погрузила в них пылающее лицо.

В холодной воде она увидела всю эту жизнь — стадо быков, загоняющих самок. Когда-то, еще в школе манекенщиц, впервые выходя на помост в шикарном екатерининском розовом платье, прозрачном для взглядов жадных мужчин, перемигиваясь перед тем за кулисой с подружкой и иачиная свой невинный еще, перекрестный императрнцын ход, одарнвая затанвшийся темный зал счастливой, никому ие принадлежащей улыбкой, Алина думала, что жизнь — это игра, а игра — как фантастическая одежда. Но спортивным козлам, караулившим у подъезда, ее одежда была не нужна. С печатями от педалей «мерседесов» на отвратительных лицах они поджидали ее в раздевалке, н цветы их пахли скумбрией и одеколоном. А те, для кого хотела Алина остаться счастливой одеждой души, ие приходили к ней никогда. «Наверное, им ничего не иадо,— думала Алина.— Быть может, в комнатах, на своих летающих кушетках они и так созерцают меня». А карлики-крепыши упорно дарили валюту и пачкали в гримерной страусиные перья филиппинских новейших нарядов, касаясь их чистыми подлыми пальцами. Когда Алине стало невмоготу от прикосновений, она ушла медсестрой в больницу. Но жестокая жизнь в творящей погоне за наслаждением воспронзводства иастигла ее и в больнице. Между ее белым халатом и распотевшим душистым теплом тела защиты оставалось все меньше. Коиечно, Алина догадывалась, что кто-то, как дядя Федя, заглядывая ей под юбку, выздоравливает быстрее. Но соприкасаясь теперь с другими телами, виовь начинала мечтать о прошлом — когда-нибудь она появится здесь в своем старом екатерининском розовом платье, и они заплачут. Нежность и тонкость наряда заставят их забыть о сырой н холодной воде для здоровья и томиться другой, божественной жаждой. Здесь, в больнице, Алина поняла эту звериную жажду жизни, поняла до конца и простила. Потому и приносила тайную жертву Быку. Чтобы сначала вырвать жизнь нз когтистого савана... а потом обожествить ее.

Алина заплакала. Этот юноша, бледный бог, безымянный мотоциклист... он повторял в бреду легкое слово «свобода» и почти иеслышное «сома». Из глубины океана жизни приходило это странное слово «сома», и, быть может, лишь оно еще держало его на поверхности. Алина повторила это слово, ощущая, как к ней возвращается гордость. Кто был ои, этот юноша? И знал ли о нежности, что дарит вышитое шелками платье, знал ли о чистой ласке...

— Алина! — раздался голос Быка.— Что с тобой, матушка? Тебе плохо?

— Она после суток,— сказала другая сестра.

— Нет...— Алина отняла ладони от лица.— Просто что-то попало в глаз.

«Хочет меня сбить, скотина»,— мелькнуло в голове, когда «Жигули» во второй раз жестко обошли его. «Запомнить номер». Но номера не было, только странный, неподвижно блестящий взгляд в строгом прямоугольном зеркале над рулем.

Теперь животное поднялось на задние лапки, просунуло сквозь решетку голый отвратительный хвост, с неистовой дрожью удлиняя его и словно указывая на мотоциклиста. Сладострастные глазки с подступающей коротенькой шерсткой наблюдали пойманного бога. «Остановиться... Выяснить все дела с этой падлой»,— нажал на рычаг переднего тормоза с шаром, и шар отошел назад. «Топор в рюкзаке... Сильно прикручен веревкой». Словно принимая его остановку как смерть, «Жигули» уже уходили вперед. Матерясь, он поставил «Цундап» на подножку. От форсирования скорости правая крышка картера почти отвалилась, из четырех опорных винтов остался лишь один, другие развинтились в вибрации и выскочили. Постукал ногтем, подумал: «Так вот что значил тот свист — поток воздуха в щель». Рассмеялся. Достал из бардачка запасные. Бессознательно вытер мазутной тряпкой лицо. Ввинтил. «Или вытащить все же топор и сесть на него? Если опять... то с левой руки, по-казацки». Усмехнулся. «Да нет, пошутил и уйдет, теперь нажимает небось под сто сорок...» Он поплевал на картер, глядя, как пузырится слюна. «Догнать бы...»

Отслеживая по спидометру восемьдесят, он прошел три населенных пункта, выходя на большой лесной перегон, обозначенный на карте почти до райцентра. Через три-четыре часа он рассчитывал быть в Киеве. Усталое от долгих напряжений тело, вынужденное семь с половиной часов нестись неподвижно, выгибалось теперь само, чтобы дать доступ новой жизни и уничтожить усталость и разные дурные мысли. «Мотоциклист, для твоей жизни даже наезд на маленькую перебегающую кошку, да что кошку, на дикую крыску...» Но всемогущий лес забрал постепенно черные мысли, и теперь, вновь высвечивая впереди себя фарой свободу, он шел на «четверке», легко ныряя в прохладные от тумана низины, легко поднимаясь на горки, еще не остывшие от дневного кружащего марева. Сгустившийся уют темноты вновь напомнил ему его комнату. Ночные мотыльки пересекали луч «дальнего света», вспыхивая и исчезая. Он забормотал начало своего любимого «Роки Раккуна», вслушиваясь в бессмертные битловские гитарные звуки.

«Now somewhere in the black mountain hills of
*Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon...»**

Ведь он и был этот Роки Раккун, спускавшийся с гор. Машина ударила из темноты внезапно. В темноте оранжевое казалось черным.

«Rocky Raccoon checked into his room
*Only to find Gideon's bible...»***

Второй хирург медленно поворачивал винт ранорасширителя.
— Открой еще, десяти сантиметров мне мало,— продудел

* «Тогда где-то в черных гористых холмах Дакоты жил юноша, его звали Роки Раккун...» — Битлз *(англ.)*.

** *«Роки Раккун вошел в свою комнату,*
Он нашел там лишь Библию в издании Гидеона...» — Битлз (англ.).

сквозь марлевую повязку Бык.— Ты что, забыл мою лапу? Я даже пальцы не могу туда засунуть.

Второй хирург стал медленно наворачивать, расширяя темный блестящий кровяной зев.

Втроем они склонились над раной.

— Ты видишь что-нибудь? — спросил третий.

— Нет,— раздраженно ответил Бык.— Залито все.

— Из мелких,— сказал второй.— Смотри, сколько порванных обломками ребра.

— Должна быть вена или аорта,— перебил Бык.

— Наркоз? — посмотрел на реаниматолога третий хирург.

Экран из простыни отделял голову оперируемого от разъятого тела. Указательным и большим пальцами реаниматолог раздвинул юноше веко и холодно посмотрел в безжизненно расширенный зрачок.

— Глубокий.

— Держи его на карандашной черте, как я показывал,— отрывисто проговорил реаниматологу Бык.

— Слушаюсь,— язвительно засмеялся тот.— Я, пожалуй, надену очки.

Он достал из кармана очки в золотистой оправе.

Алина стояла слева от наркозного аппарата, следя за его пальцами.

— Алина, электрокоагулятор,— сказал второй хирург.

Отрывая взгляд от карандашной черты, Алина быстро подошла к стеклянному столику, чтобы взять из коробки прибор.

Они стали прижигать мелкие порванные сосудики коагулятором. Алина бессознательно вдыхала жженый запах вен, думая о любви.

Они глухо переговаривались.

— Эту подтянем.

— Дайте крючок.

— Раздувай.

— Гепарин.

— У меня уже руки по локоть в крови.

— Уходи-ка.

— Вот еще одна, шовчик, и завяжем.

— Плачет, из всех дыр.

— Трубочку покороче.

— Дайте большой тампон.

За экраном риска сошла с карандашной черты незаметно.

— Наркоз! — вырвалось у Алины.

Бык перегнулся через экран. Реаниматолог услужливо распахнул перед ним веко юноши. Зрачок был все так же расширен и спокоен.

— За что орешь, дура,— грубо сказал Бык.

— Алина сегодня не в форме, она после суток,— ответила за Алину высокая черная.

Бык промолчал.

Улыбаясь складками щек и издевательски спрашивая глазами, реаниматолог смотрел на Алину и холодно ждал, когда

отойдут в темноту иллюзий ее слезы и она снова увидит правила этой игры.

«...he drew first and shot
*And Rocky collapsed in the corner...»**

Тогда Алина посмотрела иа него. И в глубине ее тела содрогнулась ее душа, и в глубине души пало вновь ее тело.

«Да»,— сказали ее глаза его жириому телу.

И иезаметно риска вернулась к черте.

Тогда закричал Бык:

— Пошел к черту этот отсос! Мальчишка уйдет так. Я не могу работать! Банку, скорее.— Ои обратился к высокой черной медсестре.

Та переспросила:

— Как позавчера?

— Да!

— Не иервничай,— тихо сказал второй хирург и передал ему чистую майонезную банку.

Бык стал вычерпывать банкой непонятную кровь и сливать ее в таз.

— Не могут наладить прибор, б... .

— Ладно,— сказал второй.

— Вот она! — заорал Бык.— Я же говорил, что из большой!..

«He said, Rocky you met your match
And Rocky said, Doc it's only a scratch
And J'll be better J'll be better Doc
*As soon as I am able...»***

— Хорошо, что вовремя растромбанулись,— проговорил второй.— А то бы ие нашли.

— Бежит хорошо,—подытожил третий.

— Алина,— засмеялся Бык,— иди сюда, потрогай скользкую. Посмотришь, как дрыгается, сразу в себя придешь.

— А она от него СПИДом ие заразится? — выставилась высокая черная.

— Я ей потом покажу, как СПИДом заражают,— захохотал Бык.

«Now Rocky Raccoon he fell back in his room
*Only to find Gideon'S bible...»****

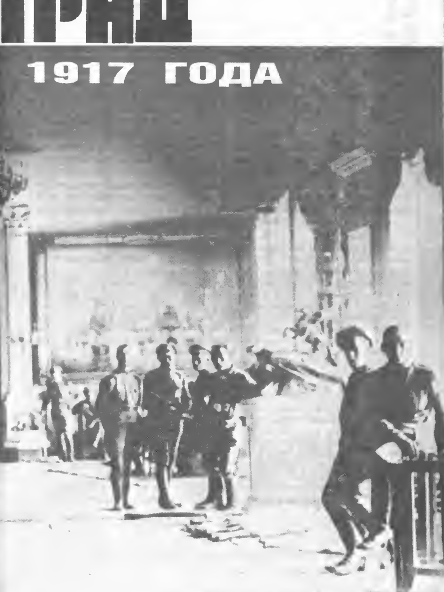
* «Тот выхватил первым и выстрелил,
И Роки упал в углу...» — Битлз *(англ.)*.
** «Док сказал: Роки, ты нашел себе пару.
И Роки сказал: Док, это всего лишь царапина,
И я поправлюсь, я поправлюсь, Док,
Так скоро, как только смогу...» — Битлз *(англ.)*.
*** «Тогда Роки Раккун возвратился в комнату
И нашел только Библию в издании Гидеона...»— Битлз *(англ.)*.

БОРИС КРИЧЕВСКИЙ

ПЕТРО ОКТЯБРЬ

Юнкера в одном из залов Зимнего дворца накануне его взятия (Петроград. 1917 год. ЦГАКФД СССР)

ГРАД



Петроград, 2 октября* (1917). Из всех беспорядочных впечатлений, которые осаждают и захватывают любого новоприбывшего в столицу Революции, автора этих строк больше всего поразил контраст между флегматичным спокойствием населения и бурей страстей, бушующей в мире политики. Наверняка не так было в медовый месяц Революции...

И этот контраст тем более трагичен, что переживаемый страной и Революцией кризис обострен, как никогда.

Из двух опасностей, подстерегающих новую Россию,— иностранного нашествия и внутренней анархии, какая наиболее серьезна и близка?

Все, что я видел и слышал со времени моего прибытия неделю тому назад, заставляет думать, что внутренняя опасность превышает внешнюю. Внешний враг сейчас не так опасен, как внутренняя *разруха* в тылах и на фронтах,— термин, постоянно встречающийся в любой речи, в любой газетной статье. Враг силен только нашей слабостью.

Какова же главная причина нашей слабости? Я не претендую на разрешение этого непростого вопроса, пробыв здесь всего неделю. Но мне повезло: я попал сюда как раз накануне Всероссийского демократического совещания, что сразу же окунуло меня в гущу событий.

И что ж! За исключением, как и следовало ожидать, ленинцев и их последователей, все делегаты Совещания единодушно предупреждают «революционную демократию» об опасности ее изоляции от широких масс населения.

И действительно, эта опасность во многом уже существует. Она

Как это было

Говорят, газета умирает назавтра. Возможно, так оно и есть, поскольку служит газета быстро бегущему дню, не опаздывая за ним, но и не опережая его. А в конце концов всегда находится дюжина *историков*, которые представят дело так, как это выгодно победителям. Однако наступает пора, когда мы видим, что такие *летописи* сродни «генеральским мемуарам». Вот тогда-то и приходят на помощь старые газеты. Тогда и воскрешаются забытые имена тех, кто, будучи сам частицей истории, вел счет роковым ее дням.

Первая мировая война, а затем и события, за нею последовавшие, сделали Россию тем мостом мира, где решалась судьба века и куда, отбросив все иные дела, устремились лучшие газетчики Старого и Нового света. Сегодня, к исходу столетия, память сохранила немногих. Так, сразу, назовем мы, пожалуй, одного Джона Рида, отдавая должное и журналистской его хватке, и недюжинному писательскому таланту, вполне достаточно испытанному временем. Других мы или не знаем, или забыли не без помощи, впрочем, «победителей». А между тем именно тогда, как свидетельствует современник, «появился в Петрограде замечательный корреспондент, возможно, лучший во всей западной прессе».

Речь идет о специальном корреспонденте французской «Юманите» (тогда — газете социалистической партии Франции) Борисе Кричевском.

* Здесь и далее даты приводятся по новому стилю.— Прим. ред.

почти открыто проявилась во время авантюры ген. Корнилова. Широкие круги обывателей разного социального происхождения с более или менее скрытой симпатией следили за этой попыткой мятежа. Один настоящий революционер, отсидевший много лет на царской каторге, сказал мне, что если бы «бравому генералу» удалась его попытка, то в самом Петрограде его бы восторженно приветствовало подавляющее большинство населения.

Я не знаю, точна ли эта оценка. Но, во всяком случае, совершенно ясно, что все более широкие массы, брошенные на произвол экономической, финансовой, социальной и политической разрухи, ущемленные в самых элементарных моральных и материальных потребностях, начинают уставать от бесконечной, бесплодной суеты и от захватывающей город и деревню анархии.

Генерал Корнилов был первым — и недорого обошедшимся — предупреждением тем, кто держит в своих руках руль Революции, оставаясь вне официального правительства. Я имею в виду Центральный исполнительный комитет Всероссийского совета. Как вы увидите ниже, умеренные члены этой организации сумели извлечь из него урок. Совершенно иначе было с так называемым авангардом рабочих и солдат Петрограда.

В этих кругах мятеж Корнилова восстановил престиж большевиков, серьезно скомпрометированный среди самих рабочих после июльского бунта. Их лидеры Ленин и Зиновьев скрываются и поныне, так как ордер на их арест остался в силе. Из телеграфных сообщений известно, что большинство Петроградского совета перешло к большевикам. Советы Москвы, Киева и некоторых дру-

---

Не считая таланта и журналистского опыта, он имел неоспоримые преимущества перед именитыми коллегами-современниками: выходец из России, знающий язык страны и оказавшийся в хаосе событий ввергнутой в смуту империи, Борис Кричевский лучше других мог ориентироваться в том, чему стал свидетелем. Быть может, потому имя Бориса Кричевского было тогда на слуху у французского (да и не только французского) читателя, по тем же причинам относившегося к его репортажам с особым доверием, хотя автор и позволял себе весьма рискованные сопоставления.

Как относиться к «точке зрения» репортера, к его пристрастиям и антипатиям? Видимо, это зависит от собственной нашей позиции. Поэтому сегодня оставим себе лишь ход событий, им изложенных. Что же касается оценок, то здесь мы, пожалуй, вправе переоценить их несравненным нашим семидесятилетним опытом и тем, конечно, что происходит в стране сегодня. История, увы, повторяется, и повторяется она потому, что на долгом ее пути мы так и не научились извлекать уроков из прошлого. Научимся ли?..

О дальнейшей судьбе Бориса Кричевского, к сожалению, мало что известно. Он умер в Париже в 1919 году, успев, однако, издать книгу, недвусмысленно названную «На пути к российской катастрофе» и на русский язык, разумеется, не переведенную. Мы публикуем — с сокращениями — несколько репортажей мастера этого жанра, перепечатанных парижской «Русской мыслью» из старых подшивок «Юманите».

гих городов последовали примеру столицы. Новая волна анархо-ленинизма грозила даже самому ЦИКу.

С другой стороны, правительство Керенского понесло потери и справа, и слева. Военный министр Савинков, этот бывший член боевой организации партии эсеров, был скомпрометирован в деле Корнилова; четыре других министра-социалиста подали в отставку. После этих последовательных кризисов разруха установилась в официальном правительстве. Оно держится лишь на личности Керенского.

Такова в общих чертах ситуация, приведшая ЦИК к созыву Всероссийского демократического совещания, заседающего здесь с 27 сентября.

В центре дискуссий стоит вопрос об *организации власти*.

Но почему же сам Исполнительный комитет не взял на себя решение этой проблемы? И как простое совещание — орган, по определению, *совещательный* — претендует на роль, от которой отступается сам высший комитет всех советов?.. «Организовать власть» — не значит ли это выполнять, по сути дела, функции Учредительного собрания?

Заметьте, что речь идет не только о формировании жизнеспособного и стабильного правительства в ожидании назначенного на середину ноября созыва Учредительного собрания. Создается также нечто вроде парламента, по немецкому образцу 1848 года названного Предпарламентом, *перед которым новое правительство будет ответственно*. И все это, повторяю, меньше, чем за два месяца до созыва Учредительного собрания!..

Отметьте, с другой стороны, что *Демократическое* совещание состоит фактически почти исключительно из социалистов. Следовательно, мандаты, которые оно выдаст, будут в глазах страны иметь не больше веса и власти, чем решения Центрального Исполнительного комитета.

Искать объяснений в конституционном праве или разумной логике было бы потерей времени. Объяснение тут психологического порядка.

Созыв Совещания просто показывает, что ЦИК испытывает потребность контакта с более широкими массами, чем те, которые наделили его полномочиями. Он надеется таким путем укрепить свое положение — и против большевиков, и против правительства Керенского.

Что касается отношений с Керенским, то решение ЦИК было правильным. Одного слова хватило, чтобы премьер-министр, которого демагоги называют «диктатором», отложил свои попытки сформировать новый кабинет до конца работы Совещания. Впрочем, и без Совещания дела шли бы точно так же.

Что касается большевистской угрозы, то ближайшее будущее покажет, может ли совещание, где сторонники Ленина в меньшинстве, заставить их уважать свои решения.

Ленинцы слишком похожи на... прусских юнкеров. Те обожают абсолютизм короля при условии, что он исполняет их желания. Эти же молятся на «диктатуру пролетариата» при условии, что она будет доверена Ленину и его присным.

Петроград, 5 октября. После недели публичных дебатов и, что самое главное, дискуссий внутри партий, фракций, групп и организаций закончилось Демократическое совещание.

Совещание это было спекта-

клем, который не сулит ничего доброго. Все — публика и актеры — с этим согласны. Редко можно видеть ассамблею, мысль и воля которой столь разобщены и раздроблены. Подумать только, что это собрание представляло не враждебные друг другу классы, но дружественные и однородные социальные слои, всех тех, кто верит в «революционную демократию», в идеи социализма и демократических свобод! А если, к тому же, вспомнить, что Совещание было созвано, чтобы остановить небывалый кризис, как призванные *in extremis* к постели агонизирующего врачи-консультанты...

На следующий день после беспомощного голосования по вопросу об организации власти в разных органах прессы можно было прочесть: «Врач, исцелися сам!»

И только в последний момент, когда перед *всеми* делегатами, в том числе самыми бешеными большевиками, открылась пропасть безвыходного положения, восторжествовало чувство ответственности, и благоразумные элементы под руководством товарища Церетели сумели привести к (временно) единодушному голосованию за попытку примирения.

Но все по порядку.

С начала и до конца совещания в центре дебатов стоял вопрос, будет ли правительство однородным, то есть *исключительно социалистическим*, или в нем будут участвовать и несоциалисты («цензовые элементы», как здесь говорят).

Отметим сразу, что решение, предлагаемое ленинцами — *«Вся власть советам!»* (что означает на их языке *диктатуру пролетариата),*— не формулировалось ими открыто, а лишь как лозунг или ведущая идея. Во время Совещания они уговаривали близкие к ним группировки левых меньшевиков-циммервальдцев и левых эсеров согласиться на создание однородного социалистического правительства, которому, однако, они сами, храня «чистоту», отказывали даже в поддержке, не говоря уже об участии в нем.

Орган «объединенных» (очень плохо) меньшевиков «Рабочая газета» хорошо охарактеризовала этот макиавеллизм, сказав, что большевики навязывают меньшевикам и эсерам власть, чтобы скомпрометировать их и подготовить дорогу ленинской диктатуре.

Итак, Совещание должно было выбрать — «за» или «против» коалиционного правительства.

С первого же дня стало ясно, что политические группы ассамблеи внутренне расколоты в отношении к этому жизненному вопросу — разумеется, за исключением большевиков, которые голосуют, кричат и жестикулируют все, как один человек. Расколоты настолько, что это создавало угрозу случайного голосования, которое могло быть выиграно большинством в несколько голосов...<...>

Как раз во время заседания Совещания пришло сообщение о восстании в Туркестане во главе с городом Ташкентом. Даже Совет этого города был свергнут «темными силами», действующими во имя полноты революции... Новости из Финляндии не лучше: социал-демократическое меньшинство Сейма не признает авторитет Временного правительства, финские большевики преисполнены шовинизмом; все это разыгрывается под аплодисменты местного (большевистского) Совета русских войск в Финляндии... Наконец, в самом Петрограде возникает угрожающий конфликт между правительством и Центральным комитетом Балтийского флота (воен-

ные матросы!), присвоившим себе, между прочим, право назначить одного из своих заместителем морского министра. Естественно, «Центрофлот» был уверен в активной поддержке Балтийского флота. Все это происходит как нельзя более вовремя: когда враг собирается форсировать Финский залив...

Но... чего стоят все аргументы, опасности, катастрофы, когда люди находятся под влиянием *навязчивой идеи?*

«Страна левеет! — кричали большевики.— Коалиционное правительство было бы вызовом, подстрекательством к гражданской войне!» По их следам идут полубольшевики: левые меньшевики-циммервальдцы под предводительством Мартова и такое же левое крыло эсеров, и почти полубольшевики — эсеры, группирующиеся вокруг Чернова, одни — из убеждения, другие — из страха, что кто-то получит больше, чем они, кратковременных милостей от рабочих и солдат.

К концу дебатов результаты голосования представлялись все более сомнительными. Изо дня в день крепло влияние большевиков — вначале изолированного и маловажного меньшинства. Внутренняя дисциплина фракций, и особенно подфракций, и искусное обращение с добрым избирательским тестом сделали свое дело. Так, ассамблея, устроившая на своем первом заседании овацию, которую, по западным меркам, назвали бы «восторженной» и «неописуемой» (мне говорили, что по здешним условиям и нравам это была заурядная овация), Керенскому — живому символу идеала коалиции, та же самая ассамблея чуть не разбилась на подходах к коалиции, как если бы это был подводный камень.

Вот подробности основного голосования, бросающие яркий свет на внутренние разногласия революционной демократии:

	За коалицию	Против	Воздерж.
Советы рабочих и солдатских депутатов	83	192	4
Рабочие профсоюзы	32	139	2
Советы крестьянских депутатов	102	70	12
Кооперативы	140	23	1
Городские думы	114	101	8
Земства	98	23	2
Экономические и продовольственные орг.	34	16	1
Военные орг.	64	54	7
Национальные группы	15	40	—
Разные	84	30	1
Итого	766	688	38

Надо обратить внимание на ощутимую разницу, которая впервые появляется между Советами рабочих и солдатских депутатов, с одной стороны, и Советами крестьянских депутатов — с другой. Особенно бросается в глаза поразительная разница между чисто рабочими организациями, где все больше и больше доминируют большевики, и всеми другими группировками, в том числе кооперативами, насчитывающими миллионы членов, а также городскими думами и земствами, действующими в непосредственной связи с реальными нуждами населения.

Что до голосования «военных организаций», то оно лишь очень приблизительно отражает настроения в армии, так как военных делегатов Совещания нельзя назвать

действительно выборными. Кроме того, орган ЦИКа «Известия» писал, что из 12 армий 8 стоят за коалиционное правительство. Такое соотношение лишь очень отдаленно напоминает цифры голосования военных делегатов Совещания.

Наконец, отрицательное голосование национальных групп надо записать на счет украинцев (15 голосов), мусульман (10 голосов) и некоторых мелких национальностей, которые желают смерти Временному правительству, потому что оно не хочет поставить Учредительное собрание перед свершившимся фактом экстремистского федерализма. Так, ораторы Украинской рады, состоящие у себя в Киеве в коалиции с самыми реакционными буржуазными партиями, здесь придерживались мнений самого экстравагантного большевизма... Напротив, грузины подтвердили свою привязанность к великой родине Революции, отодвинув на второй план свои особые требования и доверяя справедливости будущего Учредительного собрания.

Так же лояльна была позиция еврейских организаций — как рабочего «Бунда» и других социалистических партий, так и оратора от несоциалистической еврейской партии, адвоката Грузенберга.

Характерно, что союзники разрушительного большевизма находятся среди шовинистов-сепаратистов, слепо жаждущих установить свое гипотетическое величие на том, что будет, наверное, на развалинах революционной России.

Не менее грустно отметить, как это сделал в трогательных словах грузин Чхенкели, бывший депутат Думы от социал-демократов, что в хоре живущих в России наций не было слышно голоса просто русской нации! «Ты ли,— воскликнул он,— маленький грузинский народ, возьмешь на себя вооруженную защиту великой русской нации?..»

После того как за принцип коалиции проголосовало большинство в 78 голосов (на 1492 голосующих), пришлось заняться рассмотрением двух поправок. Первая исключала из коалиции «элементы кадетской партии, а также членов других партий, замешанных в заговор Корнилова». Она принята большинством в 798 голосов против 139, при 196 воздержавшихся. Голоса против — протест против самого предположения о возможности коалиции со сторонниками Корнилова. Но вот вторая поправка, *исключающая из коалиции всю кадетскую партию целиком*. До голосования Церетели подчеркнул абсурдность этой поправки, уничтожающей результаты общего голосования. Не важно! Исключение кадетской партии, без которой коалиция невозможна, принято большинством в 595 голосов против 493, при 72 воздержавшихся.

А теперь — общее голосование. Поскольку коалиция становится неосуществимой, ее сторонники, верные собственной логике, объявляют, что они голосуют против резолюции в целом. Со своей стороны, удовлетворенные тем, что они потопили «контрреволюционное» Совещание, большевики логически доводят свое дело до конца — голосуют против резолюции в целом как сторонники передачи власти Советам. За ними верно следуют левые эсеры и маленькая новорожденная группа «социал-демократов — революционеров-интернационалистов». Напротив, левые меньшевики, так часто сидящие между двух стульев, объявили, что будут голосовать за резолюцию в целом, делая, таким образом, первый шаг на пути к захвату власти.

Результат: резолюция в целом отвергнута огромным большинством в 843 голоса против 183, при 80 воздержавшихся.

Это крах, провал. Все сведено на нет. Ассамблея отдает себе в этом отчет. К ней возвращается чувство реальности...

После долгого перерыва, когда Президиум возвращается на заседание, чтобы изложить результаты своего совещания, в зале царит непривычная тишина. Президиум предлагает собраться на расширенное заседание с участием делегатов групп, которые еще не представлены в нем, с тем чтобы найти компромиссное решение, способное привести к единству демократических сил. В то же время Президиум предлагает принятую им единогласно резолюцию, в которой говорится, что Демократическое совещание не разойдется, пока не создаст условий для организации и функционирования власти в приемлемых для демократии формах.

Эта резолюция — уникальный случай — принята единогласно. Так же принято предложение о расширенном примирительном заседании.

Раз в жизни большевики ведут себя смирно.

Подождите! Они снова примутся за свое, как только у попытки перемирия появятся шансы на успех.

Петроград, 9 октября. Из моего предыдущего письма ясно, что при *прямом* рассмотрении вопрос организации власти остался открытым, так как сторонники и противники коалиции вместе проголосовали против резолюции, которая не удовлетворяла ни тех, ни других. Однако надо было любой ценой прийти к компромиссу, чтобы избежать полного краха Совещания. После дня совещаний в группах и на расширенном Президиуме компромисс был найден, притом что вопрос о составе правительства прямо не затрагивался. Осталось согласовать общую программу и гарантии, которых следует требовать от будущего правительства.

Общая программа была готова. Она была сформулирована гражданином Чхеидзе от имени всей революционной демократии на Московском государственном совещании 27 августа. Она была дополнена требованиями «активной внешней политики в целях достижения всеобщего мира», с одной стороны, и ответственности правительства перед представительным органом, в ожидании созыва Учредительного собрания — с другой.

Таков первый пункт резолюции, представленной Церетели на заседании в ночь с 3 на 4 октября.<...>

Наконец, Президиуму поручено предложить Совещанию проект выборов в представительный орган и уполномочить пять своих членов для немедленного начала переговоров с Временным правительством в целях «сотрудничества в организации власти на указанной основе». Участники переговоров должны будут отчитываться перед представительным органом и представлять ему на одобрение свои решения.

Проект этой резолюции был выработан, повторяю, с всеобщего согласия, в том числе с согласия делегатов от большевиков. При раздельном голосовании отдельные пункты резолюции проходили подавляющим большинством.

Но до голосования о проекте в целом представители большевиков на примирительном заседании выступили с бурным протестом. Они утверждали, что составленный на этом заседании текст задним числом изменен в двух пунктах: 1) подлинный текст не гово-

рил о том, что временный представительный орган должен быть утвержден правительством; 2) в нем говорилось не только о сотрудничестве в организации власти.

После обмена объяснениями и показаний разных участников примирительного заседания стало совершенно ясно, что большевики ошибаются. Докладчик Церетели заявил, кстати, что вопрос об «утверждении» — чисто стилистическая поправка, которую он готов убрать из текста, но мысль заседания в этом пункте совершенно определенна: чтобы превратить представительный орган в официальное учреждение, совершенно необходимо, чтобы правительство признало его власть и материально обеспечило его функционирование.

Наконец доведенный до крайности словесным буйством большевиков, Церетели заявил, что отныне он будет разговаривать с ними только в присутствии «нотариуса с двумя писцами...».

Нетрудно себе представить, какую бурю вызвали эти слова у большевиков. Их требование призвать Церетели к порядку не было удовлетворено, и поэтому они с шумом покинули помещение. Впрочем, не все.

Значение этого инцидента стало понятным на следующий вечер, когда Петроградский совет, находящийся теперь во власти большевиков, проголосовал настоящее объявление войны — гражданской войны — Совещанию и представительному органу, который оно создаст в согласии с правительством. Совет просто объявил, что создающийся Предпарламент означает «новую волну контрреволюции» и что «правое крыло Демократического совещания антидемократично по своей природе и готово в любой момент перейти в лагерь открытой контрреволюции». Нужно, следовательно, чтобы «Советы немедленно мобилизовали все свои силы и немедленно собрали съезд Советов для разрешения вопросов организации революционной власти».

События покажут, что́ реально в этой угрозе гражданской войны. Люди здесь относятся скептически к постоянным угрозам большевиков: их слишком много.

Впрочем, они ушли всего с одного заседания. Действительно, «мобилизуя» свои внешние силы, они готовятся взорвать изнутри Предпарламент, который они называют (когда хотят быть вежливыми) «новым оплотом компромиссов».

Два последних заседания Совещания были посвящены организации Демократического совета, призванного служить суррогатом парламента до созыва Учредительного собрания.<...>

Совещание окончилось в ночь с 5 на 6 октября бурным протестом большевиков и левых эсеров против всяких «компромиссов» с Временным правительством и буржуазными элементами, против состава «Предпарламента» и, наконец, против предложенного гражданином Даном от имени правых меньшевиков проекта обращения к демократии всего мира.

Демократический совет начал работать на следующий вечер; уже с полночи можно было отдать себе отчет в том, что большевики всех мастей пойдут по пути тотальной обструкции, направленной против всего того, что им угодно будет назвать «контрреволюционным».

Впрочем, их бешенство объяснимо. В момент открытия Совета переговоры с правительством были в принципе закончены соглашением, удовлетворяющим обе стороны. Значит, делегаты рево-

люционной демократии нарушили свои обязательства, предали... Никакого сомнения. Большевики всегда видят предательство там, где нет прямого курса на гражданскую войну и анархию.

Кроме того, они считаются с большинством только тогда, когда оно на их стороне. А ведь легко было проверить, есть ли «предательство» или нет. Совет именно для того и собрался, чтобы ратифицировать или отклонить договор, заключенный делегатами. Надо было просто дать ему голосовать. Но именно этому большевики хотели помешать отчаянной обструкцией, тем более эффективной физически и морально, что после стольких бурных ночей и в этот раз время подходило к рассвету...

Резолюция, одобряющая соглашение, была принята только в 6 часов утра, когда треть Совета, потеряв терпение, покинула поле боя.

Резолюция получила 109 голосов против 75, при 6 воздержавшихся.

В любом случае на данный момент в России существует правительство, укрепившее свое положение соглашением с подавляющим большинством всех — социалистических и буржуазных — элементов, которые твердо намерены охранять завоевания Революции от любых атак, откуда бы они ни шли — справа или слева.

Все, чего можно пожелать правительству Керенского,— это уберечь от лишних потрясений жизнь страны до созыва Учредительного собрания, этого высшего судьи, единственно способного спасти страну и Революцию.

Петроград, 15 октября. «Хлеба и мира!» — такова формулировка, властвующая здесь всеми умами, беспрестанно возвращающаяся в частных разговорах и некоторых публичных речах, формулировка, которую комментируют — положительно или отрицательно — газетные статьи.

Кто первый нашел эту фразу, выражающую усталость и отчаяние, непреодолимо напоминающую «panem et circenses» декадентского Рима? Наверное, она возникла стихийно в толпе бедных людей, простаивающих в очередях перед хлебными и бакалейными лавками долгие часы в изморозь, под осенним дождем. Однако подхватили и до крайности эксплуатируют ее большевистские демагоги, их союзники и им подобные.

«Хлеба и мира!» Партия, которая пообещает это, прибавив или не прибавив «Свободы!», наверняка заработает аплодисменты тех, кто еще ходит на митинги, и голоса тех, кто еще готов голосовать.<...>

Если Петроград пока внешне столь же спокоен, как Париж, а вторая столица Москва спокойна почти так же, то необъятная европейская и азиатская провинция России постоянно сотрясается настоящим *циклоном анархии,* складывающимся из самых разных крайностей: аграрные беспорядки, разоряющие и опустошающие крупные, ценнейшие земельные хозяйства; грабежи и опустошения городских продовольственных, обувных и мануфактурных магазинов, не забывая о разгромах винно-водочных складов со всеми ужасающими актами насилия, которые из этого обязательно следуют; наконец, все более частые погромы, позорное пятно которых расширяется по всей революционной России: ведь у евреев теперь есть «право на жительство» повсюду. Характерно, что во всех этих крайностях все чаще и чаще принимают слишком активное участие праздные гарнизонные и не-

строевые солдаты вместе, разумеется, с взятыми в армию или просто разжалованными бывшими полицейскими жандармами, с освобожденными каторжниками, рецидивистами и ворами...

Особенно в последние несколько дней циклон анархии принял чудовищный размах. Вот просто перечисление пораженных им городов и областей, которые я нахожу в газетах за один и тот же день 14 октября: Астрахань, Саратов, Азов, Одесса, Острог, Ржев, Новозыбков, Тирасполь, Бендеры, Карассубазар, Красноярск, Глухов, Умань, районы вдоль Владикавказской железной дороги, Рязанская, Подольская, Пермская губернии... А еще — серьезнейшие вчерашние и позавчерашние беспорядки, особенно харьковские, несущие отчасти погромный характер, и крестьянский бунт, свирепствующий в Тамбовской губернии.

Эти взрывы анархии на местах, которые слишком часто принимают эпидемический характер, тревожат и пугают ответственные круги не меньше, чем вражеская угроза Петрограду, усугубленная на днях массивной высадкой вражеских войск на острове Эзель, охраняющем вход в Рижский залив.

Как бороться против распространяющейся анархии? Тут недалекие люди возвращаются, как к лучшему лекарству, все к той же формулировке: «Хлеба и мира!».

Действительно, эффективное лекарство, если только его можно применить. Вот что пишет в номере от 13 октября составляемая добрыми революционерами из разных организаций социалистическая газета «День»: «Если утверждение большевистских демагогов: дайте народу мир и хлеб, и он успокоится — верно, то надежды на спасение больше нет. Потому что хлеба недостаточно, а мир не зависит от нас».

В статье далее говорится, что если не будет положен конец «внутреннему хаосу», то не только неграмотные люди, но и масса обывателей все единодушнее будет ждать прихода внешнего врага, как избавления от ужасов анархии.<...>

Петроград, 11 ноября. Вот уже пять дней, как столица Революции, обещавшей быть светлой, заря которой была прекрасной, находится под сапогом кучки смелых конспираторов.

Большевистский телеграф, конечно, сообщил миру то, что петроградские диктаторы беспрестанно трубят в своих прокламациях и «декретах»: «третья революция», «славная рабоче-крестьянская революция» только что восторжествовала, торжествует, восторжествовала полностью, окончательно и бесповоротно...

Сколько слов, столько лжи.

Не рабочее восстание привело Ленина и Троцкого к недолговечной власти. Это вообще не было восстанием. В ночь с 6 на 7 ноября, принесшую власть этой банде, рабочий народ Петрограда, как и все остальное население, крепко спал. Всегда циничный Троцкий сам этим хвастался на следующий день на Съезде советов: «Обыватели,— говорил он,— спокойно спали и даже не знали, что в это время одна власть сменяет другую...» («Известия», номер от 8 ноября).

Несмотря на то, что он был организован средь бела дня, под самым носом у жалкого, беспомощного правительства, это был *заговор* в полном смысле слова. Именно паралич власти, о котором я говорил в моем последнем письме, позволил большевикам открыто и не стесняясь организовать свой заговор и так просто его осуществить.

Зимний дворец защищал в основном женский батальон.

Вид «учебной» Александра II после штурма Зимнего дворца. (Петроград, 26 октября 1917 года. ЦГАКФД СССР)





Это даже не был заговор вооруженных рабочих. Это был военный переворот, произведенный большевистской гвардией, солдатами бездельничавшего, распутного и гнилого петроградского гарнизона, с помощью матросов и нескольких мелких подразделений Балтийского флота, верных большевикам.

Никто не сомневался в том, что гарнизон и флот соблазнили не большевистские перспективы «социальной революции», а более существенные демагогические обещания немедленного мира.

Кстати, что касается гарнизона, большевики его окончательно покорили в последнее время, яростно сопротивляясь его отправке на фронт, несмотря на настойчивые требования выборных комитетов воюющей армии, с нетерпением ожидавшей свежую смену из частей петроградского гарнизона, который не видел траншей по крайней мере с начала Революции. Большевистский лозунг «Не трогайте Петроградский революционный гарнизон!» объединил вокруг заговорщиков откормленных и отоспавшихся обитателей казарм, которые уже месяцами не занимаются даже строевой подготовкой, а убивают время, слоняясь по улицам, пешком и на трамваях, всегда набитых теснее, чем парижское метро, или стоя в очередях перед продовольственными магазинами и особенно складами денатурата, или играя в карты, или бегая за девочками.

Таковы идеалы, заставившие «революционный гарнизон» и матросов пойти по приказу заговорщиков на штурм без риска и без славы беззащитного правительства!

Чтобы придать своей авантюре пролетарскую окраску, Ленин и Троцкий могут оправдываться только участием «красной гвардии», набранной среди рабочей молодежи, которая отчасти действительно была введена в заблуждение большевистскими заявлениями, а отчасти это просто хулиганье с примесью черносотенных элементов, давно уже пытающихся ловить рыбку в мутной воде большевистской демагогии.

Нет, рабочие Петербурга, несмотря ни на что, не заслужили позорного обвинения в том, что они участвовали в перевороте «Бонапартов от большевиков» — это определение было брошено в лицо Ленину и Троцкому «Рабочей газетой», органом Центрального комитета социал-демократической (объединенной) партии меньшевиков.

Вот что пишет «Рабочая газета» (9 ноября) в своей передовице, названной «Власть Бонапартов»:

«Поруганная и запятнанная русская Революция валяется в грязи и крови... и это называется «правительством Советов?» Какая чудовищная клевета!

Где все социалистические партии, которые участвовали в Советах? Одна за другой они покинули Смольный институт, где проходил Съезд Советов, спеша создать непроходимую пропасть между собой и кучкой авантюристов, преступно покусившихся на русскую свободу! Это не «правительство Советов» — это правительство большевиков, усевшихся на троне благодаря военному перевороту...

...Никого не обманет фальшивый флаг Советов, которым они хотят прикрыть свои преступления...

Это называется «правительством Советов»?

Так где же миллионы рабочих, крестьян и солдат, которые крепкой стеной стояли вокруг Советов в дни их славы и величия? Этой

несокрушимой стены больше не существует!..

И где, наконец, рабочие, от имени которых действует социал-демократическая «рабочая» партия большевиков? Они, конечно, могут показать несколько тысяч «красногвардейцев» — пылкую и доверчивую рабочую молодежь, отдавшуюся вождям, которые пообещали — ведь обещания им так мало стоят — социализм и рай на земле. Но пустынные улицы рабочих кварталов окутаны мрачной тишиной: там нет веселых триумфальных шествий, гордо поднятых красных знамен, и ни одна делегация не выходит приветствовать победителей. Рабочие массы инстинктивно чувствуют то, в чем их заставит завтра убедиться горький опыт: *это не их правительство* пытается захватить государство, *это не их победа*...

Вот почему пусты и угрюмы улицы Петрограда. Вот почему в воздухе пахнет не праздником, а похоронами — это похороны свободы, Революции...»

Столь же возмущенно реагируют газеты и манифесты других социалистических партий и групп, в том числе «Дело народа» — газета партии эсеров.

Редкие исключения: 1) группа левых эсеров, не посмевшая войти в правительство «узурпаторов», но более или менее присоединившаяся к перевороту и, таким образом, стоящая под угрозой исключения из партии, о чем уже предупредил Центральный комитет, 2) фракция меньшевиков-интернационалистов Мартова и 3) недавно появившаяся группа «объединенных интернационалистов» и группа «Новой жизни» Горького — две группы, которые хотя и не приняли переворот, но желают играть роль «честных посредников» между узурпаторами и организованным социализмом.

Кроме этих маловлиятельных или дискредитированных мелких групп, весь социализм России — рабочий или крестьянский, марксистский или народнический, бескомпромиссный или реалистичный,— весь русский социализм, как один человек, встал против преступления большевиков. Группа заговорщиков Ленина и Троцкого подвергнута бойкоту. По выражению «Рабочей земли», организованный социализм создал вокруг этой банды такую пустоту, какая создается вокруг «очага чумы»...

В моем предпоследнем письме, написанном недели за две до переворота, я говорил о новой угрозе большевиков. В тот момент она скрывалась под «законным» требованием о созыве второго Съезда Советов, которые ЦИК имел слабость удовлетворить.

Этот съезд, вначале созванный на 2 ноября, был с общего согласия, отложен на 7 ноября. Это было в интересах обеих конфликтующих сторон. ЦИК надеялся собрать на съезд максимум настоящих делегатов, чтобы противостоять жульнически расширенным делегациям большевиков. Те же намеревались воспользоваться этим временем, чтобы надежнее обеспечить себе большинство на съезде, чтобы окончательно подготовить военный переворот.

То, чего хотели достичь большевики на самом деле,— это избежать повторения жалкого июльского поражения, когда вожди оказались не в состоянии справиться с солдатами и черносотенцами, которых сами спустили с цепи, и им пришлось срочно спасаться бегством, бросая на произвол судьбы жертвы своего демагогического мастерства, от которых они потом публично отказались. На этот раз надо было

прочно держать несознательную, импульсивную толпу, которую они используют как орудие.

А откладывать свою попытку они могли сколько угодно, ничем при этом не рискуя. *Простодушие* их социалистических противников и усугубленная этим простодушием беспомощность правительства были таковы, что заговорщики могли не бояться, что их потревожат или опередят. Они готовили свой переворот средь бела дня.

Кроме того, обеспечив себе поддержку гарнизона и нескольких флотских экипажей, они реорганизовали сильно ослабленные и дискредитированные, особенно с июльских дней, красногвардейские отряды рабочей молодежи. И этим они могли заниматься открыто, без всякой помехи. Даже вооружение «Красной гвардии» *государственными ружьями* происходило среди бела дня. Так, Троцкий в качестве председателя Петроградского Совета спокойно отдавал приказы о реквизиции оружия на государственных заводах, и эти приказы выполнялись быстрее, чем приказы военного министра. Газеты опубликовали один из этих приказов — ничего не последовало. Заговорщик остался цел и невредим. Правительство не посмело ни о чем заикнуться.<...>

Короче говоря, начиная с середины октября правительство, социалистические партии, Предпарламент и публика жили в пассивном ожидании большевистского восстания.

«Сегодня?.. Завтра?» — задавались все вопросом по мере того, как приготовления заговорщиков заметно подходили к концу. Только дата была интересна... Как баран, который знает, что его поведут на заклание... Или закованный в кандалы смертник в своей камере.

Но, что касается даты, лучше всех информированные круги ЦИКа твердо верили, что заговорщики не осмелятся действовать до решений Съезда Советов. Бедные информированные круги! Они приписывали большевикам немного своего собственного простодушия...

Для осуществления заговора конспираторы организовали, все так же средь бела дня, специальный орган — Военно-революционный комитет. Его целью, правда, объявили... защиту столицы от немцев! Эта патриотическая маска очень плохо шла большевикам, она никого не обманывала... Неважно! Правительство не вмешивалось.

Назначенная заговорщиками дата приближалась. Надо было обязательно найти повод для атаки на пассивное правительство, чтобы она выглядела обороной. Ведь внушили же они своим войскам, что надо противостоять контрреволюционным действиям этого ужасного правительства, так же, как они убедили их, что Керенский просто-напросто в сговоре с немцами и собирается сдать им «революционную столицу»...

Итак, ВРК придумал следующий ход: взять под свой контроль Главный штаб Петроградского военного округа, так что ни один военный приказ не отправлялся без одобрения вышеназванного комитета. В реакционном Париже читатели, несомненно, подумают, что такие неслыханные требования сразу же привели к взрыву? Как бы не так! Прежде всего далеко не впервые зараженный большевизмом военный или морской комитет выставляет такие требования, а единственный ответ правительства — отчаянные попытки никак не реагировать. Кроме того, правительство совершенно не рас-

полагало верными и достаточно большими военными силами. Оно добивалось переговоров, чтобы выиграть немного времени, я полагаю.

В Петрограде находятся все же четыре полка казаков, которых трудно заподозрить в большевизме. Но с июльских дней отношения между правительством и казаками натянуты. Ведь после того, как они рисковали своей жизнью и своими лошадьми (которых они содержат на свои гроши!) для подавления большевистского мятежа, правительство отпустило главных виновников, а вскоре после ликвидации дела Корнилова позволило большевикам делать, что им заблагорассудится. С другой стороны, казаки не могут простить правительству попытку впутать атамана донских казаков, генерала Каледина в процесс Корнилова. Попытка эта не удалась только потому, что генерал поступил, как большевики: он предложил правительству, если оно хочет его допросить, явиться к нему, туда, где он находится среди своих верных казаков. Наконец, через Совет их Союза (у них тоже есть свой Совет) казаки жаловались, что их всегда используют для репрессий, а потом само же правительство третирует их, как контрреволюционеров.

Но вернемся к большевистскому заговору.

Не будучи посвящен в секреты Керенского, я не знаю, чем он занимался последние сутки, предшествовавшие перевороту. Во всяком случае, он должен был знать, как все, что решительный час приближается.

И действительно, в своем «Рабочем пути» Ленин опубликовал прямой призыв к немедленному восстанию, объявляя «предателями» всех, кто хочет отложить восстание в ожидании Всероссийского съезда Советов. Среди мелких вождей оказалось несколько таких «предателей». Но не Троцкий.

Другой изобличающий факт: в воскресенье 4 ноября большевики организовали 16 митингов, где, используя самые грубые уловки своей демагогии, они добела раскалили дурные страсти своих приверженцев.

Между прочим, митинги были запрещены,— смехотворное решение, учитывая, что у правительства не было средств, чтобы заставить его выполнять.

На следующий день, в понедельник, правительство предало гласности ордер на арест Ленина, который уже довольно долго преспокойно проживал в Петрограде, что было общеизвестно. Публика посмеялась над этим платоническим ордером...

В тот же день Предпарламент, ко всеобщему изумлению, продолжал свои бесконечные дебаты о... внешней политике, в то время как в кулуарах, как и повсюду в столице, все интересовались только неминуемой «акцией» большевиков.

Наконец, во вторник Керенский нарушил правительственное и парламентское молчание. Он призвал выразить доверие Временному совету республики в борьбе против «предателей Революции и родины». Но последовавшие затем дебаты, и особенно принятая небольшим левым большинством (123 голоса против 102 при 26 воздержавшихся) повестка дня, были равнозначны капитуляции Предпарламента перед большевистским заговором. Дошло до того, что председатель Совета гражданин Авксентьев и делегат ЦК партии эсеров гражданин Гоц вынуждены были уговаривать Керенского не подавать в отставку.

Единственным актом власти, который предприняло правитель-

ство во исполнение грозных мер, обещанных Керенским, было запрещение двух большевистских газет: «Рабочий путь» и «Рабочий и солдат», и конфискация их типографии. Слишком запоздалый и совершенно беспомощный жест!

Чтобы дополнить картину правительственного паралича перед тем, что определялось как неминуемый мятеж или восстание, стоит отметить, что с понедельника больше не было военного министра. Генералу Верховскому пришлось взять отпуск... «по состоянию здоровья», а на следующий день, после поразительного заявления, сделанного им перед комиссией по национальной обороне Предпарламента, подать в отставку. Военный министр просто заявил, что *Россия не может больше воевать*, а следовательно, надо немедленно заключать мир. Этот факт огласила газета Бурцева «Общее дело», сообщив, что генерал Верховский якобы предложил «заключить мир с Германией за спиной союзников». Газету закрыли, типографию конфисковали, правительство опубликовало опровержение. Но... военному министру пришлось уйти в отставку.

Совершенно разваливающееся, получающее среди бела дня дерзкий вызов от конспирирующихся заговорщиков, лишенное материальной силы и морального авторитета, предаваемое столь же и даже еще более беспомощным Предпарламентом,— таково было правительство за несколько часов до переворота.

Поле действия для большевистского заговора было свободно. Его успех был ясен заранее.

За 24 часа до открытия Всероссийского съезда Советов заговорщики бросили свои войска на штурм несуществующей власти.

Петроград, 11 ноября. Мы подходим к ночи переворота, со вторника на среду, с 6 на 7 ноября.

Аппарат заговорщиков сработал без сучка и задоринки. Пока в Зимнем дворце шло постоянное заседание правительства, ВРК захватывал вокзалы, государственный банк, телеграф, телефон, Петропавловскую крепость и т. д.

Население, которое «спокойно проспало» всю ночь, в среду проснулось при режиме военной диктатуры, возглавляемой Лениным и Троцким, которые руководили операциями ВРК.

В среду утром по приказу диктаторов матросская гвардия ворвалась и захватила несчастный Временный Совет республики, члены которого тоже так хорошо спали в эту ночь, что до кворума оказалось катастрофически далеко.

В отсутствие кворума, по предложению совета старейшин, был принят — голосованием без кворума — «энергичный протест» против акта насилия. После того как захватившие власть большевики обыскали дворец в поисках министров, которых хотели арестовать, все разошлись.

В среду вечером Всероссийский съезд Советов был открыт по всем правилам.

Проблема организации власти была первым вопросом на повестке дня. Однако государственный переворот уже решил эту проблему: делегаты рабоче-крестьянской революционной демократии были поставлены перед свершившимся фактом.

Все ли они подчинятся этому? Согласятся ли они делить с большевистскими заговорщиками бренные останки власти, которую те захватили предыдущей ночью? Разумеется, заговорщики на это рассчитывали. К своему несчастью и к чести революционной демократии, они сильно ошиблись.

Представители небольшевистских социалистических партий и групп один за другим выходили на трибуну, чтобы заклеймить переворот, совершенный за месяц до созыва Учредительного собрания, за три недели до выборов, за сутки до открытия Съезда Советов. Один за другим они заявили, что покидают Съезд, полные решимости бороться против переворота с той же твердостью, с которой они боролись против царского режима. К ним присоединилось также подавляющее большинство приехавших с фронта военных делегатов действующей армии и большинство делегатов Совета рабочих и солдатских депутатов и Совета крестьянских депутатов.

Большевистская фракция осталась в одиночестве, поддерживаемая одной только дискредитированной группой «левых эсеров», в то время как меньшевики-«интернационалисты» тоже покинули Съезд, заявив при этом о своем желании посредничать между двумя лагерями, чтобы привести к компромиссному решению.

В то время как в Смольном институте революционная демократия объявляла войну узурпаторам, а Ленин и Троцкий для поддержания духа своих приверженцев делали хорошую мину при плохой игре, военная организация главных демагогов продолжала серию актов насилия.

С вечера ВРК начал атаку на Зимний дворец, резиденцию правительства.

Керенский покинул столицу в среду утром. Мудрое решение! Он решил попытаться собрать силы, способные восстановить поруганное Право. В то же утро у Зимнего дворца был арестован министр продовольствия гражданин Прокопович и через некоторое время отпущен «под честное слово». Все остальные министры собрались в Зимнем.

ВРК окружил Зимний большими пехотными и морскими силами, в частности, на якорь на Неве стали крейсер «Аврора» и несколько торпедных катеров. В половине восьмого вечера ВРК передал министрам ультиматум, в котором, под угрозой обстрела, требовал сдачи в ближайшие 10 минут.

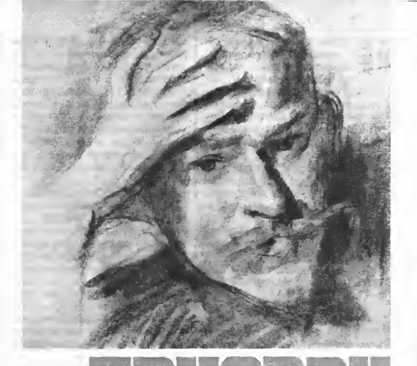
Министры могли противопоставить артиллерии осаждающих некоторое число пулеметов, несколько сот юнкеров и женский батальон. Не важно! Они решили сопротивляться до конца, умереть, если так надо, под развалинами дворца...

Победив женский батальон, солдаты учинили над ним всяческие насилия. Они разводили пленниц по разным казармам, где, предварительно избив, насиловали их. Не будем говорить о зверствах, учиненных над юнкерами.

Ворвавшись в Зимний, сеиды Ленина и Троцкого стали искать в основном «жида Керенского». Да, «жида Керенского»! Демагогический миф о том, что Керенский — еврей, черносотенные истоки которого очевидны, старательно распространяется мелкими большевистскими демагогами, поклонниками Троцкого (Бронштейна), который действительно еврей...

Богатство винных подвалов царского Зимнего дворца не трудно вообразить. Большевистские войска перепились. Совершенно пьяные, они учинили дикие разрушения... Говорили, что еще в субботу, через три дня после победы «над женским батальоном», в Зимнем дворце продолжался пьяный дебош...

Предисловие и публикация АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.



ПРИЗРАК МИНУВШЕГО СНА

НИКОЛАЙ ВРАНГЕЛЬ

Искусство поколения шестидесятников сводилось к воспроизведению возможно выразительнее событий из действительной жизни.

Люди этого времени были так довольны сами собой, считали свою земную миссию столь важной, что были твердо уверены в том, что искусство есть отражение гражданских и философских идей, которые проводятся в жизнь при помощи красок. На смену народникам вскоре пришли другие, уже не бодрые строители жизни, а «хмурые люди», унылые, приниженные и одинокие; жизнь и искусство надолго замерли, стали нежными оранжерейными цветками. Прошла эпоха надежд и самодовольствия, все замкнулись в себе, и «чеховская» тоска заволокла паутиной порывы, желания и вкусы. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить» — вот фраза Чехова, относящаяся не только ко всему русскому укладу вообще, но, главным образом, к русскому человеку его времени. И эта фраза оказалась пророческой. Еще долго томились все, не видя новой правды, еще долго неслась и догорала унылая песнь Чехова. Целое поколение поэтов и художников конца XIX и начала XX века воспело языком красок, линий и слов печальную мечту, воспоминание о прошлом и тоску от действительности. Красивым стало то, что ушло, и эхо музыки казалось прекраснее ее звуков. В литературных рассказах выступила серая, тоскливая жизнь скучной провинции; героями пьес и романов стали печальные, грустные люди. В пейзажах Левитана все полюбили осеннюю красоту запустения, сонную ласку бледных северных ночей, страдальческую притягательность русской деревни. В области бытовой живописи появились ретроспективные мечтатели, показавшиеся воскресшими призраками минувшего жизненного сна. Они облекли свою грезу в совсем новый у нас, изысканный наряд «исторического быта». Сомов, Александр Бенуа, Бакст, Рерих закрывали глаза на действительность, думая о прошлом. Их греза любила все, что исчезло, все разрушенное, умирающее, печальное, обветшалое, больное, все то, что составляло достояние и красоту другого времени и другой культуры. Le beau — c'est la rare сделалось девизом искусства; некоторые художники так полюбили прежнее время, что захотели перенести его в жизнь. Литераторы последовали за ними. Кузмин и Ауслендер создали свой, совсем особый стиль рассказов о милой старине и столь остро и тонко зачертили минувшие переживания, что они сплелись воедино с современностью. Но среди всех поэтов былого выделяется один, стоящий совсем особняком, маленький больной горбун Борисов-Мусатов.

Он не певец какой-либо эпохи, как некоторые другие его современники. Элемент исторической были почти отсутствует в его произведениях. В его творчестве сплелись и перепутались разные моменты бытия, разные отблески и отражения, разные люди и разные мечтания. Мусатов, грезя о прошлом, не живет в определенной эпохе, не составляет часть какого-либо исторического момента. Он квинтэссенция всего, последний звук бесконечно далекой мелодии, застонавшей много столетий назад и оборвавшейся в наше время. Он совсем особенный, ни на кого не похожий, большой ребенок, милый и трогательный своей детской наивной душой. Бенуа и Сомов, Рерих и Бакст — люди определенного времени, воскресшие теперь, чтобы рассказать нам о своей жизни. Мусатов стоит вне исторического момента. В какую эпоху так, как на его картинах, одевались, печалились, мечтали? Кто эти девушки с полными слез

глазами и о чем тоскуют они? Это греза Мусатова нарядила прежних людей в вышедшие из моды старые платья. Это рука Мусатова написала их так, как их писали итальянские фресковые живописцы в XV столетии. В этом смешении стилей и эпох Мусатов — самостоятельный оригинальный художник среди всех своих русских современников.

Другая особая черта этого замечательного мастера — совсем исключительное слепое очарование женственностью. Среди многих десятков его картин можно насчитать лишь несколько примеров изображений мужчины. В этом опять увлечение неправдой. Мусатов был некрасивым горбуном, и оттого он так сильно и нежно полюбил все красивое и стройное. Жизнь его была невыносимым тяжелым испытанием, и он болезненно-жадно грезил о недоступном ему рае. Так сказался истинный сын своего времени. Кто же та женщина, которую так нежно любил и воспевал Мусатов? Кто она, эта бледнолицая, грустноокая, зачарованная сказкой печальница? Она всегда девушка, всегда грустная; даже в хороводе подруг она кажется одинокой. Она всеми своими помыслами, манерами, походкой и одеянием далека от нашего времени, далека от него и телом, и душой. Это не женщина повседневности, это даже не земной идеал существующей красоты. Нет, это только воссоздание призрака несуществующей прелести, той «милоты и ласковости», по выражению Маркевича, которой полны были обаятельные обитательницы дворянских гнезд уже не существующей «пушкинской России». В этом увлечении нереальным прежним и невозвратным вновь отразилась больная, тоскливая жуть миропонимания Мусатова.

Но помимо чисто психологического обаяния, помимо невырази-

Как-никак, а груз идеологических запретов и умолчаний потихоньку легчает — появляются на свет Божий имена, насильственно стертые из нашей памяти. Тем не менее даже в последнем издании «Советского энциклопедического словаря» автору публикуемого эссе места не нашлось. Между тем фигура эта не только, бесспорно, значительная, но и, твердо можно сказать, уникальная.

Если люди с абсолютным музыкальным слухом крайне редки, то обладающих абсолютным чувством прекрасного и того меньше. К редчайшему этому типу принадлежит барон Николай Николаевич Врангель (1880 — 1915).

Инстинкт красоты и художественное чутье — от Бога; эрудиция и поразительная эстетическая память в сочетании к тому же с умным, изящным и мастерским пером — благоприобретенное долгими, как правило, годами труда и продолжительного жизненного опыта. Однако именно эти качества в полной мере проявились у Врангеля, можно сказать, в тот самый день, когда он взялся за перо, чтобы высказаться о том, что составляло цель и смысл его жизни,— искусстве. И именно они, эти качества, сразу же привлекли к нему внимание русской художественной публики и поставили Н. Н. Врангеля на высшую ступень отечественной науки об искусстве, утвердив в качестве непререкаемого на этом поприще авторитета. Дело, однако, не только в молодости автора, не помешавшей ему сразу и с триумфом войти в плеяду первых знатоков и специалистов по искусству. Заметим, что среди писавших тогда об искусстве были А. Блок, А. Белый, не говоря уже о профессионалах — А. Бенуа, С. Дягилеве, С. Маковском, П. Муратове, И. Грабаре — мастерах этого жанра, до сих пор непревзойденных. И если начало столетия по праву

мой, почти магической прелести его мечты, Мусатов один из значительнейших живописцев нашего времени, отразивший в своем творчестве все достижения последних лет XIX века, огромный мастер, «знаток своего дела», любящий краску для краски, линию для линии и форму для формы. Он один из замечательнейших колористов, поэт цветных грез, он ближе всех других понял великое значение монументальной живописи.

Его картины кажутся застывшей музыкой, какими-то клочками радужного океана, вылившего свои волны в цветные образы природы и людей.

Почти все картины Мусатова — красочные симфонии: бледно-лилового, голубого, ярко-зеленого и желтого. Всякая мысль, всякий образ его живописен. Мусатову не суждено было исполнить все им задуманное, он умер молодым, только начав свой «Реквием», который был его последней песней.

В творчестве его несколько этапов. То увлечение французским неоимпрессионизмом, то беспредельная нежная любовь к русской помещичьей старине, то жажда красочных провидений, как у больших мастеров кватроченто*. Всегда и во всем, что он делал, Мусатов является живописцем par excellence, и всегда греза его воплощается в линию и краску. Эти живописные выражения его мечты неразрывно слиты с нею самою, и творчество Мусатова ценно тем, что в эволюции рисунка и красочного пятна он сыграл огромную роль в истории нашей живописи. Обобщая все свои живописные си-

* Итальянское название пятнадцатого столетия — расцвет культуры Раннего Возрождения. (Ред.)

называют «серебряным еексм» русского искусства, то отечественное искусствооедение с не меньшими оснооаниями можно назоать «золотым веком» нашей науки об искусстве. Заслуги Н. Н. Врангеля здось трудно переоценить. (Недооценить, как оказалось, значительно легче.) И речь идет не только об авторских его трудах.

Врангелю было двадцать семь лет, когда он организовал и затем до конца дней вел один из лучших журналов по искусству — «Старые годы», а спустя два года был приглашен и в редакцию блистательного «Аполлона». Нужно заметить, что, по самым скромным подсчетам, в России издавалось тогда более пятидесяти журналов об искусстве, среди которых знаменитые «Мир искусства», «Весы», «Золотое руно»; но век их по разным причинам оказался недолгим; до реоолюции дожили лишь «Старыо годы» и «Аполлон» — те, е которых сотрудничал Н. Н. Врангель. Не особые ли его качества тут причиной?

Если есть люди с особым, а лучшо сказать, обостренным чувством прошлого, то пальму первенства здесь, бесспорно, следует отдать Н. Н. Врангелю, не сбрасывая со счетов ни предшественников его на этой стезе, ни современников и последователей, конечно. Можно сослаться на аеторитет А. Ф. Кони, писавшего, что «е его трудах ПРОШЛОЕ оживало с силой НАСТОЯЩЕГО», однако достаточно перечислить названия лишь некоторых его статей, эссе, монографий,— таких, как «Романтизм в живописи Александровской эпохи», «Русская женщина е искусстве», «Ф. С. Рокотов», «Русская скульптура», «Помощичья Россия», «История миниатюры е России»,— чтобы почувствовать родство таланта с четко очерченным кругом интересов автора.

луэты, он всегда давал в своих картинах не аналитические опыты и искания, а лаконические, но выразительные итоги. Мусатов — поэт печальной мечты, поэт прежней любви и нынешней женщины. Он ласковый, добрый сказитель на новом языке старинных рассказов о старой жизни.

Мусатова звали Виктор Эльпидифорович, он был сыном служащего на железной дороге, родился в Саратове в 1870 году. В раннем детстве он уже сделался навсегда несчастным маленьким горбуном, непригодным к обыденности. И как у всех обиженных судьбой, у него развилось особое, ему одному присущее мировоззрение. Он до конца своих дней остался искалеченным ребенком, сумевшим недетскими, · глубоко-мудрыми словами поведать земле свои мечты о небе. Ведь он так глубоко и нежно любил это небо, так много и хорошо писал его! Чудится, будто он всю свою жизнь провел в каком-то волшебном царстве, там, где зеленая весенняя трава, где всегда вечно-синее небо, тихая гладь воздушного океана. Вся его жизнь — простая и ясная — кажется грустным рассказом больного мальчика. Он рос, останавливая на себе внимание окрестных мальчишек, поневоле отдаляясь от сверстников благодаря своему несчастью.

Любовь к рисованию явилась у него рано, так же, как и потребность к уединению. Об этом сохранилась его запись: «Около Саратова на Волге есть остров. Этот остров называется «Зеленым». В детстве он был для меня чуть ли не «Таинственный остров». Я знал только один ближайший его берег. Он был пустынный, и я любил его за это. Там никто не мешал мне делать первые робкие опыты с палитрой».

Дети жестоки; они не прощают

Блистательный стиль и точность характеристик — неотъемлемые их качества. Но надо и то сказать, что не было в России начала века ни одного сколько-нибудь значительного художественного предприятия, в котором Н. Н. Врангель не принимал бы самого прямого участия. Будучи глубоким знатоком музейной работы, он составляет многочисленные научные каталоги и описания наших художественных сокровищ, а как результат — труды, которые и по сей день остаются классикой отечественной науки об искусстве. Впрочем, тут и оговоримся.

Само сочетание понятий «наука» и «искусство» — вещь крайне деликатная, чтобы не сказать опасная, если хотя бы на йоту нарушается соотношение того, что составляет предмет — знания и чувства. Сила Н. Н. Врангеля как раз и заключается в этом абсолютном ощущении меры, которое и делает искусствознание самостоятельным искусством, свободным от столь часто отяжеляющего его наукообразия и рационализма, которые и отпугивают читателя. Одолевая подобные сочинения, кажется, будто идешь босиком по битому кирпичу (да простится нам такое неизящное уподобление). Тут и непременные «социально-экономические предпосылки», и «беспощадная критика темных сторон буржуазной действительности», и, конечно, «разительный контраст общественных отношений»... Когда же самых серьезных тем и глубоких философских обобщений касается легкое, изящное перо мастера — перед нами литературное произведение об искусстве, причем произведение высшей пробы. Пример тому и публикуемое на этих страницах эссе о Борисове-Мусатове.

На первый взгляд странным может показаться обращение апологета и цен-

физических несчастий — вот отчего; когда он уже вырос, у него, постоянного жителя Саратова, не оказалось никаких товарищеских связей и знакомств среди родного города. Десяти лет он поступил в реальное училище и в свободное от учения время стал ходить в художественные классы при Радищевском музее.

К своим первым учителям он сохранил глубокую признательность и впоследствии, не сходясь с ними совершенно во взглядах на задачи искусства, отзывался о них, как о людях, неизменно тепло. Так рассказывает близкий друг Мусатова — В. К. Станюкович.

Дальнейшие сведения о жизни Борисова-Мусатова говорят о том, как страстно любил он искусство, как 16-ти лет бросил Саратовское реальное училище, уехал в Москву и поступил в школу живописи и ваяния. Никто не хотел понять его смелых дерзаний; профессора по школе не оценили молодого художника. Мусатов уже тогда видел все «по-своему», писал в холодных сизых тонах, казавшихся всем «неестественными».

Люди не видели грезы маленького мечтательного горбуна и думали, что своими странными «нездешними» красками он пишет теперешнюю жизнь и правду. В эту эпоху, когда все понималось прозаически и буквально, когда вульгаризация жизни казалась чуть ли не задачей всех областей искусства, конечно, никто не мог понять условного, символического «живописного слога».

Мусатов, непонятый в училище, переезжает в 1891 году в Петербург учиться у Чистякова в Академии художеств. Этого умного, своеобразного учителя Мусатов любил и до конца жизни сохранил о нем самые лучшие воспоминания.

Здоровье Мусатова не позволило ему жить постоянно в Петербурге, и, пробыв год в Академии,

---

ца прошлого к творчеству современного мастера. Однако с первых же строк чувствуешь, что у художника и его толкователя один исток — глубокая, неизбывная ностальгия по красоте и гармонии. Здесь и возникает редкостное созвучие, с обеих сторон отмеченное тонкостью и изяществом стиля. Но не оставим без внимания и еще одну важную особенность этого счастливо сложившегося дуэта.

Борисов-Мусатов принадлежит к тем художникам, писать о которых, не впадая в банальность, чрезвычайно трудно — настолько нежна ткань его живописи, так музыкальна ее фактура и лишенное видимого действия пластическое содержание, что выразить это словом, кажется, невозможно. Однако автор находит ту единственную трепетно-музыкальную словесную ткань, которая и оказывается созвучной живописи художника.

Здесь можно было бы поставить точку, потому как репродукции картин Борисова-Мусатова и эссе Н. Н. Врангеля — перед вами. Но как обойти воистине провидческую строчку, которая встретится читателю в этом эссе: «В жизни бывают таинственные и странные совпадения...» Но разве не странно и таинственно то, что и Борисову-Мусатову, и Н. Н. Врангелю отмерила судьба поровну — всего тридцать пять лет жизни?..

он вынужден вернуться в Москву. Он учится опять в училище живописи и ваяния, часто посещает Третьяковскую галерею, любуется и любит Бастьен-Лепажа, восторгаясь главным образом его картиной «Деревенская любовь». В этих юношеских мечтах уже сказывается будущий поэт любви и сельского затишья. В это же время Мусатов увлекается импрессионизмом и Ге, что заметно по написанной им летом в Саратове картине «Девочки, играющие в мяч».

Но Мусатову кажется скучной жизнь обыденности; он пока не умеет заколдовывать ее — населять мир своими неземными друзьями. Он ищет новых грез; летом 1895 года путешествует на Кавказе и в Крыму, исполняет яркие, вспыхивающие красочные симфонии. На посмертной выставке Мусатова они были просто названы «Кавказские и Крымские этюды». «Я живу только мечтой, только будущим,— пишет он,— твержу постоянно: «В Париж! В Париж!» Любимая им печальная осень приносит эту радость, и он едет в Париж. Ему не удается поступить к Пювис де Шаванну, и он начинает работать у Кормона*, о котором говорит:

«Кормон очень похож на академического профессора Чистякова. Это высокого роста худой старик, замечательно энергичный. Говорит он очень быстро и много, и говорит не стесняясь, так что ученики его боятся и он крепко их пробирает весьма основательно. Поправлять работы он приходит два раза в неделю.

Работаю от 8-ми до 10-ти. Остальное время работаю дома или брожу по картинным галереям и по Парижу.

Уж я и счет потерял, который делаю рисунок... Но я чувствую, что я сделал успехи. Я нашел то, что мне представлялось нужным раньше... Я, конечно, мог бы заниматься целый день — тогда бы успех был самый существенный, но я не раскаиваюсь, что этого не сделал, ибо я хоть немного познакомился с Парижем. Я в это время хоть сколько-нибудь изучил Лувр и Люксембург. Особенно Лувр, по своей школе, ничем не заменим».

В этих вкусах сказался весь художник, любящий прежнее за его умирающий аромат, а современное за его яркую красочность. <...>

Париж имел на Мусатова огромное влияние. Это особенно заметно в его картине «Maternite» (1896 год), на которой отразились изыскания французских неоимпрессионистов.

Позднейшие опыты его композиций для фресок показали, как глубоко запечатлелись в его воображении все восприятия его юношеских лет. Здесь видим мы, с одной стороны, уроки старых итальянских фресковых живописцев, с другой — наследника их традиций во Франции — Пювис де Шаванна.

Вернувшись в Россию, Мусатов заканчивает летом 1899 года большой «Портрет», представляющий художника и его сестру в саду у стола, белый мрамор которого осыпан розами.

Это первое вполне зрелое и уже самостоятельное произведение художника, но в нем все еще нет той законченной широты обобщений, той поэтической мечтательной грусти, того высокого мастерства, которые будут в позднейших работах Мусатова. Здесь линии его рисунка еще немного робки, неуверенны, в них нет еще того спокойного

* Фернан Кормон (1845—1924) — известный французский исторический живописец академического направления и педагог; руководил собственной школой. (Ред.)

величавого бега, которого они достигнут впоследствии, и краски взяты несколько «приблизительно», ощупью.

Следующее лето художник провел в старинном имении Слепцовка Саратовской губернии. Здесь под длинными верандами, обвитыми плющом, он еще больше полюбил старинные вещи, костюмы и сказания.

Мусатов весь проникся тишиной русской барской деревни, он увидел то, что искал, и задумал «Гармонию». В этой картине вся жизнь его мечты и мечта его жизни.

Здесь лиловые сумерки с клубящимися вечерними облаками.

Здесь старый парк с белым домом. Здесь простая старая женщина в платке, старая, но еще живая. И две девушки, и кавалер в старинных платьях.

Они все трое молоды, но умерли давно. Старый, но живой парк, и доживающая свой век старушка, и давно умершие молодые — вот «живые предметы», которые будут во всех последующих картинах Мусатова.

В «Гармонии» первый раз выплакалась его милая больная душа. Маленький горбун рассказал вслух о своих грезах. «Quand les lilas refleuriront» и два «Мотива» — «Осенний» и «Без слов» относятся к тому же времени.

В этих картинах призрак женщины еще не вполне овладел душой художника. Пока Мусатов пишет не только одних женщин, как это будет позже, а также и мужчин. Все три произведения могут составить цикл «Вдвоем». Всегда два существа — мужчина и женщина — в старинном доме или в парке. В «Осеннем мотиве» светлый облик женщины ярко рисуется на трельяже боскета.

Печальный кавалер грустной дамы понуро сидит против нее. Или вот под высокими деревьями, в тенистой прохладе большого сада идут двое.

Та же девушка и тот же кавалер: «Quand les lilas refleuriront, Dans ces vallées nous reviendrons»...

Потом оба они сидят в доме. Мягко мерцает и скользит луч солнца по материям платья и мебели. Кажется, будто слыхать, как идет тишина, как сонно шуршит маятник, как бьется муха об стекла окон.

Картина названа «Мотив без слов». В этих трех созданиях — жаждущая ласки душа художника. Он мечтает о женщине, и любит ее, и, быть может, представляет себя в образе того кавалера, который гуляет в парке и сидит дома с любимой.

Ему чудится томный вздох сонной зелени, шуршание вкрадчивых звуков, Бог весть откуда залетающих в окно. Здесь выражает он до жалости сильно и напряженно весь ужас перед пошлостью, и восхищение, и молитву перед тихим молитвенным уютом красивого быта романтических людей.

Следующее лето (1901 год) художник живет в Зубриловке. Вы знали это имение в Саратовской губернии, старую, тихую Зубриловку с большим покойным домом? Или нет? Ее сожгли крестьяне во время революции. Мусатов провел здесь лучшие годы своей жизни. В Зубриловке он нашел самого себя; здесь он задумал «Гобелен», здесь в саду он мечтал над «Водоемом». Этюдов к «Гобелену» Мусатов не писал вовсе. Он только упорно думал над этой картиной все лето в Зубриловке, как бы создавая мысленно итоги своей грезы, отбрасывая все ненужное и выбирая только важнейшее, самое ценное из жизни. Он пережил, создавая «Гобелен», смерть своей первой мечты. В записках его, относящихся к этому времени, видна тяжелая драма любви и одиночества. Мусатов понял, что ему нельзя быть с теми девушками, среди которых он жил когда-то. И мечтая о них, он уже не рисовал рядом с ними наряд-

ного влюбленного кавалера. В «Гобелене» две девушки и нет мужчины. Его и не будет в последующих картинах Мусатова. Греза о женщине всецело полонила его. Эта картина, быть может, самая совершенная из всего, что писал Мусатов. Здесь скованы в одно нежная детская душа и дивная техника живописи и рисунка. В парке, под сенью деревьев, гуляют две девушки. Они светлые, такие же белые, как зубриловский дом, который виден в отдалении. Они грустные, как грустны эти деревья, завороженные знойной тишиной. Они милы, как же мил этот дом, и их нет, так же как нет теперь этого дома. Но тогда, при Мусатове, дом еще был реальной правдой, а девушки тогда уже были призраками. Так спаял художник жизнь с мечтой. В этом же году им написан «Вишневый сад», полный чеховской грусти.

В Саратове, так же как и в Москве, не поняли Мусатова. Его считали «декадентом». Он жил одиноко в маленьком флигеле в саду и виделся с немногими случайными друзьями. Однажды в 1902 году вечером он показал им свою новую, задуманную еще в Зубриловке, картину «Водоем». Много раз писал Мусатов этюды зубриловского парка, писал двух женщин, глядящихся в зеркальной глади воды.

В водоеме в летний день отражаются небо и деревья. У воды тоскуют о чем-то печальноокие женщины. Одна сидит, другая стоит подле. Парк и небо опрокинулись в воде и застыли. И тихая гладь пруда, и мечтательные призраки женщин, и недвижимые деревья заворожены тайной бытия. Старый волшебник Время заколдовал все. Все женщины стали Спящими Царевнами. И никто живой не проникает в заколдованный сад. Память о прежнем овеяла нежной сказкой реальное видение. И мнится, что природа и люди — застывший сон. Какой-то особенной жизнью тихого, почти небывалого спокойствия охватывает эта картина. Кажется: вот вспомнишь, что это давно-давно где-то виденное, и силишься, и не можешь припомнить, когда это было. Так жил всякий, но когда, где, почему?..

Техника исполнения картины показывает в ее авторе огромного, умелого мастера. «Водоем» прекрасен своими бархатными мечтательными красками, сказочно-правдивой живописью неба, воды, листвы и материи платьев.

Все нарисовано и написано с мудрым обобщением цвета и форм. Мечта художника кристаллизировалась и застыла. «Водоем» навсегда останется классическим произведением русской школы живописи.

В том же 1902 году, осенью, Мусатов женился на давно любимой им девушке. Лето следующего года он проводит на даче близ Хвалынска, в тенистом ущелье Черемшана, в местности старого скита раскольников-«австрийцев». Недалеко от дома, где жил Мусатов, был дубняк, и художник целыми днями писал этюды деревьев.

Эти наброски послужили ему для картины «Изумрудное ожерелье». Картина названа так по ярко-зеленому, «изумрудному» тону дубовой листвы, в тени которой сплелись, как самоцветные камни, мечтательные девушки в старинных платьях.

Здесь зародилась в грусти и улыбнулась радостью детская греза художника. Так кажется, смотря на «Ожерелье»: налево женщина в темном — печальная, с остановившимися, полными тоски глазами. Другая, подле нее, также горюет. Но чем дальше от тоскующих, тем веселее становятся девушки. И та, что стоит направо,— радостное, полное жизни, беспечное дитя. Так, словно волна, бежит грусть, развертываясь счастьем.

В картине вся гамма настрое-

ний — от печали к солнечной радости. И невольно думаешь о переливах зеленых камней, смотря на «Изумрудное ожерелье».

Одновременно с этой картиной художник написал и другую — «Призраки», давно уже задуманную в Зубриловке. Здесь опять представлена вереница женских лиц в старых костюмах. Они кажутся завороженными могущественным колдуном — Временем, они безвольно бродят, как тени у стены старого, опустелого помещичьего дома. Также задумчивы нездешние лица: «Дама в профиль», «Спокойствие», «Сон» и «Встреча у колонны». Все они написаны до 1904 года в «саратовский» период творчества Мусатова.

В конце 1903 года он уезжает в Подольск, близ Москвы. Здесь монументальные задачи фресковой живописи увлекают его. Он вспоминает, о чем грезил он в Париже, ему вспоминаются Ботичелли и Пювис де Шаванн.

Мусатов понимает, что ему дан великий дар угадывания и провидения огромных цветных видений. Ему чудятся плоскости дворцовых стен, расписанных фресками, музыкальные ритмы стенной живописи. Первые проблески этой смелой мечты художника были в «Изумрудном ожерелье». Потом Мусатов всецело отдается мысли о декоративной живописи. Он получает заказ расписать фресками центральное здание трамваев и пишет эскизы своих красочных грез: «Екатерина Великая и Ломоносов», «Девушки, застигнутые грозой», «Ветки плакучей березы и рябины». Вполне естественно, что трамвайная администрация не принимает эскизов, как не соответствующих заданной теме. Мусатов делает тогда проекты фресок для одного дома, но и они не приводятся в исполнение. Эти эскизы акварелью принадлежат теперь А. П. Боткиной и Третьяковской галерее.

В. К. Станюкович опубликовал в своей книге о Мусатове составленное самим художником описание фресок.

«Весенняя сказка» (левая сторона). Утро радостное. Юные игры. Две молодые подруги ловят белых мотыльков; третья подбирает букет, рвет лепесточки. Светлые платья — как лепестки весенних цветов. На островке группа берез плакучих с прозрачными длинными тенями. Между ними — скамья. Старый бюст Горация, друга лирических лесов, задумчиво смотрит вдаль, а даль, берег парка и небо с весенними облаками отразились в реке.

«Летняя мелодия» (средняя стена). День склоняется к вечеру. На террасе группа дам. Зеленый плющ. Старый мрамор на фоне тенистого парка и стены дома освещены солнцем. Снизу по ним поднимаются неслышно прозрачные тени. Жеманные позы. Богатство материй. Летние облака, принимая фантастические формы, плывут над парком.

«Осенний вечер» (правая сторона). Осенняя песнь. На облаках догорают последние лучи солнца. На фоне вечернего неба силуэтами тянутся стволы старых лип; за ними меланхолическая даль пустынного парка. В вышине тяжелым кружевом сплелись липы ветвей; они скоро будут голы.

Налево грот с облетающим кустом жимолости. Перед ним тихая вода ручья. Идут девушки... Они тоже скоро исчезнут.

Прощальная прогулка. Последний брошенный прощальный взгляд. Последний сорванный цветок.

И только одинокий флюгер над крышей покинутого дома будет всегда смотреть туда, на юг,— куда они теперь смотрят».

Последняя картина была задумана в двух вариантах; вот один из них:

«Сон Божества. Глубокая осень, холодная, безрадостная ночь.

Спит старый парк у развалин башни. Спит бог любви. К его пьедесталу жмутся робко последние осенние розы. Голые ветви деревьев тянутся к звездам. Одна ветка заглянула в печальный водоем и утонула в нем».

Эти проекты фресок полны неизъяснимой печали, подернуты нежной дымкой грусти. Того же настроения и прелестные картины «Прогулка при закате» и «Парк погружается в тень». Это последнее произведение — одно из перлов творчества художника; особенно красиво оно по краскам, бледным, мерцающим, переливчато-опаловым, словно морская раковина, искрящаяся перламутром.

Весной 1905 года Мусатов поселился в Тарусе — маленьком захолустном городе Калужской губернии. Здесь никто не беспокоил его, и он мог уйти в самого себя, сосредоточиться. Лето он должен был прожить в Москве, но к осени вновь вернулся в Тарусу. В это время им исполнен «Орешник» — дивный, бледный этюд холодной реки, осеннего неба, деревьев с обнажающимися ветвями. Тогда же задуман и «Реквием» — последняя и, может быть, лучшая его картина. В ней соединились и кристаллизировались все искания и грезы Мусатова: мечта о далекой красоте итальянских фресок и нежная ласка близкой ему русской усадебной жизни прошлого. Все в этой картине печально, все не реальность, а воспоминание. Центральная фигура — долго любимая им, только что умершая женщина. Она кажется не правдой, а выдумкой, задумчивым призраком еще в детстве снившегося сна. Кругом все женщины, и все печальны. Рыжеволосые и чернокудрые, бледные, грустные, печальноокие, осенние. Тихо тоскуют они, и глаза их кажутся глазами раненых ланей. Движутся, чуть слышно шурша платьями, шевелятся лениво, как падающие с деревьев листья. И от всей картины веет каким-то особенным, чисто музыкальным обаянием, неизъяснимым очарованием милой, больной «мусатовской» грезы.

Эта картина была последней. Надломленное здоровье Мусатова не выдержало тяжелых испытаний, усиленного, непрерывного труда. В ночь на 26 октября 1905 года он почувствовал себя плохо и к утру скончался. Он умер 35 лет...

В жизни бывают таинственные и странные совпадения: через несколько дней после смерти Мусатова крестьяне сожгли зубриловский дом, сожгли парк, все разрушили, истребили. И тень поэта призраков потеряла свой приют...

Есть художники, жизнь которых является как бы сценическим воплощением их художественных мечтаний. Они сопереживают бытие тех героев, о которых рассказывают языком красок, они переносят на холсты своих картин ту жажду правды, которая мучает, радует и волнует их. Смотря на их произведения, видишь их самих соучастниками тех красочных снов, которые они воплотили в искусстве. Одни выражают свои сокровенные грезы и рассказывают только о себе. Другие, напротив, стараются скрыть свое «я», никогда не пишут того, что видят вокруг себя, никогда не представляют своего изображения среди героев и героинь жизни и сказок, о которых повествуют.

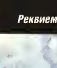
Они стараются забыться, уйти далеко от действительности, спрятаться, сделаться маленькими, незаметными, надеть на себя большую «шапку-невидимку» и смотреть из-под нее, скрытыми от посторонних глаз.

Они думают, что, рассказывая о нездешнем мире, они сами станут жителями другой земли. Они так жестоко обижены судьбой, что кажутся себе недостойными той красоты, о которой мечтают и ко-

Изумрудное ожерелье.



Гармония.



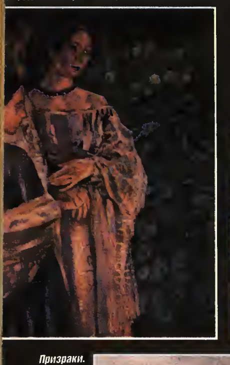
Реквием.

Гобелен.



Дама в голубом.

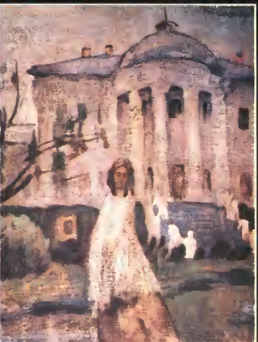
зумрудное ожерелье. Фрагмент.



Мальчик в красной феске.



Призраки.



торую воплощают на своих картинах.

Борисов-Мусатов был именно таким скрытным, затаившимся поэтом. Он, фанатичный поклонник женщины, он, нежно любивший все стройное, изысканное и прекрасное, был калекой, одиноким, несчастным и больным. Вот почему ему так хотелось спрятать свой облик, свою жизнь и свое несчастье от других; он был слишком горд, чтобы жаловаться! Он уходил от жизни, бежал от нее, но, злая и беспощадная, она настигала его, окружала насмешками и наконец покинула в полном его расцвете сил и дарования. Но загнанная, больная, измученная, страдальческая душа художника, прячась от всех, все же выплакалась в его картинах. Мусатов хотел отказаться от жизни, но не мог. Он один из самых ярких индивидуалистов, но вместе с тем выразил как никто не только себя, но и все свое время, его вкусы и мечтания. В «Гармонии» сплетаются правда и выдумка: старуха в современном платье, дом старинного построения и новые люди, одетые, как одевались когда-то давно. Мечта и жизнь скованы здесь воедино.

Женщины на картинах Мусатова именно те, которых он любил в жизни, но их одеяния и дома, в которых они живут, совсем иного века. «Когда меня пугает жизнь — я отдыхаю в искусстве»,— говорит Мусатов, но и в это искусство он незаметно для себя вкладывает живую частицу действительности. Он создал свой особый мир, где правда соприкасается с фантазией, он всю свою жизнь как бы прожил на том «Зеленом Острове», куда еще в детстве он ездил скрываться от людей.

В одном стихотворении в прозе, написанном им еще в Саратове, сказываются это искание одиночества, тупая боль от жизни и жажда иного бытия:

«Спокойствие душу объемлет, и я никуда не иду. Здесь концерты, вечера, спектакли, скандалы; саратовцы, судя по газетам, мятутся. Мятутся мои бедные односельчане, а я сижу дома и задаю концерты себе одному. В них вместо звуков — все краски, а инструменты — кружева, и шелк, и цветы. Я импровизирую на фоне фантазии, а романтизм мой всесильный капельмейстер. И я забываю, что люди здесь существуют. Мне кажется, что их здесь нет или я их так глубоко презираю. И мне кажется иногда, что я на каком-то необитаемом острове. И действительность как будто не существует, мечты мои всегда впереди. Иногда они ближе меня окружают толпой, они мне создают целые симфонии, тоска меня мучит, музыкальная тоска по палитре, быть может; где я найду моих женщин прекрасных? Чьи женские лица и руки жизнь дадут моим мечтам? И я никуда не иду, спокойствие душу объемлет...»

В этих неумелых и наивных строках ярко и выразительно высказалась вся больная и неудовлетворенная душа художника. И, быть может, эта неудовлетворенность и собой, и жизнью, и своим искусством и была тем главным двигателем к постоянному усовершенствованию, которая так обаятельна во всех работах Мусатова? Эта жажда иного, жажда новых и новых достижений «художественного ремесла» и выковала из Мусатова одного из лучших мастеров русской школы живописи.

Предисловие и публикация АЛЕКСЕЯ КАРЕТНИКОВА.

НИКОЛАС УАЙЗМЕН

ФАБИОЛА

Повесть из древнеримской жизни



XVII

На другой день после ужина у Фабия Торкват, проснувшись, увидел Фульвия около своей постели. Фульвий очень холодно рассказал ему, что случилось накануне, и еще раз представил ему картину несчастий, которые неминуемо его постигнут, если только он не захочет назвать имена всех известных ему христиан.

— При первой твоей попытке обмануть нас,— сказал Фульвий,— ты будешь предан в руки судей и, разумеется, приговорен к смерти; если же согласишься действовать вместе со мной, то сможешь стать богатым.

Торкват не ответил ни слова; он был бледен и дрожал.

— У тебя лихорадка,— сказал Фульвий,— пойдем прогуляемся. Утренний воздух освежит тебя.

Торкват повиновался. Фульвий отправился с ним на Форум, где они, якобы случайно, встретили Корвина.

— Хорошо, что встретился с вами,— сказал Корвин.— Не хотите ли зайти к моему отцу? Я вам покажу его мастерскую.

— Мастерскую? — спросил удивленный Торкват.

— Да, мастерскую, в которой он хранит орудия своего мастерства. Он только что привел их в порядок.

Они вошли в широкий двор и оттуда в сарай, наполненный орудиями пыток всех родов и всех размеров. Увидя их, Торкват вздрогнул и отшатнулся.

— Войдите, не бойтесь,— сказал старик палач, встретивший их у входа.— Огонь еще не разведен, и никто вас не тронет, если вы — от чего да избавит вас Юпитер! — не принадлежите к гнусной христианской секте. Мы для нее подновили все инструменты.

— Покажи этому молодому человеку все твои орудия и объясни ему их назначение,— сказал Корвин палачу.

Мы не будем описывать орудия пыток, имевшие целью отнимать у людей здоровье и жизнь.

Торкват почувствовал, что ноги его подкашиваются. Холодный пот выступил на его лице, и дрожь пробежала по всему телу. Он поспешил выйти из этого ада и отправился в бани Антонина. После роскошного завтрака его повели в игорную залу. Чтобы заглушить мучения, он принял участие в игре и проиграл. Фульвий поспешил дать ему денег взаймы, и так Торкват попал в еще большую зависимость от Фульвия.

С этого дня Торкват и Фульвий виделись ежедневно. Корвин и Фульвий приказали Торквату проникнуть в катакомбы, чтобы изучить их переходы и узнать, в каком именно месте епископ совершает литургию. Вот почему Торкват при помощи ничего не подозревавшего Панкратия посетил катакомбы, сосчитал коридоры и оставил отметки. Возвратясь оттуда, он донес обо всем, что видел и слышал, Корвину, который принялся со слов Торквата составлять чертежи катакомб и решил, что на другой же день

Окончание. Начало в № 10

с утреиией зарей, после обнародования декрета о преследовании христиаи, он войдет туда и захватнт всех, кого обнаружит.

Фульвий составил для себя другой план действий. Он поставил себе задачей лично познакомиться со всеми священииками и занимающими видное положеиие христиаиами. Зиая их в лицо, он мог бы легко захватить их всюду, где бы с иими ни встретился. Для этой цели он приказал Торквату взять его с собою, когда епископ будет служить обедню. Торкват попытался было отказаться, но Фульвнй иастоял на своем. Через иесколько дней Торкват дал зиать Фульвию, что вскоре состоится посвящение священников, обедня и причащение в христиаиской общиие. В иазначеиный день оии отправились вместе к дому наследников римского сеиатора Пуденция, где собирались хрнстиане и где епископ служил обедню.

В то время, о котором мы рассказываем, римским епископом был Маркелл. То был человек уже старый, благочестивый и впоследствни прииявший мученическую смерть за веру. Торкват зиал пароль и беспрепятствеино прошел в церковь вместе с Фульвием, который умело изображал нз себя хрнстианина. Христиан было немного; они собирались в зале, где был воздвигнут алтарь. Когда Торкват и Фульвий вошли в церковь, Маркелл стоял, обратясь к молящимся. В то время епископы, избегая всяких виешиих отличий, чтобы ие обратить иа себя виимания язычииков, ие иосили особой одежды, и, только когда служили обедню, иадевали нечто в виде чалмы. Эта чалма, несколько нзмененная, известна нам теперь под иазванием митры. В руках Маркелла был посох, точно такой же, какой до сих пор мы видим в руках иаших епископов.

Тусклая зимияя заря едва освещала залу; на алтаре горели большие душистые свечи, золотые и серебряные лампады. Близ алтаря иа возвышении было поставлено кресло; иа нем сидел епископ. Из глубнны зала раздались голоса: хор стройио пел молитвы. Вошли все, кто готовился к причастию. Епископ сказал краткое поучеиие, после которого иачалось рукоположение священников и дьякоиов. Торкват, боясь быть замечеиным, уговорил Фульвия выйти из церкви до окончаиия службы. Фульвнй согласился, так как ои увидел уже все, что хотел увидеть. В этот день приобщались миогие, в том числе Агния, Сира и Цецилия.

Фульвий ие спускал глаз с Маркелла и старался удержать в своей памяти черты его лица, рост, волосы; ои стремился запомнить даже звук его голоса и походку. «Где бы мы ни встретились,— думал Фульвий,— я иепременно его узиаю, и ему ни под какою одеждой ие удастся ускользнуть от меня. Если я успею задержать его, то состояние мие обеспечено».

XVIII

По Номеитайской дороге, к востоку от Рима, иаходится теперь глубокий овраг, а за ним широкая долина. Посредине ее стоит храм полукруглой формы, а рядом с ним церковь св. Агнии, построенная на месте ее загородиого дома, где оиа проводила

лето и осень. Причастившись, все три молодые девушки отправились туда с намерением провести целый день в уединении и спокойствии.

Мы не будем описывать этого загородного дома, который не отличался от всех богатых вилл того времени и был окружен рощами и садами. Агния любила голубей; они знали ее и слетались ей на плечи. Она любила овец, которые по ее голосу сбегались к ней и ели из ее рук траву и хлеб. Но всех больше к Агнии была привязана ее верная спутница, огромная собака по кличке Молосс. Она сидела на цепи у входа на виллу и была так свирепа, что, кроме двух-трех слуг, никто не смел подойти к ней. Агния отвязывала ее сама, и собака ходила за ней смирная, как ягненок.

Как только Агния в этот день возвратилась с литургии, Молосс, завидя ее, растянулся на земле, замахал хвостом и терпеливо ждал, пока она подойдет к нему, приласкает и отвяжет. Как только она это сделала, пес облизал ее руки, запрыгал около нее и потом побрел за нею, не отставая ни на шаг; когда Агния садилась, он ложился у ее ног, поднимал к ней свою огромную мохнатую морду, глядел в глаза и ждал, когда она своей нежной детской рукой ласково проведет по его густой шерсти.

День стоял светлый, тихий и теплый. Три подруги сидели в конце густой аллеи, сквозь которую проникали лучи заходящего солнца. Цецилия, всегда жизнерадостная, несмотря на свою слепоту, рассказывала что-то очень веселое, а Агния и Сира, нарвав цветов, делали из них букеты.

Фабиола, вышедшая первый раз из дома, захотела прежде всего посетить свою родственницу и приехала к ней на виллу. Она, не предупредив о своем приезде, вошла в сад и, увидев Агнию в обществе Сиры и слепой нищей, удивилась; присоединиться к ним ей показалось неприличным. Фабиола любила Сиру; она с удовольствием разговаривала с ней в своей спальне, но находила неприличным при гостях сидеть с нищей и невольницей. Вместо того, чтобы подойти к Агнии, она пошла в глубь сада, намереваясь возвратиться, когда Агния останется одна.

Агния же не подозревала, что Фабиола гуляет у нее в саду, и продолжала весело разговаривать с подругами. Тем более она не подозревала, что, кроме Фабиолы, на ее виллу пробрался Фульвий.

Он не забыл Агнии и помнил, что Фабий намекнул ему когда-то о возможном жениховстве. Узнав, что Агния одна, без родных и слуг, поехала на свою виллу, он решился еще раз попытать счастья. Жениться на богатой, знатной и красивой Агнии — значило разом сделать себе карьеру.

Фульвий выехал из Рима верхом и скоро добрался до виллы; там он сошел с лошади, сказал привратнику, что ему необходимо по весьма важному делу видеть хозяйку, и, узнав, что она в саду, прошел к ней, несмотря на протесты слуги. Он увидел Агнию в конце аллеи. Молосс поднял голову и зарычал. Агния, оставив цветы, подняла голову, а затем с изумлением и испугом поднялась со скамьи. В нескольких шагах от себя она увидела Фульвия, подходившего к ней с почтительным, но крайне самоуверен-

ным видом. Агнии стоило большого труда удержать Молосса, который выказывал все признаки гнева и горел желанием броситься на гостя. Однако повелительный жест Агнии удержал пса-великана: он стоял около своей госпожи, грозно рыча, и скалил страшные зубы, как будто предчувствуя, что к ней подходит недобрый человек. Несмотря на приказание своей хозяйки, Молосс не хотел лечь у ее ног, а стоял, чутко навострив уши.

— Я приехал, благородная Агния,— сказал Фульвий,— чтобы лично выразить тебе мое искреннее уважение, мою безграничную преданность. Кажется, я не мог выбрать лучшего дня,— солнце греет, как летом.

— Да, день прекрасный,— ответила смутившаяся Агния, не зная, как выпроводить иностранца, который наводил на нее страх.

— Какой прелестный белый венок у тебя на голове! Кто тот счастливец, который поднес эти цветы? Я льстил себя надеждою и еще не отказываюсь от нее, что ты иногда вспоминаешь обо мне, и даже, быть может, не совсем безразлично.

Агния молчала. Фульвий продолжал, не смущаясь:

— Я узнал из верного, очень верного источника, от нашего общего друга, что ты благосклонна ко мне. Фабий, твой родственник и мой приятель, считал, что ты не отвергнешь моего предложения. Нынче я пришел просить тебя решить мою участь. Быть может, мое поведение покажется тебе слишком опрометчивым, но ты простишь меня... Я искренен и повинуюсь велениям сердца.

— Уходи, уходи! — сказала взволнованная Агния.— Зачем ты пришел сюда нарушить мое уединение? Я никогда не желала встреч с тобой, а теперь тем более. Оставь меня. Я хочу быть одна. Я у себя дома и прошу тебя удалиться...

Притворное умиление Фульвия внезапно сменилось гневом. Его самолюбию был нанесен удар, его планы разрушились в одно мгновение. И кто же разрушил их? Девочка, ребенок!..

— Так ты не только отказываешь мне,— вскричал Фульвий, и глаза его заблестели,— тебе понадобилось еще меня оскорблять! Ты выгоняешь меня из своего дома; угадать причину не трудно. У меня есть тайный соперник... и я узнаю его!.. Не Себастьян ли?

— Как ты осмеливаешься,— раздался сзади гневный голос,— произносить имя честного человека с насмешкой?

Фульвий быстро обернулся и очутился лицом к лицу с Фабиолой. Гуляя по саду, она увидела, как Фульвий подошел к Агнии, и, предугадывая, что случится, поспешила на помощь своей молодой и кроткой родственнице. Фульвий вспыхнул, а Фабиола, не давая ему опомниться, продолжала с негодованием:

— Как ты смел опять забраться в этот дом? Кто тебе позволил? Как ты смел преследовать ее здесь, нарушив уединение, в котором она желала провести несколько дней? Какое ты имеешь право?

— А тебе какое дело? — запальчиво прервал ее Фульвий.— Кто тебе дал право говорить за хозяйку дома? Я не у тебя; я пришел к благородной Агнии...

— Да, но виновата я,— сказала Фабиола гордо и с достоинством,— виновата я, что моя молодая и неопытная родственница имела несчастье познакомиться с тобой у меня в доме, за моим столом. Поэтому я считаю своим долгом загладить мой невольный поступок, спасти ее от твоих преследований и постараюсь при помощи всех наших родных и друзей избавить ее от твоих посещений. Оставь нас!

Фабиола взяла Агнию за руку и повела ее к дому; Молосс не хотел идти за своей госпожой, но, уставившись на нежданного гостя, казалось, решился ринуться на него. Напрасно звала его Агния; ей пришлось возвратиться и взять его за длинное ухо; только тогда, продолжая рычать, Молосс пошел с нею. Фульвий несколько секунд постоял на одном месте, потом повернулся и пошел по аллее к воротам виллы. Он кипел гневом и бормотал сквозь зубы проклятия Фабиоле. Вся его ненависть обратилась теперь на нее.

XIX

День, назначенный для обнародования указа против христиан, наступил. Корвину приказано было вывесить эдикт в обычном месте Форума, близ курнального кресла, где всегда выставлялись указы римских императоров. Он понимал всю важность такого поручения, ибо из Никомидии пришло известие, что там солдат-христианин мужественно сорвал подобное объявление, за что и был казнен лютой смертью. Корвин принял все меры, чтобы в Риме не могло случиться ничего подобного, ибо тогда он мог опасаться и за собственную голову.

Постановление было написано огромными буквами на пергаменте, прибитом к большой доске. Доску укрепили на столбе ночью, когда на Форуме не было ни одного человека. Таким образом, все пришедшие утром на Форум должны были прочесть указ и начать преследовать христиан. Чтобы предупредить всякую попытку сорвать указ, Корвин приставил возле него часовых, выбранных из варварских когорт. Эти когорты составлялись из германцев, фракийцев, сарматов, дакийцев, огромный рост и сила которых устрашали римлян. Они почти ни слова не знали по-латыни. Во времена упадка империи варвары повиновались Риму и служили орудием деспотизма языческих императоров. На них опирались Тиберий, Нерон и другие знаменитые римские тираны, которым любая жестокость казалась позволительной для удержания народа в повиновении и страхе. Варвары были поставлены на всех углах Форума с приказанием убивать всякого, кто осмелится пройти в него без пропуска. Для того, чтобы ни один христианин не мог туда пробраться, Корвин выбрал паролем слова: «Неумен императорум», «божественность императоров». Он знал, что ни один христианин не решится произнести эту фразу, считая ее богохульством, ибо божественность христиане признавали за единым Богом и, почитая императоров как установленную власть, отказывались воздавать им божеские почести.

Около доски с эдиктом Корвин поставил часового, выделявше-

гося своим огромным ростом н страшной силой даже среди соплеменников. Он приказал ему не допускать к доске никого, ни под каким видом, и попытался втолковать солдату, что тот должен убнвать каждого, кто осмелится близко подойти к доске. Солдат, полупьяный от пива, которое он потягивал всю ночь, согреваясь от дождя, закутался в плащ н ходил взад-вперед перед доскою; частенько он останавливался, брал фляжку н отхлебывал нз нее.

В это время старый Дноген и два его молодых сына услышали легкий стук в дверь своего дома. Они быстро отворили ее, и перед нимн предстали Панкратий н Квадрат, центурион Себастьяна.

— Мы пришли к тебе поужинать,— сказал центурнон,— пусть твои сыновья сходят в город и купят чего-нибудь съестного. Вот деньги; только пусть купят хороший ужин и хорошего вина.

Один из сыновей Диогена отправился, а Панкратий н центурнон сели рядом со стариком.

— У нас до ужина есть еще дело, — сказал центурнон,— мы сейчас уйдем н скоро вернемся.

Панкратий был молчалив н задумчнв.

— Ну, что ж ты приуныл? — сказал центурион.— Не сомневайся, сделаем все, как нужно.

— Я не сомневаюсь и не унываю,— сказал Панкратий,— но я не могу не признаться, что ты сильнее меня. Да, я знаю, что ты одарен такою энергией, что можешь все вытерпеть. А я... только желаю этого, но не знаю, смогу ли? Сердце мое жаждет дела, но я боюсь, что у меня не хватит мужества.

— Если есть сильное желание, то найдется н мужество,— сказал центурион.— Бог даст нам силу и мужество. Ну, вот так закутайся в плащ н концом его прикрой лицо, да хорошенько! Ночь темна н сыра. Дноген, положи дров в огонь, чтобы мы могли согреться, когда вернемся, а мы вернемся очень быстро. Не запирай дверей.

— Идите с Богом,— сказал Диоген,— что бы ни затеяли, я знаю вас,— дело это хорошее.

Квадрат также закутался в свой военный плащ, оба вышли из дома н по темным улицам квартала Субурры быстро направились к Форуму. Едва они нсчезли нз поля зрения Диогена, следившего за ними, как подошел Себастьян и спросил Диогена, не видал ли он Панкратия н Квадрата. Себастьян догадывался об их намерениях н боялся, чтобы они не попали в беду. Диоген ответил, что они ушли, но обещали вернуться очень скоро. Действительно, через полчаса дверь быстро отворилась. Панкратий вбежал в комнату, а Квадрат, вошедший за ним, принялся крепко-накрепко запирать за собою дверн Диогенова дома.

— Вот он! — вскричал Панкратий, радостно показывая кусок пергамента.

— Что это? — спросили в один голос Себастьян и Диоген.

— Эдикт, великий эдикт! — ответил Панкратий с необычайным воодушевлением.— Глядите: «Наши властители. Диоклетиан н Максимиан, непобедимые, мудрые, великие, отцы императоров и цезарей», и так далее... Вот куда ему дорога!..

И Панкратий бросил эдикт в огонь. Сыновья Диогена подбросили хворосту; пламя вспыхнуло, и в одно мгновение огонь охватил твердые куски пергамента; сперва он побежал по ним легкими струйками и яркими вьющимися змейками; потом вспыхнул пламенем, и вдруг все стихло; послышался легкий треск, клочки пергамента свернулись стружками, черные буквы побледнели, побелели и, наконец, совсем исчезли.

Себастьян грустно и задумчиво смотрел, как огонь пожирал эдикт, осуждавший на мученическую смерть стольких невинных людей.

Он знал очень хорошо, что если будут открыты виновники кражи указа и присутствовавшие при его сожжении, то их ждет самая ужасная, самая жестокая смерть. Он верил, что умереть за правое дело благородно и почетно, и не решился упрекнуть юношу за его смелый поступок, грозивший им всем неизбежной смертью.

Между тем успокоившийся Панкратий сел ужинать с сыновьями Диогена. Завязался веселый разговор. Когда Панкратий встал из-за стола, Себастьян простился с Диогеном и его сыновьями и вышел вместе с Панкратием, не позволяя ему идти мимо Форума. Они сделали большой крюк и благополучно дошли до дома Панкратия. Себастьян облегченно вздохнул и направился к себе.

На другой день рано утром Корвин отправился к Форуму. Он пришел в неописуемую ярость, негодование и испуг при виде голой доски. Словно для того, чтобы окончательно вывести его из себя, около гвоздей остались висеть еще два-три клочка. Он в бешенстве бросился на германца, но свирепое выражение лица тупоумного гиганта остановило его. Корвин, как мы уже знаем, не отличался особой храбростью. Однако, несмотря на свою трусость, он с яростью закричал солдату:

— Негодяй! Пьяница! Тупоумный! Гляди сюда! Где эдикт?

— Тише, тише,— флегматично ответил огромный сын севера.— Разве ты его не видишь, вот он!

И он указал на доску.

— Да где же,— закричал Корвин,— покажи мне, безмозглый, где он?

Тевтон подошел к доске и пристально на нее уставился. Осмотрев ее с одного бока и другого, сверху и снизу, он сказал спокойно:

— Так ведь вот же она, доска, здесь!

— Доска тут, болван, ну а где же надпись, объявление, эдикт?

— Говори толком,— сказал солдат.— Ты дал мне стеречь доску — вот она; а что касается до надписи, я читать не умею и ни в какую школу не ходил. Этого дела я не знаю. Всю ночь лил дождь, видно, он ее, надпись-то, измочил и стер.

— А ветер разнес клочки пергамента? — подхватил с гневом Корвин,— так, что ли, по-твоему?

— Так,— сказал тевтон равнодушно.

— Да разве я шучу с тобой, негодяй! Отвечай мне: кто приходил сюда ночью?

— Приходили двое.

— Кто двое?

— А кто их знает! Наверное, два колдуна.

Глаза тевтона блеснули недобрым огнем.

Он начинал понемногу сердиться. Корвин заметил это и присмирел.

— Ну, добро, добро: скажи мне, что за люди приходили сюда и что делали?

— Один из них ребенок — маленький, тоненький, худенький; его и от земли почти не видать. Он бродил около куриального кресла и, верно, унес то, что ты спрашиваешь, пока я занялся другим.

— А кто был другой? Какого рода человек?

Солдат, казалось, воодушевился; он начал говорить быстрее и решительнее.

— Другой! Да такой силы я еще не видывал!

— Откуда ты это знаешь?

— Сначала он подошел ко мне и заговорил ласково, приветливо, спросил, не холодно ли мне, не устал ли я, стоя тут целую ночь. Дело уж шло к утру. Я вдруг вспомнил, что мне приказано бить всякого, кто подойдет. Я тотчас сказал ему, чтоб он шел прочь, а не то я проткну его копьем.

— Хорошо! Так и надо! Ну и что же он?

— Я отошел шага на два и потряс копьем; а он вдруг бросился на меня, вырвал у меня из рук копье, переломил его на своем колене, как ломают тростник, и закинул лезвие в одну сторону, древко — в другую. Вот смотри, лезвие воткнулось в землю в нескольких шагах от меня.

— И ты не наказал его за наглость? А где же твой меч?

Германец, на лице которого опять была написана полнейшая невозмутимость, спокойно показал на соседнюю крышу и холодно произнес:

— Меч он туда забросил; гляди, лежит и теперь на черепичной крыше, вот там! Эх, куда он хватил-то! — прибавил он не без простодушного удивления.

Корвин взглянул и действительно увидел на крыше большой и тяжелый меч германца.

— Да как же ты отдал его, безмозглый?

Солдат покрутил усы с недовольным видом и произнес:

— Отдал! Я не отдал. Кто его знает, как он взял его, да и забросил. Тут не обошлось без нечистой силы.

— Сила-то тут есть, да не та, тут сила твоей непроходимой глупости,— сказал Корвин с досадой, которой сдержать не мог.— Ну а потом что?

— А потом мальчишка, который бродил около столба, отошел, и молодой силач оставил меня и ушел с ним. Оба точно сгинули в потемках.

«Кто это сделал? — думал Корвин.— Не всякий мог решиться на такую дерзкую проделку». И, обратясь к германцу, он вдруг закричал:

— Почему же ты не поднял тревоги, не разбудил стражу, не бросился в погоню?

— За кем это? За ними-то? Да кто их знает, кто они, может,

колдуны. Мы с колдунами драться не беремся. Кроме того, доска цела; мне дали стеречь доску — вот она!

— Варвар тупоумный,— пробормотал Корвин,— ничего не втолкуешь в его пустую голову. Ну, товарищ,— продолжал он вслух,— это дело недоброе и обойдется тебе недешево; разве ты не знаешь, что совершено преступление?

— Преступление? Как так? Надпись, что ли, преступление?

— Не надпись, а то, что ты недосмотрел, позволил подойти к доске людям, не знавшим пароля.

— А с чего ты это взял? Они подошли и сказали пароль.

— Как сказали? — воскликнул Корвин.

— Да так сказали.

— Стало быть, они не христиане?

— Этого я не знаю, они подошли и громко сказали: «Номен императорум».

— Как?

— «Номен императорум»

— Ах ты, несчастный! — закричал Корвин.— Да ведь пароль был не тот. Пароль «нумен императорум», то есть «божественность императоров».

— Ну, уж этого я не знаю. Я не мастер говорить по-вашему, «номен» или «нумен» — по-моему, все одно.

Корвин задыхался от бешенства. Он упрекал себя, зачем поставил на часы идиота-варвара вместо умного и ловкого преторианца.

— Тебе придется ответить за это перед начальством,— сказал Корвин глухо,— а ты знаешь, что оно тебе не спустит.

— Хорошо, хорошо, только и ты, и я равно подначальны и, стало быть, равно виноваты.

Корвин побледнел и растерялся.

— А коли виноват,— продолжал германец, который оказался не столь глуп, как думал Корвин,— так сам и выкручивайся. Спасай меня и себя. Ведь тебе будет хуже, чем мне. Надпись поручили тебе, а мне поручили доску. Доска ведь вот она! Целехонька!

Корвин задумался.

— Вот что,— наконец сказал он,— беги и спрячься. Никому не показывайся несколько дней, а мы скажем, что на тебя напала ночью толпа, что ты защищался, и, вероятно, тебя убили. Сиди дома, а я уж достану тебе пива вволю.

Солдат не стал долго раздумывать и тотчас ушел. Через несколько дней на берегах Тибра было найдено тело германца.

Предположили, что он был убит в ночной схватке в каком-либо загородном кабаке, и дело предали забвению. Как это случилось, мог бы рассказать Корвин. Покидая Форум, он внимательно осмотрел доску, столб, на котором она висела, и землю вокруг. Он нашел только небольшой нож, который, как ему казалось, он где-то видел, и заботливо спрятал его, силясь припомнить, у кого именно он его видел.

Когда настало утро, народ толпой повалил к Форуму. Все хотели собственными глазами увидеть страшный декрет, но

обнаружили только голую доску. Впечатление, произведенное на толпу, было различным. Одни возмущались дерзостью христиан; другие потешались над теми, кому поручено было вывесить эдикт; некоторые не могли не удивляться мужеству христиан, но большинство осыпало их ругательствами и распалялось против них еще большей ненавистью.

Во всех публичных местах, в банях, в садах только и говорили, что о пропаже эдикта. В банях Антонина, где собиралось высшее римское общество и молодежь, также велись оживленные разговоры.

— Какая дерзость,— говорили светские щеголи и важные лица,— украсть декрет!..

— Да это что! Убить бедного солдата — вот дерзость, достойная одних христиан! Чем виноват солдат? Он исполнял свой долг, его приставили охранять эдикт, он и охранял его.

— Неужели убили? — восклицал женоподобный молодой патриций, постоянно любовавшийся собою и своим нарядом.

— Как же, убили... тело нашли... весь изранен, смотреть страшно! Какое зверство!

— И какая низость! Сто на одного! Одни христиане способны на такую низость.

— Они на все способны. Не будет здесь ни спокойствия, ни благоденствия, пока не истребят их всех до единого.

— Травить их зверями! — завопил один.

— Жечь на огне! — крикнул другой.

— Резать, где бы ни попались! — подхватил третий.

— И все это было не так,— важно произнес пожилой человек с надменным лицом, стоявший в стороне,— тут было не нападение, а колдовство. Мне рассказывал очевидец, что к солдату подошли две женщины; он пронзил одну из них мечом — меч прошел сквозь нее и не ранил; тогда он, испугавшись,— да и кто бы не испугался! — обернулся к другой и пустил в нее свое копье. Копье прошло насквозь через ее тело и полетело дальше. Тогда эта женщина бросила в лицо солдата горсть какого-то зелья, и солдата понесла по воздуху невидимая сила. Она занесла его далеко, на крышу одного храма, и нынче утром его нашли там спящим на самом ее краю. Я уж не знаю, как это боги спасли его от смерти. Одно движение, и он бы упал и разбился. Добрые люди, увидев его утром, приставили лестницу, влезли на крышу и осторожно разбудили его. Солдат рассказывал все сам. Один мой приятель видел лестницу, по которой он благополучно слез. Ну не позор ли, что этих колдунов еще не истребили и что они могут проделывать такие штуки? После этого никто не может ощущать себя в безопасности — ни вы, ни я...

— Странное дело,— шептали другие.

— А я в это не верю,— сказал какой-то пожилой человек.— Все это сказка.

— Как сказка! Мой приятель видел своими глазами лестницу! —, возразил с досадой пожилой.

— Видеть лестницу немудрено, и я нынче видел лестницу, но из этого не следует, что можно верить в колдовство... Но я веду речь не к тому. Вот результаты, к которым пришли благодаря

нашему равнодушию к общественным делам. Христиане воспользовались этим, забрали все в свои руки и вертят всем; все себе позволяют. Их везде много — и в армии, и в обществе, и в провинциях! Таких интриганов трудно найти. Кальпурний! Ты все хорошо знаешь, ты человек ученый: скажи, ведь ты не веришь колдовству?

— Но мой приятель видел все своими глазами!..— воскликнул пожилой.

— Видел лестницу!.. Знаем, знаем,— сказал, смеясь, молодой щеголь, и толпа расхохоталась. Пожилой передернул от досады плечами и бросил на все общество взгляд, исполненный глубочайшего презрения.

— Я думаю,— сказал Кальпурний,— что нельзя совершенно отвергать колдовства. Чтобы унести солдата по воздуху, надо только отыскать пригодную для этого траву; в известное время года и при известной погоде надо истолочь ее в ступке, приговаривая магические слова, и смешать с аэролитом, упавшим с неба камнем. Тогда человек, которому бросят в глаза этот порошок, полетит, как аэролит. Колдуньи в Фессалии (это известно даже в простонародье) летают по воздуху. Первые христиане, как я уже говорил не раз, родом из Сирии, которая исстари славилась колдовством и колдунами. Неудивительно, если они и здесь при помощи злых духов совершают разные злодеяния!

— Неужели все христиане колдуны? — спросил кто-то из толпы.

— Конечно, колдуны, в этом и заключена их страшная сила. Посмотрите, каким почтением пользуются их жрецы, а почему? Все они колдуны. Заметьте, что у них установлено равенство между всеми: раб и патриций равны, а почему? Оба колдуны и, следовательно, обладают одинаковой силой.

— Какой ужас! — сказали одни.

— Как возмутительно! — прибавили другие.

— Какая низость! — закричали в один голос молодые щеголи.— Раб и патриций равны! Да это безнравственно!

— Теперь понятно, почему божественный император издал против них строгий, но справедливый эдикт,— сказал Фульвий.— Они достойны самых суровых наказаний, верно, Себастьян? — Фульвий пристально посмотрел на только что вышедшего из бани Себастьяна. Себастьян нисколько не смутился и холодно отвечал:

— Если христиане колдуны и преступники, если они злодеи и изменники, то они достойны наказания, но и в этом случае, по моему мнению, им надо предоставить некоторые права.

— Какие же? — спросил Фульвий с иронией.

— Я бы хотел, чтобы те, которые обвиняют их, доказали, во-первых, их преступления, потом я бы хотел, чтобы обвиняющие их не были сами ни убийцами, ни ворами, ни развратниками, ни пьяницами. Что касается меня, я знаю, что несчастные христиане, которых так позорят, не виноваты ни в чем подобном.

Ропот негодования раздался в толпе. Фульвий покраснел от злости, но спокойный, светлый взор Себастьяна, его звучный голос, благородная осанка обезоружили его. Толпа, встретившая



слова Себастьяна воплем негодования, тоже стихла. Она почувствовала на себе то неотразимое влияние, которое всегда производят люди, говорящие правду.

Произнеся эти слова, Себастьян повернулся и тихо вышел из бань. Он шагал по улицам Рима, не видя и не замечая ничего. «Долго ли нам страдать? — думал он с горечью.— Долго ли выносить клевету и гонения, долго ли бороться с разъяренною толпою? Долго ли слышать обвинения от тех, которые не имеют ни малейшего понятия о нашем учении и о нашей вере, да и не хотят знать, кто мы такие?» В эту минуту он вдруг остановился, вынул из-под одежды какой-то кусок пергамента, прочел и в этот момент вышел за ворота Рима и невольно прошептал: «Боже мой! Опять? И долго ли еще?»

— Добрый человек,— сказал за ним тихий и кроткий голос,— что за дело, что нас еще топчут ногами и бросают в нас грязью? Потерпим еще.

— Спасибо, Цецилия,— сказал Себастьян,— устами твоими, как устами невинного младенца, говорит Христова мудрость. Спасибо тебе, ты поддержала падавший дух мой и пролила целительный бальзам на мое скорбевшее сердце. Но куда ты направляешься и почему ты так спокойна в этот страшный для всех нас день?

— Я назначена проводницею в катакомбы Калликста,— сказала Цецилия.— Если нам суждено погибнуть, помолись за меня; пусть я первая погибну.

Она хотела удалиться, но Себастьян остановил ее и поспешно начал ей что-то объяснять.

XX

Лечь спать после своего ночного предприятия ни Панкратий, ни сыновья Диогена не могли, ибо до зари они должны были вместе с другими христианами быть за литургией в домашней церкви. Это собрание должно было быть последним, ибо часовни и домовые церкви решено было по приказанию епископа и священников запереть и впредь собираться для молитвы в катакомбах. Тем из христиан, которые жили слишком далеко, разрешено было в случае опасности оставаться дома.

Тот же день был отмечен волнующей сценой. Христиане, зная, что наступила пора испытаний, прощались друг с другом. В церкви раздавались звуки поцелуев, плач и рыдания. Действительно, многим из присутствовавших не суждено было уже свидеться в этой жизни. Все плакали, все боялись один за другого, но никому не приходило в голову отступиться от своей веры; всякий просил у Господа сил перенести ожидаемые бедствия и страшную смерть или, что еще ужаснее, весть о смерти родных и близких.

Между тем Корвин велел как можно скорее сделать новую копию с эдикта и опять выставить его на Форуме. Он страшно боялся, что до Максимиана дошла весть об украденном ночью эдикте, и потому решился во что бы то ни стало отличиться в тот же день, чтобы загладить свою невольную вину. Корвин отпра-

вился в бани Антонина посоветоваться с Фульвием. Это было уже не первое их совещание в банях.

Они не замечали, что всякий раз, когда они разговаривали, Виктория, жена Кукумия, служителя при банях, почти не оставляла их: природная женская хитрость давала ей возможность убирать что-либо около них, оказывать или предлагать им какие-то услуги. Таким образом, она могла слышать многое, и замыслы Корвина и Фульвия не были для нее тайною. Узнав, что Корвин намеревается окружить катакомбы и проникнуть в них на другой день, она рассказала об этом Кукумию, а тот предупредил христиан.

Виктория подслушала, что Корвин решил нагрянуть в катакомбы, не откладывая до завтрашнего дня, и что Фульвий одобрил его план. Надо было во что бы то ни стало успеть предупредить христиан, которые (Кукумий знал это), считая себя в безопасности, должны были именно в эту минуту там собраться. Корвин мог захватить их всех разом.

Кровь стыла в жилах Кукумия при одной этой мысли. Но как предупредить? Кого послать? Кому довериться? Кукумий и жена его ни под каким предлогом не могли без позволения отлучиться и оставить бани. Пока Кукумий раздумывал, он увидел вошедшего Себастьяна, но ни обычаи, ни простая осторожность не позволяли ему, простому служителю, говорить с патрицием и офицером императорской гвардии.

Виктория, подавая одежду Себастьяну, приколола к изнанке его туники кусок пергамента, на котором было изложено очень безграмотно, но очень четко намерение Корвина. Себастьян из бань пошел в общую комнату, где, как мы уже знаем, принял участие в разговоре, защищая христиан от клеветы.

Выйдя из бань, он вдруг почувствовал, что к тунике у него что-то приколото. Он вытащил кусок пергамента, прочел его и быстро пошел к предместьям Рима. Встретив Цецилию, он остановил ее, отдал записку Виктории, просил идти скорее, прежде всего предупредив епископа о грозящей ему опасности. Цецилия поспешно пошла в катакомбы Каллиста, в которых находились все христиане.

В ту же самую минуту Корвин, Фульвий и Торкват, служивший проводником, с двумя десятками солдат приближались к катакомбам Каллиста с другой стороны. Корвин вместе с Торкватом и несколькими солдатами должен был караулить вход, чтобы любой христианин, успевший спастись от солдат, попался бы непременно в руки к Фульвию при выходе из подземелья.

Теперь попытаемся начертить план той части катакомб, где собирались христиане. К церкви вели два коридора, переходившие один в другой. Коридоры разделяли церковь и место моления женщин, поскольку в первые века христианства при богослужении мужчины и женщины должны были стоять отдельно.

Подойдя ко входу, скрытому в развалинах, Торкват без труда отыскал его. Нужно было спускаться под землю. По совету Торквата солдатам приказали взять лампы; но они решительно отказались идти вниз без факелов. Им казалось, что свет факелов ярче и вернее осветит им дорогу, чем бледный свет лампы.

Фульвий, видя различия в том или другом освещении, уступил им. Солдаты зажгли большие смолистые факелы.

— Не люблю я таких поисков,— ворчал один старый солдат,— я поседел в сражениях, но бился всегда против врагов, тоже вооруженных. А что это такое? Лезть под землю, а там впотьмах они задушат тебя, как крота.

Эти слова подействовали на других солдат.

— Кто знает, сколько их там,— ответил один из них,— их, быть может, сотни, а нас всего-то навсего двадцать человек.

— Нам платят за то, чтобы сражаться с врагами, а не за то, чтобы лазить под землю,— сказал третий.

— И добро бы заставляли только сражаться с ними или хватать их,— прибавил другой,— я их не боюсь, будь их хоть сотни! Я боюсь их колдовства. Они, уже это известно каждому, все до одного колдуны.

Фульвий подошел к солдатам и начал уверять их, что христиан немного, что они не колдуны, а известные трусы, что у них под землею зарыты всякие богатства, что одних золотых и серебряных ламп достаточно для того, чтобы каждый из них стал богачом. Солдаты приободрились и стали спускаться. Торкват шел впереди. Когда они сошли вниз по лестнице и прошли довольно далеко по галерее, то увидели вдалеке еле брезжущий свет.

— Не бойтесь,— сказал Торкват,— это лампы.

Послышалось пение. Солдаты остановились.

— Тсс... тсс...— сказал один из них.— Слушайте, кто-то поет.

Солдаты стояли не шевелясь и слушали. Чистый и сильный голос раздавался под сводами, и было слышно каждое слово.

«Господь свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?»

Затем хор пропел: «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут».

Услышав эти слова, солдаты почувствовали досаду.

— Смеются они, что ли, над нами? — бормотали они.— Мы их не боимся, мы не ослабли и не падаем!

Но в эту же минуту тот же голос запел опять:

«Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое».

— Я узнаю его,— прошептал Корвин,— я узнал бы его между тысячами голосов... Это Панкратий! Я уверен, что именно он украл эдикт прошлой ночью! Вперед, вперед, друзья! Обещаю хорошую награду тому, кто возьмет его живого или мертвого.

— Стойте, что это? — сказал один из солдат,— слышите стук? Я уж давно прислушиваюсь, а теперь он стал громче.

И вдруг в этот момент свет впереди исчез и пение прекратилось.

— Что это значит? — воскликнули солдаты, находившиеся впереди.

— Просто мы открыты, должно быть, нас увидели!

— Не бойтесь! Тут нет ни малейшей опасности,— пробормотал Торкват, который сильно трусил и тяготился своею позорною ролью.— Это стук заступа и лопаты. Наверное, работает

их могильщик, Диогеи. Оин хоронят кого-ннбудь из своих.

Прнободрившись, солдаты стали опять продвнгаться вперед по узкому, инзкому коридору, но вдруг оказалось, что факелы мешают нм идти и что Торкват был прав, прося взять однн лампы. От спертого сырого воздуха подземелья факелы трещали и осыпали идущих искрами, между тем как густой, едкнй дым смолистого дерева, из которого они былн сделаны, стлался по низкому потолку, захватывая дыхание, ел глаза и затемнял свет огня. Торкват шел впереди, считая с иапряженным вниманием число боковых коридоров, которые запомнил, когда осматрнвал катакомбы с Панкратнем. Не сумев отыскать ин одной своей метки, ои начал терять присутствие духа. Можно вообразнть, каков был его испуг, когда совершенно иеожиданно ои дошел до конца коридора, оканчивавшегося песчаиою стеиою: выхода из иего не было.

Наши читатели догадались, что эта стеиа была сделаиа сыиовьямн Диогеиа. Оии иеусыпио стерегли катакомбы, заранее приготовив груды песка, и, как только увидели солдат, спускавшихся под землю, поспешно завалили узкнй коридор песком и камнями до самого потолка. Вот почему солдаты услышали вдруг стук заступов, молотков и лопат и увидели, что свет ламп мгновеиио исчез и пение затихло.

Невозможно опнсать нспуг Торквата: проклятия и ругательства солдат, ярость Корвина лишили его рассудка.

— Дайте мне осмотреться,— проговорил Торкват дрожащим голосом,— ведь я вел вас ие иаудачу. Я был здесь, я хорошо помню этн переходы. Я зиаю, что здесь есть замечательиая могила — еще иад иею поставлеио изображение и висит лампада. Подождите здесь, я войду в одии из боковых коридоров и иепременно найду ее. Около иее иадо повернуть направо.

Произнеся этн слова, Торкват поспешио вошел в первую поперечную галерею н вдруг исчез вместе с факелом иа глазах нзумленных солдат, следивших за ним. Они не могли понять, куда ои исчез. Торкват ие мог завернуть за угол, нбо коридор был прям, как струна, и в ием ие было с боков ии выступа, ин аркн, ни колоины. Исчезиовение Торквата походило иа волшебство, и солдаты былн поражены ужасом. Они стояли несколько мгновеннй иеподвижно, потом бросились иазад с криком:

— Мы ие хотим оставаться здесь!

Дым мешал им дышать и ослеплял нх; онн побежали по галерее к выходу и в прнпадке страха бросилн свои факелы в поперечиые корндоры: когда оин оборачнвались иазад, то зрелище, представлявшееся их испугаииым взорам, еще более увеличивало их ужас.

Галерен были освещены факелами: нз них, переливаясь и колеблясь, вытекало красное пламя, придававшее стенам багровый цвет, а тучам дыма, плывшим и клубившимся вслед за солдатами,— отливы всех цветов, то ярких, то темиых. Могилы, выложенные желтыми камнями с черепичиыми украшеииями, с иадписями н нзображениямн, с мрамориыми доскамн казались то золотыми, то серебряными и ярко выделялись иа темно-красном фоне песчаиых стен галерей.

Было что-то фантастическое в этом смешении дыма и огня факелов, пылавших, гаснувших и опять вспыхивавших!

Они не успели добежать до выхода, как их снова поразило неожиданное зрелище.

Перед ними в боковом коридоре тихо горел белый неподвижный свет, будто звездочка на небе. Сначала солдаты вообразили, что это дневной свет, проникавший сверху в катакомбы, но скоро увидели какую-то фигуру. То была высокая, стройная женщина, одетая в темное длинное платье; она стояла неподвижно и напоминала бронзовую статую. Руки и лицо ее отличались удивительной белизной. В одной руке она держала лампу, подняв ее высоко над головою.

— Что это? — послышались испуганные возгласы солдат.

— Колдунья,— бормотал один.

— Или дух здешних мест,— говорил другой.

— Конечно, какой-нибудь дух, и уж, верно, недобрый,— подтвердил третий.

Однако Корвину удалось посредством увещаний, обещания денег и наград уговорить их идти вперед. Они стали медленно продвигаться, держа оружие наготове. Фигура не шевелилась. Она стояла столь же неподвижно и безмолвно. Наконец, двое солдат бросились вперед и схватили ее за руки с мужеством отчаяния.

— Кто ты? — неистово закричал Корвин. Его голос одновременно выражал ужас и ярость.

— Христианка,— ответил тихий и мелодичный голос. То был голос Цецилии.

— Взять ее! — крикнул Корвин.

Цецилия, ранее исполнив поручение, возложенное на нее Себастьяном, отправилась к другому входу в катакомбы, находившемуся неподалеку от первого, зажгла лампу и стала у лестницы.

— Что ты делаешь, Цецилия? — сказал ей Панкратий, спешивший уйти с другими христианами.— Иди с нами, спасайся!

— Я назначена сторожем; мой долг стоять у дверей и светить тем, кто входит и выходит.

— Но они увидят тебя и схватят.

— Пусть так,— сказала спокойно и твердо Цецилия.— Я останусь здесь до тех пор, пока все выйдут.

— Потуши лампу, ты слепа, она не может помочь тебе.

— Да, но она поможет другим.

— А если это наши враги?

— Как угодно Богу,— ответила Цецилия,— но я не оставлю места, назначенного мне епископом!

Таким образом, она осталась одна, держа высоко над собою лампу. Шум приближающихся шагов не испугал ее: она не могла видеть, кто идет: все ли еще идут христиане или уже солдаты. Когда же солдаты Корвина вышли из катакомб, ведя с собою одну Цецилию, Фульвий вспыхнул от ярости. Он осыпал Корвина упреками и злыми насмешками, но вдруг, опомнившись, спросил, где Торкват. Когда ему рассказали, как тот у всех на глазах внезапно исчез, Фульвий решил, что он бежал через

какой-ннбудь тайный, ему одиому известный выход. Гиев его удесятерился, но он иадеялся, что Цецилия может дать ему точные сведения, и потому, не мешкая, приступил к допросу.

— Гляди на меия и говори правду,— сказал ои сурово.

— Я ие могу глядеть иа тебя; разве ты ие видишь, что я слепая?

— Слепая! — повторили солдаты н кучка иарода, собравшаяся вокруг. Толпа, увидев молодую, красивую и беспомощную в своей слепоте девушку, прониклась к ней сочувствнем. Сам Фульвий был озадачеи. Власти надеялись захватить множество христиан, и вдруг экспедиция оканчивалась поимкой одиой слепой. Все предприятие позорно провалилось.

— Идите в свой квартал,— сказал Фульвий солдатам,— а ты, Корвии, возьми мою лошадь, поезжай к своему отцу и предупреди его; я приеду туда же и прнвезу плеиницу в моей коляске.

— Не вздумай обмаиуть меня,— сказал Корвии, которому ие понравилось такое распоряжение.

— Не беспокойся,— иадмеино н презрительио ответил Фульвий.

Когда Фульвий отыскал коляску и сел в иее вместе с Цецилией, то счел нужным говорнть с ней ласково, решив, что таким образом узнает от иее все, что пожелает.

— Давио ли ты ослепла, бедная девушка? — спросил он.

— Я родилась слепой,— ответила Цецилия.

— Откуда ты? Расскажи мне историю своей жизии.

— У меня нет никакой нстории. Мои родные были люди бедные, мне мннуло четыре года, когда оии пришли со миою в Рим. А прншли они по обету поклоииться могиле мученицы Дарни н просить ее молитвамн у Бога исцелеиия. Вот они и отправились в катакомбы на могилу мученицы, а меия оставили дома с бедиой старой женщиной. Родиые мои ие вернулись. Оии вместе с другими были засыпаны живыми в катакомбах по повелению иашнх гоиителей и погиблн, отдав жизнь свою за Христа.

— Как же ты жила с тех пор?

— Как Бог велел; Бог — Отец мой, Церковь — моя мать. Бог питает маленьких птичек, а Церковь заботнтся о слабых н больных ее. Мие помогали, меия кормили, меня любили.

— Кто? — спросил Фульвий.

— Мон отцы, мои братья, мои сестры.

— Но ты говорила, что у тебя иет родных.

— Во Христе,— сказала Цецилия.

Фульвий не поиял ее и продолжал:

— Но я видел тебя прежде; ты ходишь везде одиа, будто зрячая.

— Да, это правда. Я узнаю ощупью все улицы. А если бы и ошиблась, добрые люди помогли бы мне.

— Ты признаешь, что ты христианка?

— Конечно, христианка; могу ли я ие призиаться?

— А в том доме, где я тебя встречал, помнишь, с больиым стариком, собирались тоже христиаие?

— Конечно, кто же, кроме христиаи, мог собираться там.

Фульвию только того и нужно было. Так Агния — христианка! Он давно уж подозревал это. Теперь она была в его руках. Или он женится на ней, или выдаст ее! Во всяком случае, часть ее имения перейдет в его руки.

Он промолчал, пристально поглядел в лицо слепой и был несколько смущен ее спокойствием.

— Ты знаешь, куда мы едем? — спросил он.

— Вероятно, к судье земному, который предаст меня Судье Небесному,— произнесла Цецилия с глубоким чувством, которое звучит в устах людей, твердо убежденных в своей правоте.

— И ты говоришь так спокойно? — спросил Фульвий с удивлением.

— Чего мне бояться? Я пойду к Отцу моему Небесному и умру с радостью за моего Господа.

Когда Цецилию привели к префекту Тертуллию, отцу Корвина, то он взглянул на нее почти с состраданием. Он полагал, что бедная слепая девочка не сможет долго сопротивляться, и небрежно приступил к допросу.

— Какое твое имя, дитя мое?

— Цецилия.

— Это благородное имя. Ты получила его от родителей?

— Нет, они не были патрициями и не принадлежали к благородным, но так как имели счастье умереть за Христа, то церковь почитает их блаженными. Я слепая. Меня звали Кека*, а уж из Кеки в знак ласки начали звать меня Цецилией.

— Ну, послушай, ты ведь откажешься от всех этих глупостей и от христиан, которые оставили тебя жить в бедности. Поклонись богам, принеси жертву перед алтарем, а мы дадим тебе денег, платье и врачей,— они попытаются возвратить тебе зрение.

Цецилия молчала.

— Что же ты молчишь, глупенькая? Не бойся, скажи: да, и все кончено. Не бойся, говорю я тебе.

— Я не боюсь никого, кроме Бога. Бога я боюсь. Бога я люблю! Да будет надо мной воля Его. Других богов я не знаю и не хочу знать.

— Молчи, не богохульствуй! Я тебе приказываю, слышишь ли ты? Немедля поклонись нашим богам.

— Я не могу кланяться тем, которых нет. Я христианка.

— Взять ее! — воскликнул префект.

Палачи подошли к Цецилии, подхватили ее под руки и повели в сарай, куда набилось множество народа, чтобы смотреть, как будут пытать пойманную христианку. Палачи привязали Цецилию к машине с колесами, которая ломала кости и вывертывала руки и ноги. Цецилия молчала, хотя страшная бледность покрыла ее лицо. При первом повороте колеса все тело ее вытянулось в струну, лицо исказилось от страдания. Мучения ее удесятерялись оттого, что она не могла ничего видеть, а только ощущала страшную, нестерпимую боль во всем теле.

*Caeca — слепая *(лат.)*.

— В последний раз говорю тебе: отрекись, поклонись богам!

Цецилия не отвечала ни слова префекту, но сперва громким, а потом все более и более слабеющим голосом начала молиться и, наконец, смолкла.

— Ну, что? Согласна теперь? — спросил префект с торжеством.

— Я христианка,— прошептала она чуть слышно.

— Продолжай! — крикнул префект палачу.

Еще поворот колеса, но ни слова, ни звука, только очередной раз хрустнули кости.

— Поклонись богам, принеси жертву! — сказал префект.

Молчание.

Он повторил слова свои еще громче.

То же молчание.

Палач заглянул в лицо Цецилии и невольно отшатнулся.

— Что такое? — спросил префект.

— Умерла! — сказал палач.

— Не может быть, не может быть! — вскрикнул префект.— Так скоро?

— Посмотри,— отвечал палач и повернул колесо в обратную сторону: тело Цецилии, безжизненное, неподвижное, с бледным лицом и бледными вывернутыми руками, висевшими, как плети, поразило всех присутствовавших. Вдруг из толпы раздался громкий гневный голос:

— Тиран бездушный! Изверг! Смотри на эту христианку, на это дитя, и пойми, что умирающие таким образом победят! С нами Бог и Его сила!

— А! Теперь ты не уйдешь от меня! — закричал Корвин, бросаясь в толпу с бешенством разъяренного зверя. Но неожиданно налетел на какого-то офицера громадного роста и ударился головою о его грудь. Удар был так силен, что Корвин зашатался, а офицер поспешил поддержать его и заботливо спросил:

— Не ушибся ли ты, Корвин?

— Нет, нет, нисколько, пусти меня.

— Постой, не торопись, право, ты сгоряча, быть может, не чувствуешь удара. Он был ужасен, не повредил ли ты себе руки или ноги? Позволь, я ощупаю тебя!

— Оставь меня,— закричал Корвин, порываясь вперед,— а то он убежит.

— Кто он? Куда убежит? — говорил великан, преграждая Корвину дорогу.

— Панкратий, разве ты не слыхал его голоса? Он оскорбил моего отца.

— Панкратий? — сказал Квадрат с притворным удивлением и посмотрел вокруг себя.— Но я его здесь не вижу, где же он? Тебе, верно, показалось!

Наконец, он выпустил Корвина. Корвин бросился на поиски Панкратия, но толпа уже мало-помалу редела. Панкратия нигде не было.

Префект приказал палачам бросить тело Цецилии в Тибр; но другой офицер, плотно закутанный в плащ, сделал знак палачу. Улучив благоприятную минуту, последний вышел за офи-

цером в глухой переулок и получил туго набитый кошелек.

— Вынеси тело за Капенские ворота, положи, когда стемнеет, у виллы Люцины,— сказал офицер.

— Будет сделано! — ответил палач. Офицер (это был Себастьян) быстро удалился и скоро исчез в одной из боковых улиц.

XXI

Префект города отправился во дворец доложить императору Максимиану о том, что случилось ночью и утром следующего дня, но Максимиана уже известили обо всем, и он был в ярости.

Не давая Тертуллию выговорить слова, он закричал:

— Где твой глупец сын?

— Он ждет твоего приказания явиться и горит желанием объяснить, как слепая судьба расстроила все его планы.

— Судьба! — воскликнул Максимиан.— Судьба! Скажи лучше — его тупоумие и трусость. Позвать его!

Корвин явился, чуть живой от страха; он знал жестокость Максимиана, действовавшего всегда под влиянием минутного настроения.

— Поди, поди сюда! — сказал Максимиан, увидев Корвина.— Поди и расскажи мне о своих подвигах. Каким образом исчез эдикт, а в подземельях захвачена только одна слепая девушка?

Корвин, заикаясь и путаясь, начал рассказывать длинную историю, в которой не жалел, конечно, христиан. Он утверждал, что одно колдовство их могло разрушить его хорошо обдуманный план, и в доказательство привел внезапное, необъяснимое исчезновение Торквата, происшедшее на глазах всего отряда. Максимиан внимательно слушал рассказ и порою смеялся, замечая трусость Корвина, который дрожал с головы до ног и, наконец, бросился к ногам Максимиана, умоляя его о пощаде. Император не отличался изяществом обращения и изысканностью речи; он без церемоний оттолкнул Корвина ногой и приказал ликторам вывести его вон.

Услышав эти слова, Корвин вообразил, что его ведут на казнь, и завопил:

— Пощади мою жизнь! Я открою важные тайны.

— Какие? Говори скорей, я ждать не люблю!

—Молодой человек, по имени Панкратий, сорвал и украл эдикт — я нашел его нож у столба.

— Зачем же ты тотчас не арестовал его и не отдал судьям?

— Я два раза пытался поймать его, и два раза он выскальзывал из моих рук.

— Так пусть же в третий раз он не ускользнет от тебя, иначе ты поплатишься своею жизнью. Откуда ты знаешь, что нож принадлежит ему?

— Я учился с ним в одной школе и часто видел этот нож у него. Кассиан, наш школьный учитель, тоже христианин.

— Христианин — школьный учитель! — воскликнул Максимиан.— Это уж слишком! Где он, этот Кассиан?

— Торкват, отрекшийся от христианства, должен знать это,— ответил Корвин, все продолжая дрожать от страха.— Кассиан жил долго со многими другими христианами в загородном доме бывшего префекта Хроматия.

— Как? И бывший префект тоже христианин и держит у себя притон этих разбойников? Везде измена, и скоро я не буду знать, к кому обратиться! Префект — христианин! Сию минуту послать солдат во все стороны и арестовать тотчас этих людей, где бы они ни нашли их, а с ними и Торквата.

— Да он отрекся,— сказал Тертуллий смело.

— Все равно! Стану я разбираться — кто отрекся, кто нет. Был с христианами, знал их,— и кончено!

— Но он пропал! Это тот самый, который колдовством...

— Колдовство! Вздор! Найти его! Найти непременно!

Затем Максимиан встал и, вспомнив, что наступил час ужина, поспешно вышел из залы.

Себастьян, бывший свидетелем всей этой сцены, также быстро вывел из залы отряд солдат гвардии и, отдав необходимые приказания, поспешил уйти из дворца.

Быть может, нашим читателям любопытно узнать, что стало с Торкватом? Когда, перепуганный, он побежал по боковой галерее, то вдруг оказался на забытой и полуобрушенной лестнице, которая вела во второй, нижний этаж катакомб. Под ним провалилось несколько ступенек, и он полетел вниз. Факел выпал у него из рук и потух. Удар был силен, и Торкват, вероятно, разбился бы, если бы не упал на песчаный пол галереи. Долго лежал он без памяти, наконец очнулся и приподнялся. Вокруг него была глубокая темнота. Он ощупью, почти машинально, побрел вперед, ничего не помня. Через несколько минут он, однако, очнулся, остановился, с отчаянием схватил себя за голову, силясь припомнить, где он, что с ним и как очутился он один в этой страшной темноте.

Постепенно память возвратилась к нему. Он вспомнил, что у него за поясом есть несколько восковых свечей, взятых про запас, так же как и огниво. Он поспешил зажечь одну из свечей и принялся оглядывать место. Бродя впотьмах, он отошел от лестницы, с которой свалился, и, не видя ее, не мог понять, где случилось с ним это страшное происшествие. Он решил искать выход и пошел вперед, поворачивая то направо, то налево. Перед ним и за ним по всему протяжению коридоров видны были лишь могилы да надписи. Торкват боялся взглянуть на них; совесть упрекала его в предательстве, и он спешил вперед, надеясь выйти из катакомб.

Можно себе вообразить чувства, постепенно овладевшие Торкватом. Сперва он надеялся, что найдет выход, наконец убедился, что надежда эта напрасна. Восковые свечи его догорали, силы иссякали от усталости, волнения и голода. Мучения его были велики, но нельзя выразить весь ужас, который объял Торквата, когда, проплутав несколько часов, он увидел, что возвратился к тому же месту, откуда вышел. Он озирался вокруг и видел все те же могилы, те же надписи. Тысячи могил, тысячи имен окружали его. И он умрет, как они умерли, и, верно, очень

скоро,— только какая ужасная смерть! Он предатель, изменник, отступник! Ему нет ни прощения, ни пощады. Последняя свеча Торквата догорала; с ужасом смотрел он на ее колеблющееся пламя. В порыве отчаяния он бросился на землю и неподвижно лежал, терзаемый страшными мыслями. Голова его горела, похолодевшие ноги и руки отказывались служить. Сколько он пролежал так, он и сам не мог бы сказать. Воткнутая между двумя камнями свеча догорала; пламя ее колебалось, вспыхивало и снова потухало. Торкват рассчитал, что свеча может гореть еще минуту, максимум две, но вдруг капля сырой влаги упала со свода на умиравшее уже пламя и мгновенно загасила его. Вокруг Торквата воцарился глубочайший мрак.

Что было ужаснее: мрак ли ночи или мрак его сердца? Угрызения совести точили его, как червь. Он не хотел думать о прошлом, но поневоле не только думал о нем, но с беспощадными, мельчайшими подробностями припоминал все обстоятельства, которые удваивали его преступление. Что сделали ему христиане? Ничего, кроме добра. Они не искали его, не обольщали, не сулили ни счастья, ни денег, ни блестящей карьеры. Напротив, ему говорили, к каким гонениям и к какой смерти должен он готовиться ежечасно. Как добры были они все к нему! С какой любовью священник Поликарп учил его; с какою заботливою нежностью помогал ему Хроматий и деньгами, и советами, и добрым словом; все христиане обращались с ним, как с братом. И их-то он предал! Им изменил! Продал их! Продал! И кому? Фульвию, Корвину,— жадному Фульвию и тупому, злобному Корвину. Он продал своих друзей, а себя не спас! Да если б и спас, смог ли бы он жить спокойно при мысли, что он стал причиною мученической смерти стольких хороших людей?.. Торкват опять бросился на землю, но на этот раз другие чувства овладели им, то было желание выйти из катакомб, выйти во что бы то ни стало, спастись и начать жить по-другому. Он лежал на земле, закрыв лицо руками, и вдруг зарыдал, как ребенок... раскаяние, страшное, жгучее раскаяние овладело им...

Долго лежал Торкват, обливаясь слезами. Вдруг далекое, чуть слышное пение привело его в себя. Он вздрогнул и приподнялся... прислушался... Пение звучало яснее... То была грустная мелодия, печальный напев, стройно раздавшийся во мраке могильной тишины. Целый хор пел вполголоса. Торкват различил вдали, в том направлении, откуда неслось пение, светлую точку, будто далекий свет. Наконец ему удалось расслышать слова похоронного пения: христиане молились об упокоении души усопшей и о вечном блаженстве, ожидающем праведников.

«Слова эти не для меня,— подумал Торкват, и снова горячие слезы ручьем потекли по его лицу.— Никогда я не буду достоин их! Я отверженный»,— сказал он и упал на колени.

А свет становился все ярче и вдруг озарил стены галереи. Вдали показалась процессия; впереди шли девушки в белых платьях с лампами в руках; за ними четыре человека несли кого-то, покрытого белым покрывалом. Парфений, молодой, только что посвященный дьякон, нес кадило, из которого клубами летели вверх облака прозрачного фимиама.За дьяконом шло

множество священников и, наконец, сам епископ, поддерживаемый двумя дьяконами. Диоген и его два сына, охваченные скорбью, тихо шли за епископом, а за ними густая толпа христиан разного возраста замыкала это торжественное шествие. Каждый из христиан держал в руках лампу или факел, так что лица были освещены и Торкват мог узнать многих, близко ему знакомых, и среди них Себастьяна.

— Это не для меня, не для меня,— сказал Торкват и повторил с глухой скорбью: — Изменник! Я проклят!..— Он упал на колени, склонил лицо, моля Бога отпустить ему его страшное прегрешение, его преступление... Наконец, собрав все силы, Торкват встал и, шатаясь, пошел по галерее к тому месту, откуда еще мерцал свет. Он увидел, что на полу, на камнях лежало тело молодой девушки, одетой в белое платье, с белым венком на голове. Хор продолжал петь молитвы. Епископ и священники окружили мертвую: кадила дымились и наполняли фимиамом своды небольшой часовни. Христиане стояли безмолвно; многие молились на коленях, другие горько плакали. Наконец, тело подняли и опустили в приготовленную для него под аркой могилу.

Торкват подошел к близ стоящему христианину и дрожащим от волнения голосом спросил: «Кого хоронят?»

— Не хороним, а полагаем,— ответил ему христианин,— блаженную Цецилию, которая нынче утром была схвачена в катакомбах солдатами и замучена на допросе.

— Я убил ее! — закричал Торкват таким страшным голосом, что толпа христиан в ужасе расступилась перед ним и невольно попятилась от него, как от зачумленного. Но он не заметил ни ужаса, ни волнения окружающих; он был подавлен собственными, терзавшими его чувствами. Шатаясь, как пьяный, Торкват пошел прямо к епископу и упал к его ногам.

— Я согрешил,— сказал он после долгого молчания,— я согрешил и недостоин лежать у ног твоих, недостоин называться твоим сыном.

Епископ поднял его и сказал:

— Кто бы ты ни был, приди в дом Отца нашего! Благослови имя Его, моли Его простить тебе твои прегрешения. Мы будем молиться с тобою и за тебя. Раскаяние есть путь ко спасению.

Услышав эти слова, христиане победили волновавшие их чувства негодования и отвращения. Они нашли в себе силу, во имя любви к ближнему, завещанной Спасителем, простить Торквата и подошли к нему, изъявляя участие и даже радость, что заблудшая овца возвратилась в стадо. Они окружили его; видя это, он почувствовал еще более сильные угрызения совести. Епископ поручил Торквата Диогену и его сыновьям, которые должны были укрыть его у себя от преследований Фульвия и Корвина. Он был записан между кающимися, и ему предстояло покаянием и молитвами искупить тяжкий грех, великое совершенное им зло.

Себастьян присутствовал при погребении Цецилии не только потому, что желал отдать ей последний долг, но и потому еще, что ему надлежало предупредить епископа Маркелла о грозившей опасности. Жизнь епископа была дорога христианской об-

щине, и лишиться его в эту минуту гонений было бы страшнейшим бедствием. Торкват подробно рассказал, что привел Фульвия в церковь во время обедни, что в результате Фульвий запомнил Маркелла и, разумеется, задержит его тотчас, где бы ни встретил. Необходимо было укрыть епископа, и Себастьян предложил смелое, ио почти верное средство спасти его. Ои советовал ему поселиться у одиой христианки, жившей непосредственно во дворце цезарей. Было совершенно ясно, никто ие подумает искать христианского епископа под кровлей злейшего их гонителя, цезаря-язычника. Там жила Ирина, знатная римская матроиа, муж которой занимал иекогда важное место при дворе. Презирая все опасности, она с радостью предлагала епископу свои комнаты. Маркелл в тот же день поселился у Ирины. На другой день рано утром Себастьян пошел к Панкратию.

— Друг мой,— сказал Себастьян,— тебе следует оставить Рим сию же минуту н ехать в Кампанью. Лошади уже готовы. Торкват поедет с тобою. Собирайся скорее; нельзя терять ни минуты.

— Зачем это? — недовольно сказал Панкратий.— Что я — трус или неиадежный человек?

— Какие странные мысли! — сказал Себастьян.— Теперь ие время рассуждать, надо повиноваться.

— Я не отказываюсь повиноваться, сохрани Боже! Но чем я заслужил позор, которым меня покрывают? В эту минуту опасности гонений, смерти меня выпроваживают из города, как недостойного разделить бедствие, которым подвергаются наши братья!

— Ты несправедлив, н я вижу, что должеи сказать тебе, в чем дело,— ответил ему Себастьян.— Мы знаем, что Корвин немедленно отправится в Кампанью для задержания Хроматия н всей живущей там христианской общины. Это новообращенные; мы боимся за них; они, как Торкват, могут впасть в обольщение. Надо предупредить и спасти их, если возможно. Кроме того, Корвину приказано арестовать Кассиана; надо предупредить и спасти его. Ты видишь, что тебя не удаляют, как ненадежного, а возлагают на тебя важное дело, поручают тебе исполнение священного долга — спасать своих.

Лицо Панкратия прояснилось; ои гордился доверием Себастьяна н христиаиской общины.

— Твои приказания,— сказал ои,— для меня священны, но я призиаюсь, что исполню их тем охотнее, что речь идет о Кассиане. Я бы побежал на край света, чтобы спасти его. Он мой бывший учитель, и я люблю его всей душой!

Панкратий тотчас собрался и отправился к матери. Она никогда не мешала ему исполнять все возлагаемые иа него поручения, как бы опасны они ни были, хотя разлука с ним и страшная смерть, постоянно грозившие ему, наполняли сердце ее ужасом. В молитве искала она утешения н опоры. Увидев Панкратия в дорожном платье, она побледнела, но, силясь скрыть свою тревогу, спросила тихим, почти спокойным голосом:

— Куда это ты опять едешь?

Панкратий рассказал ей, куда и зачем отправляется, и прибавил:

— Благослови меня!

— Мое благословение всегда с тобою,— ответила мать, обнимая его.— Помни, что ты не должен жалеть себя, исполняя возложенное на тебя поручение, но помни также, что излишняя отвага может подвергнуть тебя страшной смерти, а ты у меня один!

Панкратий опустился пред ней на колени, Люцина благословила его: в лице ее светилась нежность к единственному сыну счастливого брака. В лице, в характере, в чувствах Панкратия она всякий раз видела сходство с мучenически умершим отцом его. Она радовалась за сына, но и страшилась за него.

Когда Панкратий, взволнованный прощанием с любимой матерью, удерживая слезы, готовые навернуться на глаза, вышел из комнаты, Люцина проводила его до дверей. Он исчез за опущенными занавесками, а она все еще смотрела на то место, где он стоял минуту назад, будто его образ не хотел оставить ее. Потом она медленно отвела глаза от занавески, вздохнула, перекрестилась, пошла в свою молельню.

XXII

Корвин отправился из Рима со свитою всадников. Приготовления к отъезду заняли определенное время, и таким образом Панкратию удалось опередить его. Он приехал на «Виллу статуй» и нашел всех христиан в великом волнении. До них дошли новости об эдикте и готовящихся гонениях и казнях. Можно себе представить, с каким радушием и восторгом был принят Панкратий! Письмо Себастьяна было прочитано вслух, после чего все христиане молились, прося Бога вразумить их и в случае смерти дать им силу и мужество умереть бестрепетно. Затем все они поспешили разъехаться в разные стороны. Многие отправились в Рим, другие в провинции. Хроматий скрылся на вилле Фабиолы, «Вилла статуй» опустела. Остались только два-три слуги, на честность которых полагались и которые должны были запереть ее и остаться в ней как привратники. Оттуда Панкратий поспешил к своему бывшему учителю Кассиану; старик принял его с радостью. Когда Панкратий рассказал ему, зачем приехал, и просил его немедленно скрыться, то Кассиан, слушавший его спокойно, сказал с непоколебимой решимостью:

— Да будет надо мною воля Божия! Я стар и утомлен безрадостною жизнью. Я был свидетелем стольких беззаконий, жестокостей, бессовестной лжи, закоренелой, тупой ненависти к моим братьям; я вижу такой всеобщий разврат, что душа моя преисполнена невыразимой горести. С жаром взялся я за преподавание, но и тут потерпел поражение, еще более жестокое, чем остальные неудачи. Среди моих учеников нет ни одного христианина; те из них, которые были расположены ко мне, отстраняются от меня; многие относятся ко мне с презрением и ненавистью. Прошел слух, что я христианин. Я убежден, что всякий из здешних жителей, закоснелых в предубеждении против нас,

охотно убил бы меня, если бы мог совершить это безнаказанно. Тяжело жить одному, еще тяжелее выносить общую неиавнсть, когда сознаешь свою правоту. Эта безумная н развратная толпа обливает нас грязью, в однн голос повторяет самую возмутительную н нелепую клевету со слов какого-ннбудь крикуна, который сам не верит тому, что болтает. Жизнь мне в тягость, говорю я тебе. Как христианин, я покорялся н выносил все. Теперь наступают гонения. Я не буду скрываться. Может быть, смерть моя обратит на путь истины хотя бы одного из этих несчастных, погрязших во лжи и пороке. Да будет надо мною воля Божия!

Напрасно уговаривал Панкратий старика, напрасно умолял его, он остался при своем намеренин, непреклонный и спокойный.

Недолго ждал он решения своей участи. На другой же день, рано утром, дверн его дома были выломаны по приказанию прибывшего Корвина, но Кассиана уже там не было: он, по обыкновению, учил детей в школе. Корвнн отправился туда, вошел и приказал немедленно запереть за собою двери, как будто боялся, что в них проскользнет Кассиан. Когда двери были заперты на ключ, Корвин подошел к Касснану и начал осыпать его ругательствами. То он утверждал, что Кассиан государственный преступник и заговорщик, то уверял, что он подлый трус и известный всему миру интриган и льстец. Дети и юноши, находившиеся в школе, жадно слушали обвинения, возводимые на учителя; давно уже благодаря слову «христианин» они возненавидели его. Роднтели-язычники рассказывали им ужасы о христианах, которым приписывались все несчастья в городе, в области или в семействе. В результате одно иазвание «христианин» возбуждало в них слепую ненависть и жажду мести. Слушая клевету Корвина, ученики озлоблялись и все более горели желанием выместить на несчастном старике свою вражду к его вере.

Касснана замучили до смерти. Мы не будем рассказывать, как умер старик, как дошли его мучители до последних пределов зверства. Он не сказал нн слова своим мучителям и с твердостью сносил жестокие побон. Мучители утомились прежде мучимого. Не произнося ни слова укора, нн жалобы, Кассиан упал, покрытый ранами и истекая кровью. Корвин, насытив свою злобу, вышел из школы, а за ним выбежали несчастные молодые людн, которых он подбил совершить это преступление.

Кассиан лежал без движения средн потоков собствеиной кровн. Прибежавший слуга, заливаясь слезами, поднял его и прннес домой. Предупрежденный обо всем, пришел Панкратий. Бесконечиая скорбь, смешанная с благоговением, объяла его; он мог только плакать прн виде истерзаиного, покрытого ранами старнка. Кассиан, прндя в себя, не пронзнес ни единой жалобы, не нспустил нн единого стона. Увидев Панкратня, он через силу улыбнулся, слабо пожал ему руку, но не имел силы сказать ни слова. К утру он отдал Богу чистую свою душу. Панкратий похоронил его н с сердцем, полным скорбн, отправился в обратный путь.

Корвнн, удовлетворив свою месть — он с детства ненавидел

Кассиана,— поспешил из города на «Виллу статуй», приехал туда утром и немедленно вбежал в дом, надеясь арестовать всех христиан разом. Дом оказался пустым. Напрасно Корвин лазил по чердакам и погребам, ломал замки шкафов, поднимал полы, заглядывал во все чуланы,— он не нашел ни человека, ни книги, ни бумаг, ровно ничего, кроме двух слуг, которых строго принялся допрашивать. На вопрос: «Где хозяин?» — слуга ответил, что он уехал, не сказав куда.

— По какой дороге? — спросил Корвин.

— Он вышел в эту дверь,— ответил слуга.— Я был занят работой в саду и не видел, куда он поехал.

— Но в котором часу? Это ты по крайней мере должен знать.

— Как только приехали двое из Рима.

— Какие двое?

— А кто их знает,— сказал слуга.— Один молодой, другой толстый, большой, сильный, вот и все,— я ничего больше не знаю.

— А я знаю! — воскликнул Корвин с яростью.— Я знаю! Их двое! Это те же самые! Этот проклятый мальчишка постоянно, везде становится на моем пути! Дорого заплатит он мне, когда попадется...

Отдохнув немного, Корвин должен был возвратиться в Рим. Дороги, размытые дождями, были почти непроходимы. Лошади тащились медленно. Корвин раздражался от всякой мелочи. Он с досады схватил бич и стал колотить лошадей, которые помчались во весь дух. В эту минуту позади них раздался топот всадников. Лошади испугались, бросились в сторону, колесница зацепилась за дерево, опрокинулась, и Корвин упал в ров, по берегу которого пролегала дорога. Всадники промчались мимо, не обращая внимания ни на него, ни на его полумертвого, разбившегося при падении возницу. Панкратий несся верхом за всадниками, когда при свете луны увидел Корвина, который, напрягая последние силы, пытался выбраться из глубокого рва. Берега его были круты, скользки, и при всякой попытке вылезти он обрывался и падал опять в воду. Члены его начинали костенеть от холода, силы ослабевали. Панкратий не колебался ни минуты. Он спрыгнул с лошади и протянул руку погибавшему.

— Стоит ли! — пробормотал раздосадованный центурион, ехавший за Панкратием.— Собаке собачья смерть.

— Молчи, Квадрат! Как у тебя хватило духу сказать такие слова! — ответил ему сердито Панкратий, вытаскивая Корвина.

Вытащив Корвина из воды, Панкратий оставил его и, не произнеся ни слова, поехал крупной рысью, чтобы догнать своих спутников. Он отплатил своему врагу по-христиански.

XXIII

Еще до обнародования императорского эдикта христиане составляли значительную часть людей, собранных отовсюду для постройки терм Диоклетиана. То были пленные и преступники, приведенные в Рим. Каждый день к ним присоединялись новые партии христиан, которых задерживали во всех концах обшир-

ной империи. Их гнали, как стадо, из далеких стран Херсонеса, из Сардин, из портов и провинций и заставляли делать тяжелую работу: таскать громадные камни, глыбы мрамора, воздвигать стены зданий и месить известь. Большая часть этих людей была непривычна к такому труду. После целого дня непрерывной работы их запирали в сараях, давали им скудную пищу, которая едва могла утолить их голод. Ноги их были скованы. Надзиратели обращались с ними жестоко; всегда с бичом в руках, они безжалостно били обессиленных. Римские христиане, зная положение своих единоверцев, посещали их, приносили им пищу и то, что более всего облегчает участь несчастных — доброе слово. Молодые римские христиане отличались особым бесстрашием, они пробирались к пленным, беседовали с ними и делились с ними всем, что у них было. Когда императоры для увеселения народа назначали представления и игры в цирках, то в жертву зверям отдавали преимущественно христиан. Народ требовал зрелищ и игр; раздавался страшный крик, не раз оглашавший римские улицы: «Христиан зверям!»

В конце декабря Корвин явился в термы Диоклетиана в сопровождении Катулла, которому поручено было выбрать годных для цирка христиан.

Корвин отыскал главного надзирателя над работами и сказал ему:

— Нам надо христиан для готовящихся празднеств. Им будет предоставлена честь сражаться со зверями на потеху народа.

— Очень сожалею,— ответил надзиратель,— что не могу исполнить твоего желания, но у меня работа срочная, и мне нельзя уступить тебе ни одного из моих рабочих.

— Ты можешь очень скоро достать других, а сейчас нам эти люди необходимы. Веди нас на работы, мы выберем сами.

Надзиратель неохотно повел двух поставщиков людей для диких зверей в длинную залу, своды которой были только что окончены. Преддверием к ней служила большая, полукруглая комната, освещенная сверху, как Пантеон. Эта зала вела в другую, еще более обширную, имевшую форму креста, окруженную со всех сторон небольшими, но красивыми комнатами. В каждом углу ее предполагалось поставить огромные столбы из цельного гранита. Два из них были уже готовы, третий ставился. Множество работников тащили громадные камни и складывали их вокруг столбов. Катулл указал Корвину на двух молодых людей, отличавшихся силой и красотой.

— Я беру вот этих,— сказал Корвин, показывая на них,— я убежден, что они христиане.

— А я именно без них не могу обойтись,— ответил надзиратель,— они заменяют мне шесть рабочих и по силе равны доброй лошади. Подожди немного; лишь только самая трудная работа будет окончена, я с удовольствием пришлю их тебе.

— Я запишу их имена для памяти. Как их зовут?

— Ларвий и Смарагд; оба они благородной фамилии, были схвачены и теперь работают, как плебеи, старательно и добросовестно. Я убежден, что они без принуждения согласятся идти на бой со зверями.

— Да, все это хорошо для будущего, но теперь?..— сказал Корвин, продолжая обходить работающих. Всякий раз, как кто-нибудь из них казался ему пригодным, надзиратель вступал в спор, силился отстоять своих людей и решительно не уступал ни одного из небольшой кучки людей, впереди которых стоял почтенной наружности старик. Длинная седая борода спускалась ему почти до пояса; ясное, спокойное лицо дышало кротостью, умом и любовью. На вид ему было более 80 лет; звали его Сатурнином. Тяжелые цепи сковывали его ноги; рядом с ним стояли два молодых человека, которые взялись носить и поднимать его цепи, когда он переходил с одного места на другое, так как сам он не имел силы таскать их за собою. Около старика лежали многие христиане, утомленные трудной работой; другие сидели, слушая его тихую речь. Он утешал их, говорил им о торжестве веры в будущем, об иной жизни, о прощении обид, о любви к Богу и ближним.

— Возьми старика, если хочешь,— сказал надзиратель Корвину.— Он мне не нужен. Он уже не в силах заработать кусок хлеба.

— Благодарю,— сказал Корвин злобно,— народ не любит стариков, один удар лапы тигра или медведя убьет его наповал. Народ любит молодых людей, борьбу силы и молодости со зверями и смертью! Но кто это? На нем нет одежды узника? Я не вижу лица его, он стоит ко мне спиной. Гляди, этот и молод, и силен. Кто он?

— Не знаю, он приходит сюда каждый день, приносит пищу, одежду, часто помогает узникам работать и утешает их добрым словом. Так как он за вход платит нам хорошие деньги, то мы пускаем его охотно и не спрашиваем его имени. Кто платит, тот вправе молчать, не правда ли? — прибавил надзиратель смеясь.— И он молчит, и мы молчим и не спрашиваем.

— Ты не я,— сказал Корвин и быстро подошел к юноше, который при звуке этого голоса, слишком для него знакомого, с живостью обернулся.

Корвин побледнел... но это длилось секунду. Как бешеный зверь, томимый голодом, бросается на добычу, так бросился он на молодого человека и схватил его за обе руки.

— Ко мне! сюда! — закричал он, задыхаясь от злобной радости.— Вяжите его! Вяжите! А, теперь ты от меня не уйдешь!

Этим молодым человеком был Панкратий.

•

Городская тюрьма представляла собой страшную яму под землей, без воздуха, света и тепла, наполненную нечистотами. Туда отправили Панкратия, как и других, взятых и арестованных в тот день.

Схваченных приковали к длинной цепи и гнали через весь город в городскую тюрьму. По пути прохожие и толпы черни осыпали их ругательствами, кидали в них грязью и камнями.

Панкратию удалось, пока его заковывали в цепи, шепнуть одному из христиан, чтобы тот постарался предупредить его мать и Себастьяна обо всем, что с ним случилось. Панкратий мог и не просить об этом. Христиане считали священным долгом

помогать один другому и постигшее кого-либо из них несчастье считали общим. Всякий старался облегчить участь схваченного, уведомить его родных, друзей, покровителей. Лишь только стража увела Панкратия, как христиане тотчас нашли одного из присутствовавших, который за хорошую плату согласился идти в дом матери Панкратия и объявить ей о несчастье, постигшем ее сына.

Мамертинская тюрьма состояла из двух подземелий, находившихся одно под другим. Верхнее освещалось только небольшим окном. Других отверстий не было. Когда верхняя тюрьма была полна заключенных, то можно себе представить, сколько воздуха и света проникало в нижнюю часть. Стены были толстые, с огромными железными кольцами. К этим кольцам, которые целы и поныне и которые можно видеть в Риме, приковывали узников. Они должны были спать на сырой, холодной, зловонной от нечистот земле; им почти не давали пищи. Воздух был так смраден, что многие не выносили заключения и умирали прежде, чем их призывали на суд. Другие доживали до допросов, переживали страшные пытки, которым их подвергали, и отдавали душу на арене цирка, растерзанные зверями. Несмотря на весь ужас своего заключения, Панкратий не унывал. Мысль о матери смущала его, но он надеялся на Бога. Недолго томился Панкратий в тюрьме; его привели на суд. Тут были старики, женщины, девушки, молодые люди. Их вызывали одного за другим и почти всем задавали одинаковые вопросы.

— Кто такой христианский Бог? — спросил судья у старого Потина, епископа Лионского, находившегося в тюрьме вместе с Панкратием.

— Когда ты будешь достоин этого, тогда узнаешь,— спокойно ответил епископ.

Случалось, что судья начинал убеждать, пытался доказать, как заблуждаются христиане; они не спорили и кратко отвечали на вопросы. Часто судья, выбившись из сил, потеряв терпение, приказывал мучить подсудимых; чаще случалось, что, желая кончить допрос, он спрашивал: «Ты христианин?», и, получив утвердительный ответ, произносил смертный приговор.

Наконец, префект обратился к Панкратию.

— Слушай,— сказал он,— нам всем известно, мы знаем, что ты сорвал эдикт божественного императора, ездил на виллу к Хроматию, замешан во все козни и интриги твоих единоверцев, но ты молод, почти мальчик; мы будем милостивы и простим тебя, если ты отступишься и принесешь жертву богам империи. Ты единственный сын у матери... Подумай о ней! Пощади себя! Тебя ждет жестокая участь!

Панкратий молчал. Лицо его слегка побледнело, но не изменилось: напротив, оно приняло отпечаток особенной ясности, будто просияло от великого внутреннего чувства. Он решительно сделал один шаг вперед, медленно и твердо перекрестился.

— Я христианин,— сказал он,— и поклоняюсь одному Господу Богу моему, Его Сыну и Святому Духу. Их люблю я, Их непрестанно призываю. Боги империи, ваши боги, обречены на забвение!

— Палачам его! — закричал префект.

Заседание закончилось приговором, согласно которому Люциан, Панкратий, Юстин и многие другие, так же как женщины Секунда и Руфина, должны были за неповиновение закону, за отказ принести жертву и поклоняться богам империи, за принадлежность к секте христиан быть отданы зверям на растерзание.

Толпа встретила объявление о приговоре рукоплесканиями: дикими криками она проводила несчастных узников до дверей тюрьмы; но когда дверь эта захлопнулсь за ними, то многие невольно задумались. Спокойные, ясные лица осужденных христиан произвели на многих глубокое впечатление. Толпа медленно расходилась по широким улицам великого города, радуясь предстоящим праздникам и зрелищам. Она была далека от мысли, что эти улицы, эти здания, эти памятники искусства, эта великая Римская империя обречены погибнуть под напором варваров; что римской крови суждено будет литься там, где лилась до сих пор только кровь христиан.

XXIV

Накануне дня, назначенного для празднества и представления в Колизее, то есть накануне гибели осужденных христиан, тюрьма, где они томились, представляла собой удивительное зрелище.

Христиане не только не предавались малодушному страху или отчаянию, но своим поведением являли мужество и ясность духа. Они собирались группами, разговаривали и часто хором пели псалмы. Сами палачи их смягчались и предоставляли им некоторую свободу. Вечером, накануне казни, вошло в обычай подавать им ужин, называемый свободным. Блюда были изысканны и обильны. Публика и друзья осужденных допускались в тюрьмы. Язычники с любопытством приходили смотреть на этих людей, которые завтра утром выйдут на бой со зверями. Какой же бой возможен между диким зверем и безоружными людьми, между старцем, юношей, женщиной — с одной стороны, и львами, тиграми и пантерами — с другой!

Когда подали ужин и приговоренные христиане сели за стол спокойные, но задумчивые и серьезные, то присутствующие, не стесняясь, принялись делать свои замечания. Одни из них шутили и смеялись, другие указывали пальцем на самых молодых из христиан, дивились их спокойствию, жалели их молодость. Но таких было немного. Большинство публики смотрело неприязненно и громко высказывало вражду и презрение. «Что их жалеть,— говорили многие,— они христиане! Их надо истреблять — все они негодяи и лицемеры. Известно, что нет таких лжецов, таких трусов, как они! Вот мы посмотрим, как-то они перетрусят завтра. Теперь они только хвастают своим бесстрашием».

Панкратий, надеявшийся в последний раз спокойно поужинать и побеседовать с друзьями, услышав эти речи, почувствовал досаду и, обратясь к окружавшей стол публике, сказал громко:

— Неужели вам мало завтрашнего праздника? Неужели завтра вы не успеете насмотреться на нас, когда мы будем умирать, отданные вам на потеху? Глядите! Глядите! Запомните наши черты: на суде, где будут судиться все люди Судьей Праведным, вы с нами свидитесь, вы нас узнаете!

Публика, не ожидавшая таких слов от презренного христианина, отступила и скоро покинула тюрьму. Тогда с осужденными остались только близкие.

Между ними был и Себастьян, пробравшийся в тюрьму, когда публика начинала выходить из нее. Печальный, он подошел к Панкратию. Себастьян любил этого юношу, возлагал на него большие надежды в будущем... И вот ему приходилось быть свидетелем его преждевременной, жестокой кончины.

— Моя мать! Видел ты ее? — спросил Панкратий, и голос его задрожал и прервался. Казалось, его спокойствие и твердость исчезли. Он хотел прибавить что-то, но не мог и захлебнулся слезами. Они текли, блестящие, крупные, по его прекрасному лицу, но глаза его, поднятые вверх, становились все яснее и светлее. В продолжение нескольких минут Себастьян не мог отвечать; Панкратий не ждал ответа. Глаза его были подняты, руки сжаты, бледные губы шептали молитву... Постепенно лицо его прояснилось и приняло выражение не страдания, а какого-то просветления; судорожно сжатые руки опустились, слезы перестали бежать по белым, как снег, щекам; и когда он обратился к Себастьяну, то лицо его было спокойно, голос уже не дрожал.

— Милая моя мать! Скажи ей, что я умираю с радостью за торжество моей веры; скажи ей, что я надеюсь свидеться там с моим умершим отцом. Я знаю, я чувствую, что торжество веры куплено пролитою невинною кровью. Скажи ей, чтоб она не сокрушалась,— все мы встретимся у Отца нашего Небесного.

— Я не видел твоей матери,— сказал Себастьян,— хотя был у нее два раза. Слуги говорят, что она не выходит из своей молельни и никого не хочет видеть. Я хотел ей предложить прийти.

— Сюда? — сказал Панкратий.— Нет! Нет! Я боюсь свидания с ней накануне смерти, хотя желал бы получить благословение... Она бы не могла перенести последнего...

Панкратий опять умолк, или слезы заглушали его голос. Однако он преодолел себя и произнес уже тверже:

— Не будем говорить о ней. Повтори ей только мои последние слова, когда меня уже не будет... Пусть она знает, что я умер счастливым, с верой, умер за правду. Помнишь ли, Себастьян, тот вечер, когда мы стояли с тобой ночью у раскрытого окна, и вдруг раздалось рыканье льва и вой гиены? В сердце моем что-то встрепенулось, будто оно предсказывало мне, что я погибну за веру, что мне суждена эта великая честь, эта славная смерть!..

— Воистину славная! — произнес Себастьян тихо.

— Что ты сказал? — спросил Панкратий, не расслышав его слов.

— Я думаю о бесконечной разнице, разделяющей верующих от неверующих. Человек, живущий мыслью, и человек, живущий одною плотью,— какие это два разных существа! Я нахо-

жусь в обществе людей, видящих свое счастье в наслаждении богатством и в достижеиии почестей. Они боятся смерти. Как содрогаются они при виде больиого, при виде похорои, даже при известии, что в городе есть случаи заразной болезни. Страх этот томит их ежечасио. Жизнь их проходит в суетном нскании призрачиого счастья или животных иаслаждеиий. И сейчас я вижу тебя... Ты, осуждеиный иа страшную смерть, ие пал духом. Ты бодр и силен, ты идешь иа смерть с великим убеждением, что умираешь за правду... за веру... Ты счастлив... Я прошу Бога дать мне умереть так же и за то же. Ты для меия святой пример самопожертвования, готовиости идтн даже иа смерть ради нашей веры.

Себастьян и Панкратий были взволнованны до глубнны души; они обнялись и долго молча так стояли.

— Завтра ты не оставишь меня, когда я пойду на смерть, и отиесешь матери мое последиее слово, мой последний подарок,— сказал наконец Панкратий.

— Буду, сделаю,— сказал Себастьяи твердо.

В эту минуту вошел дьякои и объявил, что в тюрьму удалось проникнуть священнику и хрнстианам предлагается исповедаться н прннять причастие. Паикратий тотчас оставил Себастьяна и пошел за дьякоиом в отдаленный угол тюрьмы, где вокруг священника уже толпились христиаие. Тут были люди всех возрастов и полов. Женщнны отличались особой выдержкой и мужественно готовились к смерти.

XXV

Народ спешил к Колизею; все населеиие Рима и его окрестностей стремилось упиться кровью тех, кого считало злейшими врагами, и насладиться их предсмертными мучеииями. Сто тысяч зрителей покрывали сплошною массой громадный цирк. Римляне поднимались по лестницам и садились иа мраморные ступенн амфнтеатра. Разряжеиные женщииы спешили занять свои места. Между тем преторииацы приблизились уже к дверям тюрьмы. По приказанию префекта первым должеи был явиться молодой христиании Ластений; однн из солдат вошел в тюрьму и назвал его по имени:

— Я здесь,— ответил ои.

— Иди! — сказал солдат.

Он был одет в белую, как снег, одежду. В толпе говорили, что Ластений только что жеиился и что его изящиая туиика была вышита руками матери ко дню свадьбы. Толпа была нзумлеиа его красотой и одухотворениым выражением лица.

Оставшийся сзади в тюрьме хор хрнстиан запел стройно, ио тихо, вполголоса:

«Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Царя небесиого, исповедуем, Тебя вся земля величает!»

Ему прнвязали на грудь надпись: «Ластеннй — христиании». Ои шел медленно от Капитолия к амфитеатру. У храма Юпитера, близ арки Тита, толпа встретила его крнками негодования и злобы.



— На колени! — кричала она,— поклонись Юпитеру! Поклонись нашим богам!

Ластений стоял неподвижно.

— Поклонись нашим богам! — неистово вопила толпа.

— О Рим,— сказал Ластений, и голос его звенел,— о Рим! Я вижу тебя у ног Иисуса, и князь твой узрит знамение креста и ему поклонится! Храмы идолов замкнутся и не отворятся вовеки!

— Он богохульствует! Он накликает несчастье! — кричали в толпе. Разъяренные римляне уже были готовы растерзать его. Ластений стоял неподвижно. Преторианцы, видя, что народ озлоблен и может вырвать из их рук осужденного, поспешно окружили его и, обороняя от толпы, повели его к цирку. Перед Ластением настежь растворились двери, и он вошел туда твердо, бестрепетно, полный величия и достоинства. Императора не было в амфитеатре; его еще ожидали, и потому Ластению позволили сесть на песок арены. Силы его были истощены от долгого заключения, плохой пищи, болезни и мучительных допросов. Молодой человек закутался в свою мантию и склонил голову. Он, казалось, не видел никого и ничего, тогда как вся несметная толпа не спускала с него жадных взоров.

А между тем по улицам, расталкивая толпу, бежала молодая женщина; скоро добежала она до длинного отряда преторианцев, шедших к амфитеатру. Ее опережали колесницы, мимо нее неслись всадники; шли невольники, несшие на носилках разряженных женщин; но она ничего не видела, ничего не боялась и бежала вперед.

— Христиан — зверям! — поднялся вдруг оглушающий крик толпы. Она остановилась.

— Я здесь! — закричала она изо всех сил,— я здесь, я христианка! Возьмите меня, ведите в цирк!

— Беглая христианка! — закричала толпа.— Остановить ее!

— Да, я христианка, но не беглая, ведите меня в театр! Ведите, ведите, прошу вас!

— Но разве ее осудили? — спросил кто-то из толпы.

— Осудили, осудили! — повторяла она с поспешностью.

Толпа повела ее, но гладиатор, стоявший у входа в цирк, отказался ее пропустить и сказал, что эта женщина ему неизвестна, что имени ее нет в списке осужденных. В эту минуту отворилась другая дверь: молодая женщина ринулась в нее и со всех ног бросилась в объятия Ластения. То была его молодая жена.

Сто тысяч зрителей поднялись в амфитеатре, и ропот пробежал по зданию.

— Жена, жена его! — слышалось с разных сторон.

— Христианка! Пусть умирает! — кричали другие.

— Она молода! Хороша собой! Бедная!...— говорили немногие вполголоса.

— Христианка! Пусть умирает! Пусть с корнем уничтожится это проклятое племя!

Кто опишет ужас, нежность, любовь и скорбь Ластения при виде жены? Он встал, крепко обнял ее и прошептал:

— Милая! Зачем ты пришла? Зачем должен я увидеть тебя здесь? Как я могу быть свидетелем твоей смерти? О Боже! Какое страшное испытание Ты послал мне!

— Друг мой,— сказала она тихо, силясь успокоиться и в самом деле постепенно успокаиваясь.— Я жена твоя, я пришла умереть с тобою за моего Бога, умрем вместе!

Ластений молча заключил жену в свои объятия, оба упали на колени и подняли глаза к небу.

На арене появился гладиатор и, обратясь к народу, громко сказал:

— Великий и свободный римский народ! Эта христианка самовольно вбежала в цирк. Ее нет в списке приговоренных к смерти. Я получил приказание предать зверям одного Ластения. Он должен умереть один.

Из толпы раздались голоса:

— Боги хотят ее смерти, она вошла, пусть умирает!

— Она вошла — пусть умирает! — заревела в один голос несметная толпа.

Гладиатор склонился и вышел.

В эту минуту раздалось бряцание оружия, спустился подъемный мост, который соединял амфитеатр с дворцом цезарей. Появился Максимиан в великолепной одежде с блестящей свитой. Все встали, приветствуя его. Когда приветствия стихли, толпа, давно жаждавшая зрелища, закричала:

— Зверей! Зверей! Христиан — зверям!

Раздался звук трубы. Невольники пробежали через амфитеатр к решетке, за которой неистово метался тигр, известный своей свирепостью.

Звук трубы раздался вторично. Заскрипела решетка на тяжелых петлях; отворивший ее гладиатор поспешил скрыться, невольная дрожь пробежала по рядам зрителей.

Ластений поспешно снял с себя мантию и накинул ее на жену, которая прильнула к нему и, казалось, без чувств висела на его шее, обвив ее судорожно своими белыми, окостеневшими руками... В два огромных прыжка тигр очутился возле них... Он взвился на дыбы и вонзил когти в плечи Ластения... Жена его невольно подняла глаза и увидела страшную пасть зверя у своего лица... Она слабо вскрикнула...

Через минуту невольники вытащили два мертвых тела при громких рукоплесканиях толпы, посыпали арену свежим песком, напоили воздух ароматами...

Зрелище продолжалось.

Наконец, очередь дошла до Панкратия. Он вышел, глаза его искали Себастьяна, и Панкратий увидел его в коридоре. Рядом с Себастьяном, опираясь на его сильную руку, стояла закутанная в покрывало женщина. Черты лица ее были скрыты, но невыразимая скорбь сквозила в ее позе, в ее безжизненной неподвижности. Она стояла, как статуя. Панкратий остановился и упал к ее ногам.

— Мать, благослови,— прошептал он. Она нагнулась, перекрестила его и перекрестилась сама.

— Господи, помяни его и меня в царствии Твоем! — произнесла она твердо.

Панкратий снял с шеи ладанку с кровью замученного отца, которую мать когда-то дала ему, и протянул ей. Она прильнула к ней горящими устами.

— Иди! Иди! — кричали солдаты, толкая Панкратия.

Люцина выпустила его из своих рук и отшатнулась. Он встал и пошел...

И вот он стоит посреди арены. Он последний... Его приберегли к концу... надеясь на молодость, на любовь к жизни. Если бы он мог отступиться, просить милости, поклониться богам!.. Это было бы торжеством языческих жрецов. Они надеялись... Но Панкратий обманул их надежды. Он стоял бестрепетно посреди арены, скрестив руки на груди, бледный, юный, прекрасный...

Спустили зверей. Он не дрогнул и стоял неподвижно. Выскочили леопарды и медведи, уже отведавшие человеческой крови ранее, но не бросились на юношу, а только описали вокруг него бешеными прыжками страшный круг... а потом разбежались!.. Толпа рассвирепела. Выпустили дикого быка. Он бросился на юношу, опустив рога. Добежав до него, бык заревел и вспахал рогами землю. Комки песка и столб розовой пыли поднялись и скрыли на мгновение от зрителей и зверя, и его жертву. Когда пыль улеглась, Панкратий стоял невредимый, с бледным и прекрасным лицом, обращенным к небу.

— Он колдун! — закричала толпа.— Он колдун... У него на шее талисман... сними талисман! Сними его!

Панкратий обратился к цезарю.

— Цезарь! — сказал он ему звучным голосом, и голос его не дрожал.— На мне не талисман, а знак спасения. С ним я жил... с ним и умру!

Молчание. Красота, молодость, бесстрашие Панкратия поразили толпу; выражение его лица, свет ясных глаз возбудили во многих жалость... Но лишь на мгновение... Раздался крик:

— Пантеру! Пантеру!

Из-под земли поднялась огромная клетка; и, пока она медленно поднималась, стенки ее распахнулись, красивое животное грациозно прыгнуло на землю. Пантера, обезумевшая от заключения и мрака, в которых ее морили голодом, обрадовалась свету и свободе и принялась прыгать, кататься по земле и играть, как играют котята. Скоро она обернулась и увидела свою жертву. Голод проснулся в ней. Она обошла его вокруг, легла на землю, растянулась и, не сводя глаз с юноши, медленно поползла к нему, тихо перебирая острыми когтями и вонзая вперед в песок то одну, то другую лапу... и вдруг, внезапно, быстрее молнии прыгнула на него...

Панкратий лежал на земле бездыханный, с прокушенным горлом.

XXVI

Во дворце Максимиана был назначен прием: в этот день к нему допускались все лица, приходившие с просьбами, жалоба-

ми и различными делами. Они входили один за другим; в зале не было никого, кроме римского префекта, которому цезарь отдавал приказания.

Фульвий находился в приемной между другими просителями и, дождавшись своей очереди, вошел к цезарю. Он не пропускал ни одной аудиенции, и в этот раз, как всегда, Максимиан принял его, не скрывая своей неприязни; но Фульвий держался хладнокровнее обыкновенного. Лицо его сияло. Он прямо глядел на цезаря и после какого-то вопроса, отрывистого и ироничного, сделал два шага вперед, опустился на одно колено и смело сказал:

— Цезарь, твоя божественность часто упрекала меня, что я не исполняю своих обязанностей и плачу за твои милости и щедроты пустыми словами. Я молча сносил эти нарекания, но не дремал... сейчас докажу это. Я открыл страшный заговор, в котором участвуют близкие к тебе лица.

— Что ты еще придумал? — грубо сказал Максимиан.— Без предисловия, к делу, если действительно есть что-нибудь, похожее на правду в твоих словах.

Фульвий поднялся и, приняв трагическую позу, театрально произнес:

— Цезарь! Ты окружен врагами... ты в их руках... самые стражи твоего дворца принадлежат к числу злейших твоих ненавистников... Божественная твоя особа находится в опасности...

— Скажешь ли ты, в чем дело? — закричал перепуганный Максимиан, бледнея и дрожа от страха и гнева.

— Начальник внутренней стражи дворца Себастьян — христианин. Вот доказательства!

Фульвий подал Максимиану сверток бумаг.

Максимиан недоверчиво и неохотно взял сверток, подаваемый Фульвием, но в это мгновение Себастьян, к великому удивлению всех присутствующих, подошел к императору.

— Цезарь! — сказал ему спокойно,— не ищи доказательств. Этот человек говорит правду. Я христианин и горжусь этим.

Максимиан побледнел еще больше, потом вспыхнул; казалось, вся кровь прилила к голове и залила ему глаза: белки их стали красноватого оттенка, зрачки сделались тусклы и мутны. Сначала от ярости он не мог произнести ни слова; наконец опомнился, и поток страшных ругательств обрушился на Себастьяна.

Себастьян спокойно стоял перед ним, с достоинством человека, привыкшего уважать самого себя и сознающего свое нравственное превосходство. Он знал, что ожидает его. Когда император уже задыхался от гнева и речь его перестала быть членораздельной, Себастьян спокойно сказал:

— Выслушай меня, цезарь! Я говорю с тобою последний раз. Слова мои должны тебя успокоить. Ты вручил мне стражу дворца, я исполнил долг мой добросовестно; ты цел и невредим. Я не способен на измену и не изменял тебе.

— Христианин! Начальник внутренней стражи — христианин! — кричал Максимиан.— Значит, я окружен врагами в моем дворце! Кому довериться? Могу ли я быть спокоен хоть

одну минуту, когда низкие козин проннкли и сюда? Благодарение Юпнтеру! Я прииесу ему в жертву всех хрнстнан — я нстреблю их! Я был предан в руки злейших врагов моих, и одни бессмертиые боги спасли меня от гибели!

— Рассуди хладнокровно, цезарь,— сказал Себастьян,— не боги твон спасли тебя, а верность христианиия; он служил тебе честно. Я не способен обманывать и замышлять чью-либо гибель. Да! Ты был в моих руках и, если бы я замышлял что-либо протнв тебя, то имел бы время н возможиость исполнить свои замыслы. Моя религия запрещает вступать в заговоры и козни; она предписывает честио исполнять свои обязаиности. Я ие измеиинк. Но выше тебя, цезарь, стоит мой Бог. Дело моей совести н моей веры ие имеет иичего общего с моими воинскими обязаииостями. Как солдат и слуга твой, я ии в чем ие вииоват перед тобою!

— Зачем же ты скрывал свою веру? Из трусостн! Ты скрывал ее из инзкой трусости!..

— Нет, ие из трусостн, а из чувства долга. Пока я мог помогать монм братьям христнанам, я должен был спасать их от гоиеиий и гибели. Я жил посреди ежечасных волнений, бедствий и тревог. Я переиосил испытания с покорностью. В эту минуту иадежда угасла в моем сердце, и я считаю себя счастливым, что Фульвий донес на меня и нзбавил меия от жестокого выбора: либо желать смерти и нскать ее, либо жить, потеряв лучших друзей н, быть может, саму иадежду иа будущее.

Максимиаи подозвал к себе префекта и тихо сказал ему:

— Этот человек заслужил смертной казнн, мучнтельной смерти, ио я не хочу, чтобы в Риме толковали о нем. Мне будет крайне неприятно, если узнают, что в моем дворце одии нз главных начальнннков был хрнстнанином. Позвать сюда Гифакса!

Вошел широкоплечнй, высокого роста, обнаженный по пояс нумиднец, начальник африканского отряда. За плечами у него висели лук н колчаи, расписаииый разноцветными красками, сбоку огромный, с широкнм лезвнем меч. Ои остаиовился перед Максимиаиом и молча ждал его приказаиия. Смуглый цвет его кожи, мускулистая фнгура, неподвижиость делали его похожим на статую.

— Гифакс,— сказал Макснмнан,— завтра утром, чуть свет, без огласки расстреляй Себастьяна. Он христиаиии.

Гифакс вздрогнул; он страшился хрнстнан больше, чем лютых зверей, больше, чем ядовитых змей своей родииы. По своему невежеству он верил слухам, которые о них распускали.

— Ты отведешь Себастьяиа в свой квартал,— продолжал Максимиан,— завтра чуть свет, завтра, а не сегодня, запомни это, привяжешь его к дереву во дворнке Адониса и прикажешь стрелять в него стреламн. Только ие убнвайте его сразу. Пусть медленная мучительная смерть постигнет его, поннмаешь? Сделай это втайие и смотри... если вы иапьетесь... Главное, без огласки! Пусть все остаиется в тайие. Я ие хочу, чтоб об этом говорили в Рнме. Ступай!

XXVII

Фабнола лежала на изящной кушетке. Одета она была, по обыкновению, великолепно, хотя носила еще траур по отцу. Кормилица по-прежнему ухаживала за ней, многочисленные рабыни наперебой старались угодить ей. Но иа душе у нее было неспокойно: мучительные сомнения постоянно тревожили ее. Она слышала о смерти хрнстиан в цирке, н мысли ее были прикованы, помимо воли, к ним.

«Сира добрая, честная девушка,— думала она,— но простодушна, как дитя, легковерна и недальновидна. Быть может, она обманута. Говорят, что эти хрнстиаие хитры и лицемерны... Большие интриганы... Они ищут везде сторонников н не преиебрегают даже невольниками. Может быть, н Сира обманута? Не станут ведь они говорить всем о тех ужасных преступлениях, какие совершают. Весь Рим знает об их страшных обрядах, зверствах... Нельзя же предположить, что все ошибаются. В этих слухах должна быть доля нстины. Если малая часть того, что говорят о них, справедлива, то онн, конечно, самые страшные, самые гнусные люди... А Хроматий? Хроматий, кажется, тоже хрнстианин?.. Но он уже выжил нз ума. Он старик, утомленный жизнью. Хрнстиане прельстили его своими чудными изречениями н, верно, обирают его — живут за его счет. Быть может, эта секта разделяется на две части: обманывающих н обманутых. Разве это не случалось прежде? В секте эпикурейцев одни нскали счастья в грубых, материальных наслаждениях, другие понимали эпикурейское учение иначе и нскали счастья в умственных упражнениях, в уединении, чтенин. Быть может... Как узнать правду? Онн умирают с таким непонятным, неестественным мужеством. Говорят — это колдовство, чары... Пустяки!.. Я не верю в колдовство, но что же это? Как жаль, что я никогда не говорила с Себастьяном о христианах... Я его уже столько времени не вижу н не знаю, где он».

Фабиола глубоко задумалась. В эту минуту вошла Афра с завтраком. Накрывая на стол, она сказала:

— Госпожа, ты слышала городскую новость? О ней говорят шепотом, потому что цезарь не хочет огласки. Себастьян приговорен к смерти. Какая жалость! Такой молодой офицер, красивый н умный!

Фабнола не слышала последних слов Афры: она приподнялась на своем ложе н сидела бледная, как смерть, с широко раскрытыми глазами.

— За что?..— спросила она, наконец, едва внятно.

— Он христианин!.. Сам в том прнзнался. Кто бы мог это вообразить?..

— Себастьян хрнстианин!.. Христианин?..— пронзнесла Фабнола с выражением недоумения н иевольного ужаса.— Не может быть!

— Да, хрнстианин! Его приказано замучить до смерти. Гифакс готовит свой нумидийскнй отряд н должен расстрелять его.

— Бессмертные боги! — воскликнула Фабнола.— Неужели это правда? И когда? Когда казнят его?

— Точно никто не знает. Кажется, скоро. Впрочем,— прибавила Афра лукаво,— нумидийцам не в первый раз приходится казнить преступников; немало отправили они людей в подземное царство Плутона. Но они немало и спасли их...

Афра взглянула украдкой на Фабиолу и, заметив ее волнение и бледность, продолжала:

— Нумидийцы и Гифакс знают, сколько стоит голова осужденного.

— Говори яснее,— сказала Фабиола, оживляясь.

— Благородная госпожа, желаешь ли ты спасти Себастьяна?

— Конечно,— воскликнула Фабиола,— говори скорее!

— Слушай же. Сколько ты заплатишь за его спасение? Предупреждаю тебя, что дешево этого сделать нельзя.

— Говори, сколько? Я заплачу.

— Сто тысяч сестерциев и вольную мне.

— Согласна; только чем ты поручишься, что можешь спасти его?

— Об этом не беспокойся. Через двадцать четыре часа после казни Себастьян будет жив. Тогда ты и заплатишь деньги. Я верю тебе на слово.

— И я не обману тебя, ты это знаешь. Беги же скорей, Афра, не теряй ни минуты.

— Будь спокойна, спешить некуда,— ответила невольница, продолжая расставлять блюда на столе.

В сумерки Афра отправилась в нумидийский квартал и вошла прямо к начальнику отряда.

— Зачем пришла? — спросил он.— Ныне здесь нет попойки.

— Я пришла по очень важному делу,— сказала Афра.— Дело касается, во-первых, меня самой, потом тебя и твоего пленника.

— Вот он, смотри,— сказал Гифакс, показывая на связанного в углу двора Себастьяна.— Смотри, он уснул и спит так спокойно, как будто завтра в это время будет жив и здоров.

— Он должен быть жив, Гифакс! Скажи, ты не оставил еще намерения жениться на мне?

— Конечно, нет, но с условиями; они все те же: твоя свобода — я не могу жениться на рабыне, и хорошее приданое — я не могу жениться на нищей.

— И то и другое готово. Сколько ты хочешь взять за мною?

— По крайней мере сорок тысяч сестерциев.

— Не хочешь ли больше? Скажу тебе, что принесу с собой мужу восемьдесят тысяч, но с условием... надо спасти осужденного.

Гифакс уставил глаза на Афру; удивление, смешанное с досадой, овладело им.

— Ты с ума сошла! — воскликнул он.— Тебе бы уж попросить моей собственной головы. Если бы ты видела лицо цезаря, когда он приказывал мне казнить этого христианина, то поняла бы, что шутить нельзя.

— Глупец! — сказала Афра презрительно.— Кто тебе мешает казнить его и вместе с тем спасти его? Все будут считать его мертвым, а христиане спрячут его. Стреляй так, чтобы он остался лежать замертво, но был бы жив. Ведь вы, искусные стрелки,

знаете свое дело. Мне надо, чтобы он был жив спустя двадцать четыре часа после казни, а после я ни за что не отвечаю.

— Не знаю, возможно ли это...— произнес Гифакс, размышляя.— Себастьян — человек известный.

— Как хочешь,— сказала хитрая Афра.— Ты теряешь жену и восемьдесят тысяч сестерциев — это не шутка. Прощай!

— Куда ты? Подожди! — сказал Гифакс, глаза которого разгорелись. Алчность овладела им.— Не торопись, дай подумать. Надо будет подкупить стрелков, напоить их,— для этого опять нужны деньги... и немалые...

— Я и об этом подумала,— сказала Афра,— и выдам тебе сколько нужно на подкуп и пир.

— Ты золото девушка! — воскликнул Гифакс.— Я не могу отказать тебе!

— Стало быть, договорились,— сказала Афра весело,— помни же, что, если спустя двадцать четыре часа после казни Себастьян будет жив, мы отпразднуем свадьбу.

Себастьян проснулся. Звездное небо сияло над ним; плыла луна; великий Рим безмолвствовал, объятый сном. Тишина ночи, не нарушаемая людским говором, могла сравниться только с безмятежной сердечной тишиной, наполнявшей сердце Себастьяна. После невыносимых душевных страданий в день смерти Панкратия и других его друзей смерть за торжество веры казалась ему счастьем. Он провел почти всю ночь в молитве и в том чудесном настроении духа, которое может испытывать лишь человек чистого сердца и чистой совести, посвятивший всего себя на служение великому и святому делу. Всю свою жизнь Себастьян делал добро, спасал других и не щадил себя для ближних. Лицо его в эту трудную, но великую минуту, последнюю минуту его жизни, светилось, а глаза блестели. Таким нашел его Гифакс, когда рано утром вышел из своей караульни.

Гифакс, не сказав Себастьяну ни слова, отправился к стрелкам и созвал самых искусных из них в свою комнату. Там он подробно рассказал им, как надо стрелять, чтобы сразу не убить приговоренного. Христиане, со своей стороны, предлагали большую сумму за тело Себастьяна. Решено было, что двое из них будут ожидать у ворот двора и что стрелки вынесут им тело. Стрелки согласились на предлагаемую сделку. Гифакс не боялся, что они проговорятся, ибо каждый из них знал, что его ожидает, если все откроется.

Себастьяна повели на небольшой дворик, находившийся между дворцом и казармами африканских солдат. Дворик был усажен деревьями, посвященными языческому богу Адонису. Себастьян шел твердо, окруженный стражей и целым отрядом, которые должны были присутствовать при казни в качестве зрителей.

Когда его привели, раздели и привязали к дереву, пять отличных стрелков отделились от отряда, спокойно отошли на конец двора и встали против осужденного. Ни один друг, родственник, ни один христианин не мог пробиться к Себастьяну, он не

имел и этого последнего утешения; ему некому было сказать последнего слова, не с кем было послать последний привет близким. То была страшная смерть, одинокая, мучительная. Ужасно казалось умереть внутри каменных, высоких стен, привязанным к дереву, служить целью для варваров, которые готовились стрелять в человека, как в животное, как в куклу. Они готовились хладнокровно, без ненависти, даже без злобы, а с ужасающим равнодушием.

Себастьян в эту минуту позавидовал Панкратию, который умер, напутствуемый увещаниями священника, приняв благословение матери, простившись с друзьями, умер посреди арены, полной народа, сограждан, из которых многие дивились его мужеству и твердости духа.

Вокруг Себастьяна не было даже римских солдат. Панкратий-римлянин умер среди римлян; Себастьян-римлянин должен был умереть, с варварами, которые шутили так, будто дело шло о забаве, а не о казни. Эта участь была ужасна, и он вполне сознавал, что смерть его похожа скорее на тайное убийство, чем на казнь человека, открыто умирающего за свою веру. Но он покорился воле Божией, поднял голову, обратил свой взор к небу... Там искал он силы и утешения в последнюю минуту своей жизни...

Один из нумидийцев взял лук, прицелился, стрела завизжала, рассекла воздух и, дрожа, вонзилась в грудь мученика. Другие нумидийцы, при виде удачного выстрела, одобрительно зашумели. Прицелился другой, и стрела вонзилась рядом с первой. Третий, а за ним и другие столь же искусно, столь же равнодушно стреляли один за другим, громко смеясь. Себастьян стоял твердо, израненный, залитый горячей кровью, пока не потерял сознания. Его поддерживали теперь одни веревки, которыми он был привязан к дереву. Глаза его закрылись, смертельная бледность покрыла лицо, голова опустилась на окровавленную грудь. Тогда один из стрелков подошел к нему, перерезал веревки, и Себастьян упал на землю, как падает трава, подрезанная косой. Из ран его потоками струилась кровь и образовала вокруг него широкий пурпуровый круг.

Вскоре стрелки вынесли тело Себастьяна из дворика и отдали его двум христианам, дожидавшимся у дверей казармы. Христиане несказанно удивились, когда мимо них проскользнула чернокожая женщина и шепнула:

— Осторожно! Он еще жив!

Тогда христиане завернули мученика в темное покрывало и, вместо того, чтобы нести его на кладбище, пробрались осторожно задним крыльцом в покои Ирины, жившей во дворике цезарей.

Ирина была вдовой христианина Катулла, принявшего христианство на вилле Хроматия. Катулл умер за веру, а вдова, забытая и незаметная, сохранила свою квартиру в одном из задних отделений дворца. У нее были две дочери, одна из которых была язычницей, а другая — христианкой. Ирина, пережив мужа, посвятила себя делам милосердия, укрывала у себя гонимых христиан, ухаживала за больными, посещала бедных. Она с радостью приняла Себастьяна, положила его на свою кровать и принялась его лечить.

XXVIII

В течение суток, последовавших за казнью Себастьяна, Фабиола несколько раз посылала Афру узнать о его состоянии, но известия были неутешительными. Себастьян был при смерти; на выздоровление его надежды почти не было. Исстрадавшаяся Фабиола решила сама идти к Ирине, чтоб точно выяснить, в каком именно состоянии находится больной и, если возможно, взглянуть на него. Она знала, что Ирина христианка и, отваживаясь идти к ней, опасалась сурового приема.

Многое передумала Фабиола, тайно пробираясь к Ирине. Несколько раз она хотела вернуться домой, но сострадание к Себастьяну взяло верх.

Последние жестокие гонения на христиан произвели на нее глубокое впечатление. Она не раз говорила себе, как должна быть велика и свята та религия, которая заставляет людей идти на величайшие жертвы и заставляет их умирать столь мужественно; как должен быть велик тот Бог, который дает силу матерям, женам и сестрам жертвовать безропотно сыновьями, мужьями, братьями и, пережив их, продолжать свою безотрадную жизнь, посвящая ее всю без остатка оставшимся единоверцам. Это был подвиг, который казался Фабиоле чудом, и чудо это совершалось на ее глазах. Ирина, пережившая мужа и брата, теперь бесстрашно приняла к себе Себастьяна. Не являла ли она собою великий пример самопожертвования, подвергая свою жизнь опасности для спасения человека, почти ей неизвестного? Но он был христианин, и, как христианка, она спасала его. Нет, Фабиола пойдет к этой благородной, великодушной женщине. Если Ирина не примет ее, то она уйдет, покорно снося заслуженное презрение и ненависть. Но она не может оставить умирающего друга своего покойного отца, который столько лет посещал их дом, которого она привыкла уважать.

Когда она наконец благополучно достигла жилища Ирины и остановилась у дверей, сердце ее забилось с новой силой. Однако она опять преодолела себя и постучалась. Молодая, красивая девушка, изящно одетая, отворила ей дверь и, увидя незнакомку, смерила ее высокомерным и холодным взглядом.

— Что тебе нужно? — произнесла она отрывисто.

— Я бы желала видеть Ирину,— сказала Фабиола робко. Она уже научилась говорить спокойно и мягко и испытывала иное чувство, не похожее на все то, что владело ею когда-то прежде...

— Ирину? — повторила молодая женщина,— но Ирина тебя не знает. Она занята и не может видеть...

— Я подожду,— так же кротко, как и прежде, отвечала Фабиола.— Позволь мне подождать. Я пришла не из простого любопытства, а по важнейшему делу...

— По делу? Знаем мы эти дела. Приходит масса народа, и все с делом. Кто ты такая?

— Я Фабиола, римская патрицианка,— произнесла Фабиола с мгновенно проснувшейся гордостью. Она не могла сдержать возмущения от оскорбительных слов молодой женщины.

Отворившая казалась удивленною, узнав, что просто одетая

посетительница оказалась патрнцианкой, богатой н знатной, о которой она слыхала прежде. Тои Фабиолы произвел иа иее впечатление. Она иеохотно, ио уже не так сурово посмотрела на нее, повернулась и сказала более вежливо:

— Подожди иемиого! — Затем оиа отворила дверь, впустила Фабиолу в комнату н вышла, спуская за собой занавес дверн.

Фабнола села и осмотрелась. Комната была иевелика, чнста, но чрезвычайио просто, почти бедно убрана; она освещалась однним овальным окном, выходнвшнм на лестинцу двора. Окно было прорезаио в стеие так высоко, что шедшне по лестинце ие могли видеть, что пронсходит в комиате. Словом, жилище Ирииы, пройти к которому можно было только через черную лестницу н задиее крыльцо двора, казалось затеряиным в огромном зданнн, и окна его были так высоки, что не прнвлекали вннмания. Их можно было принять за слуховые, которые обычно делались под крышей.

«Убежище выбрано удачно, здесь трудно отыскать Себастьяна,— думала Фабнола,— но если его откроют... Ирина и дочери ее погибли... Это, иаверно, ее дочь. Как оиа суха н надмеина! Видно, что она озлоблена... Что уднвнтельного?.. После таких бедствий, таких потерь!.. Узиаю только о здоровье Себастьяна и уйду — что мне тут делать? Они глядят на меня, как иа зверя, будто я сама посылала несчастиых осужденных на смерть... Одиако я должна поиять, простить им эту иеиависть... Может ли хрнстиаика ие неиавидеть язычиицу?..»

В эту мннуту занавес прнподнялся, н в комнату тихо вошла белокурая, лет сорока пяти жеищииа, бледная, худая, но еще прекрасная, несмотря иа возраст и скорбь, выражавшуюся в каждой черте лица. Она была одета в простое темиое платье и прнветливо поклонилась Фабиоле.

— Я Ирииа, которую ты хотела видеть,— сказала оиа.— Чем могу служить тебе?

Голос ее был тих, и что-то сердечное, доброе звучало в ием. Фабиола встала.

— Я прншла,— сказала оиа иесмело,— узнать о... Поверь, что ие любопытство, а участне... не злое намеренне, а уважение к тебе н...

Фабиола была взволнована и ие могла произиестн больше ни слова.

— Сохранн меня, Боже, предполагать злое! — сказала Ирнна.— За что буду я хотя бы мысленно оскорблять человека, которого ие зиаю? Успокойся, благородная Фабнола, успокойся и скажи мне, какое ты имеешь ко мие дело. Если я могу услужить тебе чем-нибудь, сделаю это с радостью!

Фабиола стояла пораженная. Ириииа через иесколько дней после казни всех свонх близких, укрыв у себя Себастьяна, иовую жертву языческого мщения, прииимает язычннцу н повторяет ей, что готова услужить жеищиие, которую встречает в первый раз в жнзнн!..

— Я пришла,— сказала Фабиола дрожащим от волнения голосом,— узнать о состоянии здоровья Себастьяиа... Есть ли иадежда спастн его?

Молодая женщина, сидевшая в углу комнаты, вздрогнула и встала. Она побледнела и была, видимо, испугана и разгневана. Фабиола заметила и это движение, и ее выражение лица.

— Поверьте мне,— сказала она вдруг с жаром,— я не выдам вас; я скорее умру, чем произнесу слово, которое бы повредило вам!

— Все это одни слова, а мы тебя не знаем, и кто поручится, что ты...— начала с досадой молодая женщина; но Ирина повернулась к ней и сказала настойчиво, но кротко:

— Замолчи, прошу тебя, Хлоя! Не смущайся,— прибавила она, обращаясь к Фабиоле.— Дочь моя сказала это по молодости, прости ей. Я тебе верю!

— Иногда молодые бывают разумнее старых,— произнесла Хлоя и вышла из комнаты в порыве гнева.

Ирина бросила печальный взор на свою дочь и вздохнула. Она обратилась к Фабиоле:

— Ты желаешь узнать о здоровье Себастьяна? Он очень, очень плох. Я и моя дочь не отходим от него. Его лечит искусный врач, но не ручается за его жизнь. Да будет над нами воля Божия!

— Могу я его видеть? — спросила Фабиола.

— Если ты хочешь, конечно, но он без памяти и не узнает тебя. Не лучше ли отложить свидание до того дня, когда он опомнится, или...

Ирина не договорила. Фабиола поняла ее. Она встала и сказала:

— Позволь мне прийти узнать о нем сегодня вечером. Я предпочтаю прийти сама, чем посылать рабыню.

— Приходи, когда хочешь; я всегда буду рада видеть тебя, известить о состоянии твоего... твоего...

— Друга моего отца, друга моего покойного отца и моего. Я всегда его уважала, а теперь еще больше. Бедный, несчастный Себастьян!

— О, нет, не несчастный! — сказала Ирина.— Он пострадал за веру, и Бог наградит его, Бог благословит его жизнь, если он останется жив; если же умрет, Бог примет его в соим праведных. Он не несчастлив, напротив...

— Но он так ужасно страдает! — воскликнула Фабиола.

— Телом, но не духом,— ответила Ирина.

В эту минуту в комнату вошла другая молодая девушка, красивая, черноволосая, с тонкими чертами лица и с добрым выражением глаз. Она была одета просто, как и Ирина, и, входя, ласково и почтительно склонилась перед Фабиолой.

— Моя дочь Дарья,— сказала Ирина.— Ну, что, как чувствует себя наш больной? — спросила она.

— Он, по-видимому, спит, и я пришла спросить у тебя, матушка, нужно ли разбудить его, чтобы дать ему лекарство.

— Я думаю, нет, если он уснул. Пойду взгляну на него. Если он без памяти, постараюсь заставить его проглотить лекарство. Останься с благородной Фабиолой. Подожди немного. Не уходи. Я скоро вернусь, узнаю только, спит ли он. Если он действительно заснул, то это хороший знак.

Ирина вышла из комнаты, оставив девушек наедине. Фабиола

молчала. Сердце ее было полно различных чувств, голова — мыслей.

— Как ты добра! Презирая опасность, ты отыскала нас, чтобы осведомиться о Себастьяне,— сказала Дарья.— Если бы ты только видела его, когда его принесли к нам! Кажется, сердце зверя и то бы дрогнуло от жалости прн виде этого нзраненного истекающего кровью человека. Бедная матушка плакала над ним, как над родным сыном!

— Она очень любит его? — спросила Фабиола.

— Она всех любит; но лично она знала его мало, вернее, почтн совсем не знала.

— И прнняла его? Вы знаете, что вас ожидает, если откроют...

— Конечно, но на то воля Божия! Мы должны нсполннть наш долг. Людн — братья. Бог прнказал не думать о себе, когда страдают ближние. Мы должны помогать друг другу. Что мы делаем для бедных, больных, гонимых — делаем для Бога. Чего нам бояться? Смерти?

— Но как же онн узнали, что вы не побонтесь прннять Себастьяна? Почему его прннесли сюда?

— Мы хрнстнанкн, н хрнстнане прннесли его к нам; к тому же мама всю свою жизнь посвятнла попеченню о бедных. Она хорошо лечнт; у нее есть целебные травы. После смерти моего отца она посвятила себя больным н несчастным. Ей случается не спать по нескольку ночей кряду н переходнть от одного больного к другому.

— А давно умер твой отец?

— Он погиб за веру вместе с нашим дядей в предпоследнее гонение христиан. Дед наш тоже погиб. Бедная мама потеряла отца, мужа н брата... Но мы благодарнм Бога! Он послал нам утешение. Мы смогли многих спастн. Хрнстнане нас любят н в трудные минуты обращаются к маме. Я говорю с тобой откровенно, ведь ты дружна с Себастьяном?

— Да, но я не вашей веры.

— Господь Бог просветит тебя н обратит на путь нстнны,— сказала Дарья н перекрестилась.— Ты добра, я вижу это; ты милосердна, иначе бы ты не была здесь. Благодать Господня сойдет на тебя н просветит тебя.

Фабнола смутилась еще более; в глубине душн у нее что-то шевельнулось; сердце ее наполнилось благоговейным страхом н тайным, ей самой непонятным чувством смирення.

— Лишь только Себастьян поправится,— сказала Фабнола,— я могу перевезти его на мою виллу в Кампанью. Это уеднненное место. Его можно укрыть там от преследований н, может быть, нспроснть у цезаря помилование.

— Едва ли цезарь простит его. Таких прнмеров еще не было,— ответила Дарья,— но, во всяком случае, перевезти его на твою виллу было бы для него спасеннем. Я скажу об этом матушке. Как ты добра, благородная Фабнола. Как мы будем молиться о тебе, о твоем спасеннн!

В эту мннуту опять появилась Хлоя. Было внდно, что страх не давал ей покоя. Взглянув на ее бледное лицо, Фабнола опять поднялась с места, готовясь уйти.

— Я зайду сегодня вечером, если вы позволите. Вечером прийти безопаснее, не правда ли?...— сказала она.

— Если ты боишься, позволь мне прийти к тебе. Меня никто не знает. Я принесу тебе вести о больном.

— Я боюсь не за себя,— сказала Фабиола с силою,— а только за вас. За себя я не боюсь!

— И за нас не бойся, мы надеемся на Бога и нисколько не боимся опасности.

— Но как можно,— сказала Хлоя,— не думать об опасности? Надо потерять остаток рассудка, чтобы не понимать, какой страшной участи мы подвергаемся, если кто-нибудь донесет на нас. Злых людей много. Бессмертные боги накажут тебя. Немезида будет преследовать тебя всюду, если ты хотя бы единым словом повредишь нам! — продолжала Хлоя, обращаясь к Фабиоле.— Лучше тебе не приходить сюда. Подумай: мы тебя вовсе не знаем! Кто поручится, что ты не подослана? В Риме немало шпионов!

— Хлоя, Хлоя! — воскликнула Дарья с невыразимой печалью.— Как можешь ты оскорблять нашу гостью, друга нашего бедного больного.

— Твоего, а не моего больного. Я его не знаю и знать не хочу. Проклинаю тот час, когда его принесли сюда. Будто неизвестно, что мы погибли, если узнают, что мы приняли его. Бессовестные! Гостью твою я не оскорбляю и не желаю оскорблять, а говорю лишь правду. Всякий стоит прежде всего за себя. Чем я виновата, что ты мне сестра, что твоя мать — моя мать! Все эти беды обрушились на нас, потому что мы отступились от наших богов, и вас преследуют теперь мои мстители-боги!... Слушай меня, Фабиола! Ради себя, ради нас уйди отсюда и не приходи больше! Ты видишь, я поклоняюсь тем же богам, что и ты... Я не христианка и не буду никогда христианкой. Они сумасшедшие и бегут навстречу своей погибели... но, губя себя, они губят меня. Я хочу, чтобы ты знала и, в случае нужды, засвидетельствовала, что все, что здесь делается, делается помимо моей воли. К нам ходят нищие, к нам несут раненых, которых мы не знаем! Если бы моя воля, я бы не приняла никого. Каждый должен думать прежде всего о себе. Мы не знаем этого Себастьяна. Если он христианин, то знал, на что идет, почему же нам гибнуть из-за него? И поверь — все это напрасно: его мы не спасем. Он умрет, а себя мы погубим. Если он умрет, как его отсюда вынести? Это не жизнь, я дрожу от страха ежеминутно! Когда я слышу стук у двери, мне так и кажется, что входит стража и тащит меня в тюрьму, а потом в цирк... зверям!..

— Не тебя, Хлоя, а меня и матушку,— сказала тихо Дарья.— Ведь мы не боимся, мы скажем, что ты не христианка и всегда гнушалась тем, что мы делаем.

— Прекрасно! — воскликнула Хлоя с гневом.— Но разве вам поверят? Да если и поверят, вы думаете, мне будет весело знать, что моя мать и сестра опозорены, поруганы, отданы зверям... Это ужасно!

Хлоя заплакала. Дарья бросилась к ней, стараясь утешить ее. Она целовала ее, шептала добрые слова. Фабиола почувствова-

ла, что ей, незнакомке, не следует присутствовать при семейной сцене, и ускользнула из комнаты, не замеченная сестрами.

Она медленно шла домой. В первый раз ей довелось посетить христианское семейство, и то, что она там видела, навело ее на целый ряд размышлений. Добрая мать, добрая дочь, посвятившие жизнь свою страждущим, и другая дочь, в которой эгоизм и страх заглушали даже столь свойственное женщине чувство сострадания. Одни — христианки, другая — язычница. «Да,— сказала Фабиола сама себе, и сказала невольно,— велик тот Бог, сильна та религия, которая внушает людям такие высокие чувства, такую великую добродетель и любовь к ближним».

С тех пор каждый день по два раза пробиралась Фабиола к Ирине. Себастьян пришел наконец в себя, но не выздоравливал, силы его не восстанавливались. Лечивший его старик священник опасался последствий болезни. Себастьян потерял слишком много крови. Прошло уже две недели, а он все лежал без движения на постели, хотя пришел в сознание.

Фабиола не могла удержаться от горьких слез, увидя его бледного и обессиленного. Он едва мог произнести слово, но глаза его благодарили ее. Фабиола все больше и больше сближалась с Ириной и ее дочерью и не переставала им удивляться. Однажды она принесла Ирине значительную сумму для раздачи бедным. Ирина со слезами на глазах благодарила и, о чем бы ни шла беседа, все возвращалась к этой сумме и с восторгом говорила, кому именно надо ее раздать. При этом всякий раз она благодарила Фабиолу, которая чувствовала себя неловко от таких незаслуженных похвал. Ирина отдавала последнее бедным, делилась с ними от своих ничтожных доходов, а Фабиола принесла деньги, которые не знала, куда истратить. Она стала задумываться о том, сколько покупала себе ненужных вещей, сколько тратила на званые обеды и ужины, на туалеты, мебель, и все эти расходы казались ей бессовестными. За один браслет, за одно кольцо, а их было у нее бесчисленное количество, она платила такие суммы, которых было бы достаточно на пропитание целого семейства в течение года. Она обещала быть впредь расчетливою, откладывать деньги и отдавать их Ирине. Жизнь ее совершенно изменилась.

Фабиола перестала выезжать и принимать и чувствовала себя спокойною и счастливою только тогда, когда, оставив роскошные покои, уходила к Ирине в ее бедную квартиру и садилась между нею и Дарьей. Уверившись, что Фабиола честная женщина и не донесет на них, Хлоя сделалась приветливее и меньше боялась, что у них откроют Себастьяна. Время шло, и о нем забыли. Хотя Хлоя несколько успокоилась, но страшно скучала и смотрела с презрением на нищих, которые, как она говорила, обивают порог ее матери. Она сознавала, что мать ее добрая женщина, но что пользы в этой доброте? — прибавляла она. Напротив, эта доброта и была причиною всех несчастий. Разве бедные, которых мать ее кормит, одевает и лечит, могли ей быть полезны? Они тащили последние деньги из дому, они могли ежечасно подвергнуть их преследованиям со стороны римских властей, ибо почти все приходящие были христианами. При одном только слове

«христиане» Хлоя впадала в отчаяние и гнев. Она иенавидела их как причину своего ежеминутного страха. Благодаря хрнстианам они не посещали своих богатых и влиятельных родных и жили в одиночестве. Все рассуждения, все громкие слова надоели ей. Мало ли она наслушалась разных бредней, которым могли вернть только тупоумные!..

Напрасно Фабиола доказывала Хлое, что христиане не обирают ее мать н сестру, что те сами заставляют бедных принимать хлеб, одежду и лекарства. Хлоя твердила свое.

— Почему же мы не живем, как люди? — говорила она.— Мой родной дядя — префект в одной из богатейших провинций; ио он знать нас не хочет,— почему? Все от того, что ему небезызвестно, к какой секте принадлежит моя мать. О, я несчастнейшая из женщин!

Ирина и Дарья обходились с Хлоей кротко, уступали ей во всем, что не касалось их собственных обязанностей, ио эта кротость не смягчала, а ожесточала ее еще более. Часто резкие, почти оскорбительные выражения срывались с ее языка и наполняли печалью сердце бедной матери. Хлоя ие была злой от природы, ио была эгоисткой — в этом ие могло быть сомнения; она была иесчастлива и составляла бы несчастье всего семейства, если бы оио не научилось сносить испытания с твердостью и покорностью. Ирина смотрела иа Хлою со скорбью, относилась к Хлое, как к своему кресту, который несла со смирением христианки. Надо прибавить, что Хлоя могла бы оставить мать н сестру и уйти жить в дом какой-либо богатой родственницы, ио она была горда, самолюбива, в глубине души любила мать и сестру и не хотела отказаться от них публично.

Фабиола старалась смягчить сердце Хлои, часто уводила ее. Фабиола ездила с нею на гулянья, в бани, дарила ей иаряды. Хлоя благодарила Фабиолу, но ие слушала ее увещеваний и часто восклицала: «Прошу тебя, довольно! Это я уже слышала ие раз. Одно меня удивляет, как это ты, благородная римлянка, поклоняющаяся римским богам, богам бессмертным, можешь выносить этих глупых, плаксивых христиан! Я дивлюсь тебе! Сидишь целыми часами н слушаешь безумные речи моей сестры.

Она добрая, ио, право, недалекая девушка! Она верит всякому вздору, разве ты не видишь?»

— Однако христиане умирают за свою веру, однако они любят друг друга и действительно помогают один другому, живут в любви и согласии,— возражала Фабиола.

— Так что же? Мало ли сумасшедших на свете! Я считаю их сумасшедшими. По-моему, сперва думай о себе, потом о других. Разве это не глупость — умирать за веру? От них требуют: поклонитесь Юпитеру, а они не хотят н умирают. Да я не только Юпитеру, а глиняному горшку поклонюсь, чтобы избавиться от смерти.

— Нет,— сказала Фабиола,— я не стану поклоняться тому, чему не верю! Согласнсь по крайней мере, что думать прежде о других и очень мало о себе — добродетель!

— Никогда не соглашусь! Глупость, а не добродетель! Если

мне хочется есть н пить, я сперва наемся и напьюсь, а потом накормлю и напою другого. Это благоразумно.

— А если тебе хочется есть н ты видишь, что родная твоя мать голодна, неужели ты станешь есть спокойно, пока насытишься вдоволь, а потом уже подумаешь о матери?

— С матерью я разделю питье и пищу потому, что она мне мать... а с первым встречным... благодарю покорно!

— Но хрнстиане считают каждого человека братом, каждую старую женщину матерью и делятся со страдающими последним.

— В этом н проявляется их глупость!

— Нет,— сказала Фабиола,— это их доброта. Я понимаю теперь слова их Учителя: «Любн ближнего, как самого себя».

— Поздравляю тебя! И ты станешь христианкой и пойдешь умирать в цирке на потеху черни! Завидная участь! И смерть, н позор!

— Смерть — да! Позор — нет! Я не стану христианкой, потому что не счнтаю себя способной на такие великие подвнги, но не могу не согласиться, что счастлив человек, имеющий силу жить н умереть, исповедуя то, что он счнтает истиной.

— Счастье в смерти! Ясно, ты заразилась их бреднями,— сказала Хлоя презрительно.

Уверившись, что убедить Хлою невозможно, Фабиола оставила ее в покое н перестала спорить с нею, но Хлоя со своей стороны никак не оставляла в покое Фабиолу. Она испытывала потребность поверять кому-либо свою досаду, свои опасения, свои, как она выражалась, несчастья. Она целымн днямн, не ударяя пальцем о палец, жаловалась на скуку, на пустоту жизни, на безотрадную будущность. Нравственные качества Ирины и Дарьи, так разннвшнеся с ничтожеством, суетностью и эгонзмом Хлои, пронзводили сильное впечатленне на Фабнолу, и душа ее все больше стремилась к хрнстианам.

Себастьян выздоравливал. Силы медленно возвращались к нему, но не возвращалась бодрость духа. Что могло быть ужаснее его положения? Он вынес страшные приготовления к казни, более жестокие, чем сама казнь, вынес невыразимые мучения, упал замертво, лишившись чувств, и вдруг опомнился на одре страдания. Он опять жил для жизни, в которой все потерял. Лучшие друзья его умерли в мучениях. Другие скрывались. Сам он лишился всего — положения, состояния, здоровья. Он вставал с постели живым мертвецом. Одна вера, одна покорность воле Божией могли вдохнуть в него решимость снова начать жизнь, полную страданий. Несмотря на предложение Фабиолы, он не согласился бежать нз Рнма и скрыться на ее вилле. Когда у него спрашивали, что он намерен предпринять, где и чем жить — он отвечал спокойно, но с печалью:

— Не знаю, как Бог велит, как Бог положит на душу. Пока еще я не могу сойти с кресла без чужой помощи. Когда поправлюсь, то Бог укажет мне путь.

Фабиола, истощив все доводы, убедилась, что Себастьян непреклонен. Тогда она стала придумывать, как бы спасти его, и остановилась на мысли просить императорской милости. Она полагала, что Максимиану можно сказать, что Себастьян бежал

на Восток н возвратнтся, если ему даруют прощение. Она знала, что Макснмиан любнт драгоценные камни, н послала ему в подарок бесценное кольцо, которое хранилось в ее семействе нздавна н переходило по наследству. Она предложила его Максимиану через своего хорошего знакомого, имевшего доступ во дворец, как знак своего уважения н преданности, как память об умершем отце, верном слуге цезаря. Цезарь прннял кольцо милостиво н велел поблагодарить Фабнолу; тогда Фабиола попросила аудненции. Максимиан велел сказать ей, что она может прийти в Палатинский дворец вместе с другими просителями. Обычно он прннимал их, спускаясь по своей парадной лестнице, у которой они его дожидались. Ответ этот не порадовал Фабиолу. Она просила особой аудненцин, а ей предлагали смешаться с толпою просителей н просительннц... Но делать было нечего; она решилась идтн н попытать счастья.

Назначенный день наступил. Фабнола оделась в нзящное траурное платье — она носила траур по отцу — и смешалась с толпою проснтельниц. Их было множество. Все они ждали с замирающим сердцем появлення цезаря. Одно его слово должно было решнть их участь или участь их сыновей н мужей. Все молчалн, все глядели, не спуская глаз, на большие дверн дворца, которые должны былн прн звуках литавр распахнуться настежь перед нмператором. Молчала н Фабиола. Сердце ее сильно бнлось, н она, как н другие женщины, стояла бледная, с легкою дрожью в руках н ногах.

Звук литавр раздался. Дверн распахнулись. Макснмнан медленно сходил по шнроким ступеням лестницы. На его мизннце было надето кольцо, подаренное Фабнолой. Он глядел безжизненными глазамн на толпу проснтелей, прннимал просьбы, бегло взглядывал на напнсанное н, не говоря ни слова, рвал большую часть нз ннх; некоторые передавал своему секретарю, шедшему сзади. Но нн на кого не взглянул, никому не сказал ни одного слова милостн, сострадания н участия.

Настала очередь Фабнолы. Цезарь был уже в двух шагах от нее. Она преодолела свое смущение н подошла к нему. Максимниан протянул руку, чтобы прннять просьбу, как вдруг раздался глухой, но твердый голос: «Максимиан! Макснмнан!» И все — цезарь, Фабнола н толпа — оглянулись туда, откуда он раздался... Фабнола взглянула н обомлела: против нее на почерневшую от временн стену дворца уступом выходил балкончик, н на нем, как прнвнденне, стоял бледный, высокнй, худой, изможденный страданнями человек, закутанный в плащ. Фабнола мгновенно узнала его. Это был Себастьян! Он стоял гордо н спокойно. На темно-снзой стене отчетливо вырнсовывались его золотые волосы, похудевшая фнгура, бледное лицо; нз-под соскользнувшего с плеч плаща вндненлись грудь н рукн в окровавленных перевязках. Себастьян, услышав столь знакомый ему звук труб, возвещавший о выходе цезаря из дворца, встал с кресла, на котором сндел в квартире Ирнны и, движнмый непонятною ему самому силой, быстро прошел коридоры дворца н вышел на небольшой балкон, находнвшнйся невдалеке от комнат Ирнны.

— Макснмиан! — повторил отчетливо н громко Себастьян.

— Кто осмеливается называть меня по имени? — воскликнул тиран, обращаясь к говорившему.

— Я,— ответил Себастьян,— я, спасенный от смерти, чтобы возвестить тебе, что час твой близок! Мера твоих злодейств преисполнилась! Ты обагрил улицы кровью детей Божиих! Ты побросал тела мучеников в волны Тибра! Ты разрушил храмы Бога живого! Ты осквернил алтари Его, расхитил имущества бедных и сирых. За твои беззакония и преступления, за твою гордость и алчность Господь Бог осудил тебя. Рука Его над Тобой! Ты погибнешь насильственнй смертью, и Бог пошлет городу Риму и Церкви Своей императора-христианина. Он поклонится кресту, а ему поклонятся Восток и Запад! А ты кайся, кайся, пока еще есть время. Кайся и моли Бога простить тебя во имя Распятого, служителей Которого ты гнал до сего дня!

Слова прогремели, как гром, и стихли. Цезарь стоял неподвижно, будто пораженный в самое сердце. И он узнал Себастьяна. Он едва верил своим глазам и спрашивал у себя, кто стоит перед ним — призрак или живой человек? Скоро, однако, он опомнился. Его охватила ярость.

— Тащить его сюда! Тащить его! — закричал солдатам.— Гифакс, где Гифакс?

Но Гифакс, находившийся в свите Максимиана, счел за лучшее удалиться. Он был уже на своем внутреннем дворе, среди своих стрелков, и держал с ними совет, что делать и как спастись от беды. Когда посланный цезарем Корвин пришел звать Гифакса, то он нашел все ворота на внутреннем дворе запертыми. Только одни были отворены; он взглянул и остановился: 50 лучших стрелков стояли рядами, натянув тетивы луков и приготовившись стрелять в каждого, кто осмелится войти на внутренний двор. Гифакс со своею женой Афрой стоял против самых ворот.

— Гифакс! — сказал Корвин издали и дрожащим голосом.— Цезарь зовет тебя!...

— Передай цезарю,— ответил африканец,— что мои стрелки поклялись никого не пропускать в ворота нашего двора. Мы застрелим всякого! Пусть цезарь пришлет нам сперва знак милости и прощения. В таком случае мы останемся его верными слугами.

Корвин поспешил передать Максимиану слова африканского начальника. Максимиан знал, что с нумидийцами шутить нельзя и что они составляют его надежную стражу. Ссориться с ними он не захотел.

— Мошенники, лукавый народ,— сказал он.— Поди, отдай Гифаксу это кольцо и скажи ему, что я милостиво прощаю всех!

Корвин побежал изо всех сил и бросил во двор кольцо, залог прощения. В ту же минуту нумидийцы опустили свое оружие. Афра вне себя от радости кинулась поднимать кольцо, но Гифакс ударом кулака оттолкнул ее под смех всего отряда и взял кольцо. Афра отошла в сторону и задумалась: не лучше ли ей было жить у Фабиолы и не променяла ли она одно рабство на другое, более тяжкое?

Гифакс предстал перед цезарем и выпутался из беды очень ловко.

— Если бы твоя божественность,— объявил он Максимиану,— позволила нам вонзить стрелу в его сердце или голову, то он бы не ожил, но ты не хотел, ты сказал: стреляйте, но не убивайте его. Мы повиновались твоей воле. Трудно действовать наверняка при таких приказаниях. Мы расстреляли его, оставили его мертвым, а он ожил!

— Теперь не оживет! Позвать сюда двух солдат из варварских легионов.

Появились два огромных германца с тяжелыми дубинами в руках; одним ударом такой дубины легко было раздробить голову.

— На этих ступенях,— сказал Максимиан, показывая на парадную лестницу дворца,— я не хочу проливать человеческую кровь. Убейте его ударом дубины сразу и без крови! Скорее...

Потом Максимиан, как будто ничего особого не случилось, повернулся к Фабиоле и притворно-приветливо спросил, чем он может быть ей полезен.

Фабиола, бледная как смерть, дрожа всем телом, не упала только потому, что оперлась на колонну; она смогла с усилием выговорить одно слово:

— Поздно!..

— Как поздно? — спросил Максимиан и взял бумагу, которую она держала в руках. Пробежав ее глазами, он воскликнул с гневом:

— Как! Ты знала, что Себастьян жив, и не довела это до нашего ведома? Или ты тоже христианка?

— Нет, цезарь, я не христианка,— сказала Фабиола слабым голосом,— но позволь мне удалиться... я чувствую... мне дурно!..

— Прощай... благодарю тебя за подарок... я отдал его Гифаксу; на его черной руке кольцо будет смотреться еще великолепнее.

Кивнув Фабиоле, Максимиан прошел дальше.

Себастьян умер от одного удара; тело его было брошено по приказанию цезаря в клоаки, куда стекали нечистоты всего города. Император не хотел, чтобы христиане овладели телом мученика. Но и эта предосторожность Максимиана оказалась бесполезной: Люцина, всеми уважаемая христианская матрона, сказала, где надо искать тело Себастьяна, который, по ее рассказам, являлся ей. По указаниям Люцины христиане нашли тело мученика и с честью похоронили его. Теперь на могиле Себастьяна воздвигнута церковь.

XXIX

А что же Фабиола? Смерть Себастьяна нанесла ей жестокий удар. Шатаясь, добралась она до квартиры Ирины и упала в кресло. Вокруг нее все плакали и молились. Но Фабиола не умела молиться, в ее горести было что-то роковое, безнадежное. Она не плакала, а безмолвно сидела, сложа руки, как статуя. Через некоторое время пришел священник и начал тихо разговаривать с Ириной и Дарьей. Фабиола видела, что их лица просия-

ли, будто озаренные надеждою. Ее это ударило так больно, что она встала н, поспешно простясь с хозяйками, отправилась к себе.

Что ее ожидало дома? Пустые, хоть н богатые комнаты, роскошь, угодливость рабынь, но все это казалось ей отвратительным; ни друзей, ни родных у нее не было, а те, которые еще оставались, жили светскою жизнью и не поняли бы ни ее чувств, ни стремлений, ни горя. Она вспомнила об Агнии.

Агния поймет н разделит ее страдания! Фабиола намеревалась послать за ней, когда в комнату вошла Грая и подала ей записку. Фабнола прочла ее и вскочила, как безумная. Она схватила себя за голову, побежала н тотчас, не дойдя до дверей, вернулась назад. Глаза ее блуждали; на бледном лице, казалось, не оставалось ни кровинки. Она не могла произнести ни слова. Грая смотрела на нее со страхом, но не смела задавать вопросов своей госпоже. Наконец Фабнола спросила:

— Кто пpинес записку?

— Солдат,— ответила Грая.

— Позовн его сюда!

Солдат вошел н прн виде окружавшей Фабнолу роскоши с недоумением оглядывался н переминался на одном месте с ноги на ногу.

— Откуда ты? — спросила у него Фабнола.

— Я нз тюрьмы Туллия и состою в страже.

— Кто тебе дал записку?

— Сама Агния.

— Так она в тюрьме? Не может быть! За что? Каким образом?

— Говорят, будто на нее донес Фульвий, обвнняя ее в том, что она христианка!

— Это неправда! Я могу поручиться за нее. Вот тебе за труды, ступай обратно в тюрьму н скажи Агнии, что я сейчас приду к ней.

Фабиола быстро оделась в самое простое платье, накинула плащ и одна отправилась в тюрьму; там ее ввели в отдельную камеру, в которую заключили Агнию.

— Что это значит? — воскликнула Фабнола, бросаясь на шею к своей родственнице.

— Как видншь! Несколько часов тому назад меня задержали н привели сюда.

— Так этот негодяй Фульвнй отважился мстить тебе? Но увидим еще, кто восторжествует! У нас с тобою немало связей. Я сейчас же иду к Тертуллию н расскажу ему обо всем, опровергнув клевету.

— Какую? — спокойно спросила Агния.

— Ту, которую возвели на тебя; будто ты хрнстианка.

— Да, благодарение Богу, я хрнстнанка,— сказала Агния н перекрестилась.

Эти слова уже не поразили Фабнолу. Она уже не дивилась. Разве Себастьян, которого она считала лучшим н умнейшим нз людей, не был хрнстианином? Могло ли удивить ее, что Агния христианка? Агнию она ставнла очень высоко. Она считала ее чистейшею н добрейшею нз всех женщин. Спокойствне, ясность

Агнии также не удивляли ее: такими видела она Ирину и Дарью. Фабиола только содрогнулась при мысли о том, что ожидает Агнию, и опустила голову. Безмолвно стояла она перед своей молодой родственницей.

— Давно ли? — наконец спросила она ее.

— С рождения; мать моя христианка и крестила меня. Меня воспитывали в христианской вере.

— И ты скрывала это от меня и ничего мне не сказала?

— Ах, Фабиола, могла ли я? — ответила Агния.— Вспомни, какие предрассудки укоренились в тебе. Ты приходила в негодование и ужас при одной мысли о христианах, ты верила всему тому, что о нас рассказывали, ты ненавидела и презирала нас.

— Это правда, Агния, но я не знала тогда христиан. Если бы ты и Себастьян сказали мне, что вы христиане, я бы не поверила никакой клевете. Я знала, какие вы люди! Любовь моя к вам оказалась бы сильнее всяких предрассудков...

— Вряд ли! — возразила Агния.— Это теперь тебе так кажется. Сколько умных, сколько добрых людей в Риме верило и верит слухам, которые распускают наши враги.

— Хорошо, Агния, теперь не время рассуждать, надо действовать. Пусть Фульвий докажет, что ты христианка. Доказательств ведь он не имеет?

— Они ему и не нужны. Я уже призналась, и завтра опять публично признаюсь.

— Как! Завтра? — воскликнула Фабиола.

— Да! Меня будут допрашивать, чтобы избежать огласки, так как я принадлежу к одной из самых богатых и благородных фамилий. Чего же ты испугалась? Почему ты смотришь на меня такими страшными глазами?

— Но ведь это смерть! — произнесла Фабиола с усилием.

— Так что же?

Фабиола чувствовала, что сердце ее охватило новое, незнакомое ей доселе чувство; она бросилась на шею Агнии и зарыдала на ее груди.

Но эти рыдания не были ни безотрадными, ни горькими.

XXX

— Так как же? — говорил Корвин своему отцу, сидя с ним поздно вечером.— Ты думаешь, нам нельзя получить все состояние Агнии?

— Едва ли, Фульвий непременно будет требовать значительной его части... Цезарь ненавидит его, подозревает, что он прислан в Рим с Востока, чтобы обо всем доносить... Он не захочет отдать Фульвию такие богатства и, всего вероятнее, возьмет себе состояние Агнии. Однако я придумал другую штуку: я хочу предложить цезарю поступить по закону и отдать все имение Агнии ближайшей ее родственнице, Фабиоле, ревностной поклоннице бессмертных богов. Он, может быть, согласится, чтобы лишить Фульвия богатой награды.

— Но какая же нам будет от этого выгода?

— Остается одно последнее средство: старайся приобрести

благосклонность Фабиолы; скажи ей,что все это устроили мы: ты и я; таким образом поставь себя с нею на дружескую ногу. И потом уж твое дело ей понравиться и получить ее руку.

— Да, кажется, это единственный способ! Но как же ты уговоришь цезаря?

— Я приготовлю декрет заранее и после казни отправлюсь во дворец. Я объясню ему, какой ропот возбудил арест Агнии, уверю, что надо исправить ошибку и отдать ее состояние ближайшей родственнице, что такой поступок вызовет единодушное одобрение. Он алчен, правда, но еще больше труслив. Я припугну его.

— Да, хорошо, если удастся. Вся моя будущность зависит от того, примет ли Фабиола мое предложение. Да и отчего бы не принять? Я сын префекта, сын одного из первых лиц в городе.

— Уж это твое дело,— сказал Тертуллий, вставая.— Постарайся добиться успеха хоть раз в жизни. До сих пор нельзя сказать, чтобы ты был очень счастлив в своих предприятиях.

Корвин, полный раздумий, расстался с отцом. Между тем другой разговор, столь же важный, происходил в комнате Фульвия.

— Так она схвачена,— говорил старик,— стало быть, вышло по-моему. Я еще раньше говорил тебе, что ты напрасно домогаешься ее руки, что не пойдет она замуж за тебя, иностранца, человека без имени и положения. Теперь надо знать, удастся ли другой твой план.

— Конечно, должен удасться. Часть ее состояния принадлежит мне по праву. Отыскавший и предавший христианку по закону берет все ее состояние себе, а я буду требовать только половины... признаюсь, однако, что мне жаль эту девушку... она так молода... так кротка...

— Слушай, Фульвий,— сказал старик серьезно,— теперь поздно и бесполезно говорить сантименты. Знаешь ли ты, кто я?

— Разумеется, знаю: слуга, верный товарищ, почти друг моего отца.

— Нет, я родной брат его, твой дядя. С самого раннего возраста я помышлял только о том, как бы приобрести те богатства, которые расточал твой отец. Я долго льстил себя надеждою, что мой младший брат, твой отец, способен при помощи различных предприятий нажить состояние, и оставил его заниматься делами. Я занялся твоим воспитанием и не щадил себя для того, чтобы приобрести тебе видное место в обществе и богатство. Ты помнишь, что мы ни от чего не отступали для того, чтобы в одних руках сосредоточить состояние, оставшееся после смерти твоей матери.

Фульвий закрыл лицо руками и содрогнулся.

— Пожертвовав стольким, мы не можем остановиться на полдороге: надо довершить начатое. Мы связаны неразрывно. Нам надо возвратиться на родину богачами или умереть здесь. Я не хочу и не допущу, чтобы ты жил нищим...

Фульвий не отвечал ни слова. Старик продолжал:

— Завтра для нас решительный день. Мы сразу можем достичь цели; сразу можем приобрести огромное состояние. Положим, что цезарь не откажет нам в нем; что ты намерен делать?

— Я продам все как можно скорее, заплачу долги и уеду на Восток.
— А если он откажет?
— Это невозможно, невозможно! — воскликнул Фульвий.— Я дорогою ценою заплатил за это состояние и возьму его!
— Тише! Тише! А если его не отдадут?
— Тогда я пропал. Долги мои велики; я рассчитывал на состояние Агнии, чтобы заплатить их. Мне остается только одно — бежать.
— Хорошо; значит, надо готовиться и к этому. Спи спокойно. Завтра, если тебе не посчастливится, все будет готово к бегству. Положись на меня, я все устрою. И никогда тебя не оставлю. Признайся, не будь меня, ты бы не сумел ничего обделать?
Фульвий не ответил ни слова и с мрачным лицом ушел в свою комнату.
На другой день рано утром Фульвий пришел к воротам тюрьмы. Тюремный сторож ввел его в комнату Агнии. Она не испугалась, но встала и стояла перед ним, сложив руки на груди.
— Оставь меня умереть спокойно,— сказала она ему тихо.— Мне остается несколько часов; я бы хотела провести их в мире и одиночестве.
— Я пришел предложить тебе еще раз жизнь, полную счастья. Судьба твоя в твоих руках. Скажи слово, и ты будешь вырвана отсюда, спасена, окружена в продолжение всей жизни роскошью и любовью.
— Разве я уже не сказала тебе, что я христианка и не отступлю от моей веры?
— Я не требую этой жертвы. Оставайся христианкой, но согласись быть моей женой; по одному моему слову двери эти растворятся. Беги со мной на Восток. Там много христиан, и ты...
— Я не могу быть женой человека, который предал моих братьев и сестер на смерть. Оставь меня!
Фульвий вышел из себя. Глаза его засверкали, щеки вспыхнули.
— Несчастная! — воскликнул он.— Ты призываешь смерть, и ужасная смерть постигнет тебя! Не говори же, что я убил тебя,— ты сама себя убила!

Фабиола пришла к Агнии и удивилась ее спокойствию и кротости. Глаза Агнии казались добрее, задумчивее обыкновенного. Все в ней дышало благородством и чувством собственного достоинства. Она встретила Фабиолу приветливо, с какою-то гордою осанкой, которой прежде Фабиола не замечала в ней. Нежная любовь Фабиолы к Агнии изменилась, но к ней добавилось чувство уважения, столь глубокое, что если бы она уступила своему первому порыву, то бросилась бы не на шею к ней, а к ее ногам.
— Фабиола,— сказала Агния ласково, но торжественно,— у меня есть к тебе просьба, последняя, предсмертная, исполни ее.
— Приказывай,— сказала Фабиола,— я не стою того, чтобы ты просила меня.
— Обещай мне, что после моей смерти ты найдешь священни-

ка и попросишь его наставить и просветить тебя. Я знаю, что ты станешь христианкой!...

— Сейчас, когда я вижу тебя, мне самой это кажется возможным,— сказала Фабиола.— Помнишь ли ты мой сон? Вот бездна, через которую я должна перейти, чтобы соединиться с тобой и твоими... но не могу быть такою, как ты... Ах, зачем ты оставляешь меня? Ты бы повела меня по новой дороге...

— У тебя будут руководители более достойные, чем я. Наши епископы и священники просветят твой ум. Доверься им, слушай их, и ты будешь спасена в этой и будущей жизни!.. Но что это?.. Солдаты идут по коридору. Прощай, Фабиола, прощай, милая сестра моя! Я уношу с собою надежду, что мы свидимся там, где нет печали. Мое последнее тебе слово: Господь с тобою! Я произношу его в первый раз, обращаясь к тебе.

Агния перекрестила Фабиолу. Фабиола упала на колени и целовала с рыданиями руки Агнии...

Судья сидел на своем кресле посреди Форума. Вокруг него, несмотря на ранний час, толпились любопытные. Среди них почти все заметили в тот день двоих (мужчину и женщину). Мужчина стоял, прислоняясь к колонне, закутанный в плащ, перекинув конец его за плечо, так что плащ скрывал почти все его лицо; женщина, высокая, стройная, благородной наружности, стояла, накинув длинную, расшитую золотом и шелками мантию, которая обвивала ее стан и величественными складками падала к ее ногам. Лицо ее было скрыто под длинным, густым покрывалом. Эта мантия походила по своей роскоши и изяществу на порфиру. В публике говорили, что такой благородной даме, какою казалась богато одетая незнакомка, неприлично находиться на площади в день казни. Рядом с неизвестной женщиной, одетой в дорогую мантию, стояла рабыня. Она, как и госпожа ее, скрывала свое лицо под густым покрывалом. Неподвижно, как статуи, стояли они обе, опираясь о мраморную тумбу.

Агнию ввели на Форум.

— Почему на ней нет цепей? — спросил префект.

— Не нашли нужным, она смирна, как овечка, и идет за нами покорно,— сказал начальник стражи.

— Надеть цепи! — отрывисто приказал префект.

Палач выбрал самые маленькие наручники и надел их на руки Агнии. Она грустно улыбнулась, опустила руки, и цепи, гремя, упали к ее ногам. Руки ее были так малы, что они свободно проходили в наручники.

— Самые маленькие, других нет,— сказал палач,— она еще ребенок, какие тут цепи! — прибавил он сквозь зубы.

— Молчать! — закричал префект, и обратился к обвиняемой.

— Агния! — сказал он повелительно.— Из уважения к твоему полу, летам и учитывая дурное воспитание, которое ты получила с детства в христианской секте, я хочу спасти тебя. Подумай, прежде чем ответишь: откажись от ложного и вредного христианского учения и поклонись богам Рима.

Ей поднесли чашу с вином.

— Вылей ее только перед статуей Юпитера,— сказал ей один из солдат, сжалившись над нею,— вылей ее только! Они подумают, что ты отрекаешься, и отпустят тебя.

— Вылей ее только,— говорил ей сзади женский голос,— и подумай, что хочешь,— тебе не помешают, бедняжка.

На лице Агнии выступил румянец, на глаза навернулись слезы; префект ждал, солдат держал перед ней чашу с вином и почти насильно всовывал ей в руки. Одно движение — и она спасена! Она войдет в свой дом, увидит старую мать... отца... друзей... Агния глядела на чашу пристально и вдруг протянула руку... но не взяла ее, а тихо отстранила от себя.

— Я не покривлю душой,— сказала она твердо,— я, христианка, презираю ваших богов и верю в единого истинного Бога!

— Казнить ее мечом!.. Сию минуту!

Агния подняла руки к небу, опустилась на колени и склонила голову. Она взяла своими тонкими пальцами пряди длинных волос, разделила их на две части и свесила на грудь. Все замерли. Палач почувствовал, что его рука может дрогнуть... Девушка стояла перед ним на коленях, склонив покорно голову, со сложенными на груди руками, чья белизна так контрастировала с золотом роскошных волос. Палач схватил меч решительным движением, будто хотел скорее покончить с надрывающей душу сценой. Меч блеснул, как молния... и девушка-дитя упала мертвой. Белое платье подернулось пурпуровыми волосами...

Женщина, стоявшая вдали у колонны, услышав ропот толпы, вздрогнула и бросилась вперед. Она прошла через толпу прямо к убитой, сняла с себя богатую мантию и покрыла ею тело страдалицы. Отовсюду раздались рукоплескания. Толпе понравился этот знак женской нежности; но дама не двигалась с места. Обратясь к судье, она сказала:

— Префект! Я прошу милости. Да не притронутся руки посторонних к той, которую я любила больше всего на свете! Позволь мне взять ее тело, отнести его домой и похоронить там, где лежат ее предки.

— Не могу исполнить твою просьбу,— грубо ответил ей префект.— Катул! Прикажи сжечь тело и бросить пепел в реку. Для казненных христиан не может быть честного погребения.

— Умоляю тебя,— продолжала Фабиола (это была она),— вспомни, что у тебя есть дочери, сестры; поставь себя на мое место.

— Ты что, христианка? — спросил префект.

— Нет, я не христианка, но признаюсь, что зрелище, свидетельницей которого я была только что, может всякого заставить принять христианскую веру.

— Что ты хочешь сказать? — воскликнул префект.

По толпе пробежал ропот негодования.

— Да,— продолжала Фабиола с силою,— если для охранения религии в империи необходимо убивать таких людей, каковы были те, которые погибли недавно, и награждать таких извергов, как этот, то религия нашей славной империи и сама империя погибли!

И Фабиола показала на закутаниого в плащ мужчнну.

— Да,— продолжала она,— этот человек погубил ее, потому что она не хотела сделаться его жеиою.

— Она лжет! — закричал Фульвнй, открывая лицо и одним прыжком очутившись рядом с Фабиолой.— Она лжет! Агния сама призиалась, что оиа христиаика!

— Я несколькимн словамн обличу тебя, Фульвнй! Разве ты сегодия утром ие был в тюрьме и ие предлагал ей бежать? Я подтвержу мои слова клятвой.

— Если это справедливо, Фульвнй,— сказал префект,— а твоя бледность и твое смущеиие выдают тебя, то я мог бы иаказать и тебя... Но я ие хочу твоей гибели. Исчезнн н не показывайся на глаза властям города. Как твое имя? — спросил префект уже благосклонно у стоявшей перед иим женщины.

— Фабиола,— ответила она.

Лицо префекта просияло; ои стал столь же льстивым, сколь раиее был высокомереи.

— Я часто слышал о тебе, о твоих достоииствах. Ты блнзкая родственница (префект затруднялся, как назвать Агнию, и иаконец придумал) иесчастной... (ои показал иа тело). Ты вправе требовать, чтобы ее останки были вручены тебе!

Фабиола подала знак; иевольннца, сопровождавшая ее, подозвала четырех рабов, которые несли закрытые иосилки. Онн приблизились к телу Агнин, но Фабиола отстранила их, подозвала Сиру, стала с ней иа колени и, рыдая, подияла тело. Они положили его иа ковры и иа подушки носилок н опять покрыли богатою маитиею. Рабы поднялн иосилкн и поиесли тело в дом родных Агнии. За телом шли плачущие Сира и Фабиола. По дороге к ним присоединилась рыдавшая девочка.

— Кто ты такая? — спросила у иее Фабнола.

— Эмеренция, ее молочная сестра,— ответила девочка.

Фабнола взяла ее за руку и повела за собою.

XXXI

После убнйства Агнии Тертуллнй поспешил явиться к Максимиану. Ои встретнл Корвнна во дворце с заранее заготовленным эдиктом. Префекта тотчас пропустили к императору. Ои рассказал о смерти Агнии, о впечатленин, которое казнь пронзвела на публику, и о ропоте, который оиа вызвала; во всем этом главным виновником, по словами Тертуллия, оказывался Фульвнй. Тертуллий не сказал, впрочем, ни слова о том, что Фульвнй предлагал Агнии спасти ее и бежать с иею, лишь бы оиа согласилась выйти за него замуж. Рассказывать такие вещи цезарю было опасно. Ои мог бы иачать следствне, а следствие могло бы открыть другие предпрнятня, в которых прннимал участне сам Тертуллий. По этим-то соображеииям он молчал об нитрнгах Фульвня и ограничился порицаиием его образа действий при поисках хрнстиаи. В заключение он сказал:

— Вообще Фульвий иам непригоден. Ои слишком запальчив и опрометчив. Ои всегда действует необдуманио, задерживает людей самых влиятельиых, ианболее любнмых публикою и пре-

дает их нам. Мы должны судить, мы должны осуждать... казнить... а он в стороне. Хоть бы дело Агнии; стоило поднимать его! Девочка шестнадцати лет, хорошенькая, знатной фамилии. Теперь по всему Риму ропот, рассказы, сожаления. Знаешь ли, что многие говорят: что если такими убийствами необходимо поддерживать религию и неприкосновенность бессмертных богов, то конец близок...

На лице Максимиана мелькнуло невольное выражение ужаса и гнева, и Тертуллий, поняв, что зашел слишком далеко, поспешил перейти к другому предмету.

— И что принесла нам смерть Агнии? Ровно ничего! Богатство ее, о котором так кричали, совсем невелико. Земли стоят необработанными, запущенными; капиталов нет, притом у нее есть родственница, знатная римлянка Фабиола, отец которой всю жизнь свою ревностно служил цезарям. Лишать ее наследства опасно. В публике начнется ропот.

— Я знаю ее,— сказал Максимиан.— Она поднесла мне дивное кольцо... Что ж, пусть вступает во владение имением... это, быть может, утешит ее; смерть Себастьяна, кажется, очень ее встревожила... Заготовь эдикт, я подпишу его.

Тертуллий тотчас подложил ему заранее приготовленную бумагу и объяснил, что сделал это потому, что не сомневался в великодушии и щедрости цезаря. Цезарь подписал свое имя; Тертуллий взял эдикт и вручил его с торжеством своему сыну.

Едва Тертуллий и Корвин вышли из дворца, как туда явился Фульвий и попросил аудиенции. Всякий, кто бы увидел его, ожидающего приема в зале дворца, понял бы, что он не в силах преодолеть своей тревоги. Действительно, положение Фульвия было весьма опасно. Оставаться в Риме ему было невозможно. Фабиола публично нанесла ему такой удар, от которого трудно, почти невозможно было оправиться. Одного слова цезаря достаточно было, чтобы самого его предать в руки римского правосудия, а он хорошо знал, каково оно!.. Не только Фульвий, имевший за собою множество нечистых дел, но и справедливейший и честнейший из смертных не мог бы спасти свою голову от судей, всегда заранее знавших, желает ли цезарь осуждения или помилования подсудимого, и решавших дело в соответствии с его желанием.

Фульвий пришел узнать, на что ему надеяться и может ли он получить состояние Агнии, единственную надежду для будущей спокойной жизни на родине.

Наконец его ввели в приемную залу; он подошел к трону с льстивою улыбкою и стал на колени.

— Что надо? Ты зачем? — закричал цезарь.

— Я пришел просить твоей милости. Закон дает мне часть из наследства христиан, которые открыты моими стараниями... Агния раскрыта мной, и я умоляю тебя, цезарь, отдай мне ее состояние, я заслужил его своими трудами...

— Напротив, ты не заслужил ничего, кроме моего гнева; все, что ты делал, ты делал неосмотрительно, неосторожно, с оглаской. Ты своими безрассудными действиями возбудил в Риме всеобщее неудовольствие и ропот. Я не намерен дольше терпеть

тебя здесь. Ты мне больше не нужен! Убирайся отсюда как можно скорее! Слышишь? Я не люблю повторять приказаний.

Всегда беспрекословно повинуясь цезарю, Фульвий на этот раз ответил с решимостью отчаяния:

— Но да позволит цезарь заметить ему, что я нахожусь в самых стеснительных обстоятельствах. Исполняя поручение цезаря, я прожил все, что имел прежде. Пусть мне дадут законную часть состояния Агнии, и я немедленно выеду из Рима. Я понимаю, что я не нужен здесь больше. Римские христиане все казнены или сидят в тюрьмах; другие разбежались. Дело сделано.

— Хватит! — воскликнул Максимиан. — Убирайся из Рима. Что же касается состояния Агнии, то мы отдали его законной наследнице, ее близкой родственнице Фабиоле, известной добродетелями и преданностью нашим богам.

Фульвий не произнес больше ни слова. Он поцеловал руку императора и вышел из дворца. Он сознавал, что погиб. Злоба, жажда мщения, ярость кипели в нем.

— Нищий! Я нищий! — твердил он сам себе, идя домой. — И все она, везде она! На вилле Агнии она помешала мне, почти выгнала меня вон — и с каким презрением! Вчера она обличала меня, и с какою злобою, с какою дьявольскою ловкостью! А нынче она же заслала кого-то к этому тирану и обобрала меня.

— Ну что? Вижу — все пропало! — воскликнул Эврот, встретив Фульвия и прочитав у него на лице волновавшие его чувства.

— Все, решительно все! Приготовления кончены? Можем ли мы ехать немедля?

— Уехать можно. Я продал драгоценности, рабов и мебель. Денег этих хватит, чтобы доехать до Азии. Я оставил только Стабия, который необходим нам в путешествии. Две лошади готовы, одна для тебя, другая для меня. Оставим скорее этот дом, чтобы ростовщики, чего доброго, не проведали и не остановили нас.

— Дожидайся меня за воротами города. Если же я не приду через два часа после захода солнца, то и не жди.

Эврот пристально поглядел на племянника, стараясь прочесть на его лице, что он намерен предпринять, но напрасно. Фульвий был бледен, но спокоен и невозмутим. Решение было принято. Разговаривая с Эвротом, он снял с себя богатое придворное платье и надел простую дорожную одежду.

Днем и ночью чудилась Фабиоле Агния в белом платье, на коленях, покорно склоняющая голову под удар меча. Она не могла отогнать от себя этих воспоминаний, не могла плакать, не умела молиться и впала в мрачное отчаяние, смешанное с озлоблением. Она заперлась в самых отдаленных комнатах своего дома и там, без слов, часто без мыслей, часами сидела неподвижно и безмолвно. Когда огорченная кормилица входила к ней, Фабиола отрывисто приказывала ей удалиться. Даже Сира, которую она особенно любила и которая после смерти Агнии не оставила ее, не могла заставить ее говорить; Фабиола молча

слушала ее увещевания, но не отвечала на ее вопросы или отвечала так, что Сира пугалась. Слова Фабиолы дышали жаждою мщения. Сира плакала и молилась за Фабиолу, просила Бога смягчить ее сердце, просветить ее ум. Напрасно предлагала ей Сира привести к ней христианского священника или Ирину. Фабиола не хотела и слышать о них. Что было общего между нею и христианами? Христиане покорно переносили страшные несчастья и потерю своих близких, а она не могла ничего переносить с покорностью, она возмущалась и проклинала; христиане молились за врагов, а она их ненавидела, презирала и отомстила бы, если бы только могла. Если бы могла!.. Сознание своего бессилия угнетало ее. И могло ли быть иначе?

У нее не осталось никого. Из приятелей ее отца (как страшно было в том признаться) остался Тертуллий и подобные ему жестокие мучители христиан, люди-звери!.. Тертуллий, казнивший Агнию! Корвин, Фульвий, близкие знакомые ее отца, злодеи, из-за денег предавшие людей на страшную смерть! И все другие ее знакомые не рукоплескали ли в цирке, взирая на мученическую смерть христиан? Фабиола содрогалась при одной мысли, что они посетят ее, протянут ей руки... Если не делом, то одобрением участвовали они в казнях... Эти руки казались ей обагренными кровью погибших. Нет, она не хочет их видеть! В целом Риме не осталось никого, с кем бы она могла поделиться мыслями и чувствами... Прошло то время, когда она не обращала внимания на нравственные качества гостей, предаваясь в шумном обществе светским удовольствиям. Все это теперь казалось ей таким ничтожным, таким суетным; все они были ей так чужды! Она знала, что многие приходят посещать ее, но она приказывала не пускать к себе ни под каким видом решительно никого. Что могла она иметь общего с этими легкомысленными, жестокими или ослепленными ненавистью людьми, которые рукоплескали и радовались гибели тех, кого она научилась любить и уважать... Бедная Фабиола презирала язычников или гнушалась ими и не принадлежала еще к христианской общине — словом, она очутилась одна. Правда, вдали блестел слабо луч света, но она не решалась, не имела силы направиться к нему...

Дни шли за днями; они тянулись однообразно. Она не считала их. Ей казалось, что целая вечность прошла с тех пор, как не стало Агнии. Однажды утром Сира доложила ей, что пришел посланный от императора. Всемогущее слово «от императора» отворяло все двери. Фабиола встала с усилием с кушетки, на которой лежала, наскоро поправила волосы и одежду и приказала ввести посланного.

В комнату робко вошел Корвин. Фабиола приняла его холодно и надменно. Он длинно и запутанно объяснял ей, что принес декрет, дарующий ей состояние Агнии, что он и его отец приложили к этому немало сил.

— Я знаю,— продолжал Корвин,— как ты любила Агнию, но я полагал... что, как христианка, она не стоит твоих слез, твоего сожаления...

— Оставь это, прошу тебя,— сказала Фабиола.— Что тебе нужно?

— Мне так тяжело глядеть на тебя. Во всех чертах твоих отражается такое горе, что у меня не хватает слов, чтобы выразить тебе свое участие. Я так давно, так искренне предан

тебе. Если бы ты только позволила мне надеяться, что со временем мне выпадет счастье заставить тебя позабыть... о твоем горе. Отец мой был другом твоего отца... Позволь сыну, сердце которого давно прннадлежит тебе, посвятнть тебе всю свою жизнь!.. Я пришел предложить тебе мою руку.

— Я очень больна,— ответила Фабиола,— н не в состоянии выполнить моей обязанностн — благодарить цезаря за его милости. Передай ему мои слова н мою благодарность.

Она поклонилась, давая тем понять, что хочет остаться одна, но Корвин не хотел выйти и продолжал:

— Я должен тебе сказать, что милостью цезаря ты обязана мне н моему отцу. Мы за тебя ходатайствовали н думали, что...

— Напрасно,— сказала Фабиола,— вы себя обольщали несбыточными надеждами. Агния была моей родственницей, н закон дает мне право на ее состояние. Конфнскация в этом случае невозможна.

— Однако...— начал Корвнн.

— Довольно, прошу тебя. Ты видишь, что я нездорова и ие могу говорить ии о чем. Оставь меня, сделай одолжение...

Корвнн поклонился н вышел. Он еще питал надежду позднее достичь своей цели.

Фабнола, оставшись одна, задумалась.

«Надеюсь, что я видела в последний раз этого гнусного человека,— сказала она сама себе.— В другой раз он не посмеет именем цезаря проникнуть ко мне...»

В эту минуту у дверей раздались мужские шаги... Фабиола прислушалась. Они прнближались. Занавес дверей зашевелился, и перед нею оказался Фульвий. Она вздрогнула и вскочила.

— Фульвий! — воскликнула она.— Фульвий! И ты осмелился переступить порог моего дома? Вон отсюда, вон! Я не хочу дышать одним воздухом с тобою, я не хочу, чтобы нога твоя оскверняла дом мой, убийца! Предатель!

— Я пришел в последний раз, хотя и не в первый. Вот уже пять дней я прихожу, н меня не впускают. Сегодня посчастливилось. Имя цезаря, пронзиесеиное Корвином, очистило дорогу и мне. Не зови... никого нз твоих слуг вблизн нет. Выслушай меня. Я хотел жениться на Агнии...

— Мерзавец! — воскликнула Фабиола, прерывая его.

— Подожди! Отец твой сам подавал мне надежды, вспомни! Если я не преуспел, то обязан этим и твоему вмешательству. Ты выгнала меня,— да, выгнала,— нз ее виллы. Несколько дней тому назад ты публично обвинила меня н в довершение ко всему захватила состояние Агнии, ограбила меня, погубила все мое будущее, уничтожила иадежду иа спокойную жизнь! Я тебе ничего не сделал, но ты меня преследовала и разрушила мое счастье!.. Но я все забуду, все прощу, если ты согласишься добровольно отдать мне половину того состояния, которое принадлежит мне по праву. Я пришел требовать его. Подумай... мое счастье, мое будущее зависит от тебя. Поделимся тем, что ты бессовестно успела захватить для себя одной. Ты обокрала меня; отдай часть украденного!

— Как! В моем доме ты осмеливаешься оскорблять меня, ты, покрытый кровью несчастной Агнии, отваживаешься требовать цену за ее кровь! От кого! От меня!

— Тебе состояние Агнии досталось легко, а я трудился, рабо-

тал, мучился, искал, ни дием ни ночью не знал покоя... Наконец, иа меня же взваливают ответствеиность за кровь христиаи, пролитую по приговору судей... Согласись, что все это жестоко... и я должен быть возиагражден за все, что здесь вынес...

— Замолчи! Слова твои ужасны. Я не посылала никого к императору, не требовала никакого иаследства... и если получила его, то по закону... Не я буду платить тебе за кровь Агнии... Проси деиег у палачей, которым ты предал жертву!... Избавь меня от своего присутствия...

— Это твой последний ответ, твое последнее слово? Подумай хорошенько.

— Последиее слово: оставь меия!

— Проклятая! — воскликнул Фульвий и бросился иа нее с кинжалом.

Но Фабиола была сильиа и мужественна. Она успела схватить его за руки. Между ними завязалась борьба... Постепенио Фабиола чувствовала, что ее силы слабеют; оиа упала иа пол. Но в это самое мгновение Фабиола услышала крик и слова иа иезиакомом языке. Потом оиа почувствовала, что какая-то тяжесть придавила ее и что по груди потекло что-то горячее.

Фабиола собралась с силами. Оиа раскрыла глаза и увидела бледиого, дрожащего Фульвня. У его иог лежал окровавленный кинжал!

— Сестру! Сестру! — произиес ои безумным голосом и выбежал нз комиаты.

Фабиола с усилием оттолкнула то, что ее придавливало, н поднялась, ио упала опять с громким криком ужаса. Перед иею вся в крови и без чувств лежала Сира.

На вопль Фабиолы со всех коицов дома сбежались иевольницы. Фабнола остаиовила их у дверей и впустила только Евфросинию и Граю. Они подняли Сиру и отнесли ее иа постель Фабиолы, в ее спальню. Через иесколько минут Сира открыла глаза. Фабиола послала за врачом, жившим в доме Агнии. То был христианский священник Дионисий.

Он пришел немедлеиио и объявил, что ие считает рану смертельной. Выяснилось, что иесчастная Сира, услышав громкий разговор, а потом шум, вбежала в комнату и бросилась между Фабиолой и убийцей. Удар пришелся ей прямо в грудь; уже раненая, оиа упала на Фабиолу и прикрыла ее собою. При виде лица девушки, при виде ее крови Фульвий был поражеи ужасом и с криком выбежал из дома.

Придя в себя, Сира горько плакала и ие хотела никому объясиять причины своих слез. Фабиола решила ни о чем ее не расспрашивать и не отходила от нее.

Дионисий приходил каждый день и часто беседовал с Сирой. Когда ои уходил от нее, Фабиола замечала, что глаза иевольницы, покрасиевшие от слез, виовь оживали, и лицо ее стаиовилось умиротворенным. Когда Сира иачала медленно поправляться, Фабиола подолгу с ней беседовала. Болезнь Сиры, ее самопожертвование, терпение н кротость смягчили сердце Фабнолы: оно будто растаяло. Отчаяние уступило место скорби, а скорбь вызвала слезы воспомииания о милых умерших..

Мы ие будем подробио рассказывать читателям о беседах Фабиолы и Сиры... Сира иастойчиво просила Фабиолу поговорить с Диоиисием.

— Он священник,— сказала она,— и научит тебя лучше, чем я. Он на все ответит, все объяснит и истолкует.

Фабиола обещала Сире просить Дионисия рассказать ей об основах христианской религии, лишь только Сира поправится от болезни... Но Сира не поправлялась. Рана ее закрылась, но силы не возвращались. Жар сменялся ознобом. Она страшно кашляла. Однажды Дионисий объявил Фабиоле, что считает Сиру неизлечимой. Новый удар! Новое горе! Но Фабиола научилась уже покоряться со смирением и кротко приняла весть о предстоящей потере. Сира просила ее чаще оставаться с нею, рассказывала ей священную историю и земную жизнь Спасителя. Фабиола слушала, затаив дыхание и с замирающим сердцем.

Утомленная разговором, Сира заснула, а Фабиола сидела у ее изголовья, и сердце ее было преисполнено любви. Она начинала понимать христианское учение. Перед нею лежала умирающая Сира, которая дважды пострадала ради нее, пожертвовавшая собой ради той, которая когда-то ранила ее. Два раза кровь Сиры лилась за Фабиолу! Сколько любви, какая великая душа у этой рабыни! Рабыни!.. Но разве эта невольница не была лучше, в тысячу раз выше, добрее ее, благородной гордой римской патрицианки!

Так думала Фабиола.

Когда Сира проснулась, она увидела госпожу распростертою у своих ног и горько рыдавшую. Сира поняла, что Фабиола победила свою гордость и смирилась. Сира благодарила Бога за обращение Фабиолы. Это обращение стало полным только тогда, когда Фабиола поняла, что невольница и патрицианка равны перед создавшим их Богом, что слезы покаяния вымаливают прощение, что гордость противна Богу, что любовь — источник счастья и путь к спасению.

На другой день, когда Дионисий вошел в комнату Сиры, она сказала ему, указывая на Фабиолу:

— Отец мой, вот новообращенная, которая желает вступить в лоно нашей Церкви.

Фабиола, не произнося ни слова, стала на колени и смиренно склонила голову; священник положил ей руку на голову и сказал:

— Господь привел тебя в дом Свой, да будет благословенно имя Его!

Тогда Фабиола встала и, обратясь к Сире, сказала:

— Теперь я могу назвать тебя сестрою!...

Сира, плача от радости, обняла Фабиолу, и обе они плакали радостными слезами.

Евфросиния и Грая тоже обратились в христианскую веру. Дионисий учил их и подготавливал к принятию св. крещения.

XXXII

Сира рассказала Фабиоле историю своей жизни.

За несколько лет до начала нашей повести жил в Антиохии богатый, знатный человек, вступивший в брак с женщиной, вскоре ставшей христианкой. У них родились сын и дочь: сын — Оранций, дочь — Мариам. Мать воспитывала их в христианской вере. Оба ходили с нею в церковь и, таким образом, много знали о жизни христиан и об их учении. Дочь крестилась, но сын не

хотел об этом и слышать. Он любил удовольствия, праздную жизнь, игру, пиры и разделял все вкусы своего отца-язычника. Ему был двадцать один год, когда мать его умерла. Она предвидела, что муж ее неминуемо разорится, ибо он жил не по доходам, и, умирая, оставила все свое имение дочери. Она приказала ей беречь его для бедных больных христиан.

Вскоре после ее смерти отец Мариам действительно разорился и умер. Жадные ростовщики захватили оставшееся после него имущество и продали на уплату долгов. Тогда Эврот, брат отца Мариам, возвратившись из далекого путешествия, уплатил долги племянника из своего небольшого капитала и постепенно приобрел над ним неограниченную власть. Он внушал Оранцию, что сестра — причина его несчастия, что она богатая, но безумно тратит свои деньги на пособия низким и порочным людям. Мариам предлагала брату и дяде жить с ней, но не хотела отдать им всего состояния. Они же требовали, чтобы она отдала им все, но она, помня приказание матери, твердо отказала. Не для себя желала Мариам сохранить богатство, но для бедных, завещанных матерью ее попечениям. Тогда дядя и брат объявили, что если она не исполнит их требования, то они не пощадят ни ее, ни ее единоверцев. Оба они знали поименно многих христиан Антиохии, многих священников и епископов. Они клялись, что предадут их в руки властей. Мариам была убеждена, что это не просто угроза, и отдала им все, что имела, и таким образом выкупила своим состоянием жизнь тех, которых считала братьями во Христе... Но с тех пор жизнь под одной крышей с братом и дядей стала ей невыносима. Она пожелала уехать в Иерусалим. Брат и дядя были очень обрадованы ее намерением, заплатили за место на корабле и даже дали ей на дорогу небольшую сумму. Из дома матери Мариам не взяла ничего, кроме дорогого, шитого жемчугом покрывала. Оно служило еще ее матери для покрова св. Даров, ибо епископы, принимая во внимание беспрестанно грозившую христианству опасность вторжения язычников в храм, разрешали христианам хранить св. Дары дома.

Когда корабль вышел в открытое море, он поплыл не к берегам Малой Азии, а в противоположную сторону. Капитан отказался отвечать на ее вопросы. Разразилась жестокая буря. Корабль погиб у одного из островов, погибли и пассажиры, и экипаж. Каким-то чудом, с покрывалом на груди, спаслась только Мариам; она была схвачена местными жителями и уведена в глубь острова. Вскоре Мариам была продана богатому семейству, увезшему ее в Малую Азию; оттуда за большие деньги ее перепродали римлянину, искавшему по поручению Фабия умную, честную невольницу для Фабиолы. Таким образом Мариам под именем Сиры попала в Рим. Случайно найдя драгоценное покрывало в сенях дома Фабия, Фульвий был поражен находкой и тотчас спрятал его.

После отъезда сестры из Антиохии Фульвий пустился в различные предприятия и вскоре разорился; не пошло ему на пользу и отнятое у сестры состояние. Тогда по совету дяди он принял поручение цезаря, управлявшего Востоком, и отправился в Рим в качестве шпиона. Дальнейшие обстоятельства его жизни нам известны.

XXXIII

Мариам не поправлялась; она все больше и больше слабела. Фабиола ухаживала за нею, как за родной сестрой, но заботливый уход, помощь врача — все было напрасно. Дни ее были сочтены. Фабиола, надеясь ее спасти, увезла ее в Номентану, на виллу Агнии. Наступила весна. Кушетку, на которой лежала Мариам, подвигали к окошку или выносили в сад; Мариам, окруженной друзьями, цветами, в живительном воздухе весны, казалось, грустно было прощаться с жизнью именно в ту минуту, когда жизнь наконец улыбнулась ей.

Однажды в чудесный весенний день Эмеренция, которая жила у Фабиолы и стала ее любимицей, играла на лугу с огромным псом. Молосс не забыл Агнии: при ее имени он поднимал морду, насторожив уши, и махал хвостом. Фабиола сидела у ног лежавшей Мариам, бледной и худой, хотя на щеках ее горел яркий румянец, верный признак неизлечимой болезни. Мариам после долгого молчания обратила свой усталый взор на Фабиолу и спросила у нее:

— Что ты намерена делать, милая сестра, когда я тебя оставлю? — Мариам в первый раз заговорила о своей близкой смерти. Фабиола заплакала.

— О, нет! Нет! — сказала она. — Мы будем молиться, и Бог сохранит тебя для нас. Я надеюсь, что ты поправишься. Теплый весенний воздух оживит тебя. Поедем в Кампанью, на мою виллу, там еще теплее.

— Напрасно, все напрасно! Бог судил иначе. Благослови имя Его вместе со мною!

Фабиола, казалось, боролась с собою. Но наконец она преодолела себя, перекрестилась и сказала:

— Да будет воля Божия!

Потом, помолчав, прибавила:

— Скажи мне свою волю! Что должна я сделать, когда... когда...

Фабиола не договорила, слезы душили ее.

— Когда я умру, — докончила Мариам спокойно, — похорони меня рядом с Агнией, молись за меня и за нее и проси Бога, чтоб Он услышал мою последнюю, предсмертную молитву... о раскаянии и спасении моего несчастного брата!.. Отдельно я тебе никого не поручаю. Теперь ты всех знаешь и не оставишь в нужде наших братьев.

В тот же день Мариам исповедалась, причастилась и через несколько дней тихо скончалась.

ЭПИЛОГ

Свои богатства Фабиола употребила на приюты, больницы, христианские школы и странноприимные дома. Она посвятила себя уходу за больными и делами милосердия. Недолго пришлось ей устраивать богадельни и больницы тайком. Максимиан умер. Максенций взошел на престол, но царствовал недолго. Константин, провозглашенный императором в Галлии, принял христиан-

скую веру, победил Максенция, вошел в Рим и провозгласил христианство господствующей религией империи. Из гонимых христиане превратились в торжествующих победителей. Они отворили врата своих храмов, украсили могилы своих мучеников дивными базиликами. Бывшие их гонители и судьи старались оправдать свою жестокость. Они обвиняли во всем цезарей; но им не удалось обмануть лживыми словами ни современников, ни потомков. Долго рассказывали в Риме о гонениях, которые претерпели христиане, о подлости, об алчности доносчиков, о жестоких казнях. На тех из них, которые доживали свой век, молодежь показывала с ужасом и звала их палачами, кровопийцами.

Корвин достиг преклонной старости и, всеми презираемый, влачил жалкое существование. Совесть мучила его, люди гнушались им.

Фабиола много лет спустя после описанных событий узнала из достоверных источников, что молитва Мариам была услышана. Брат ее Фульвий, или вернее Оранций, раскаялся, принял крещение и ушел в пустыни Африки. Там он спасался по примеру многих подвижников, искупая покаянием тяжкие свои преступления.

На вопросы «Смены» отвечает ректор Московского государственного лингвистического университета, доктор педагогических наук, профессор
ИРИНА ХАЛЕЕВА

— Особняк на Остоженке, где мы беседуем, в некотором роде исторический памятник. Некогда здесь было знаменитое Коммерческое училище, среди выпускников которого — и Гончаров, и братья Вавиловы, потом — Институт новых языков, затем Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, а теперь — Лингвистический университет. Что это — тяга к смене вывесок, чем всегда отличалось наше государство, или же изменился статус вуза, его, так сказать, содержание...

— Что касается истории, то особняк на Остоженке и впрямь повидал немало... Ну, а насчет вывесок?.. Как вы думаете, зачем нужно было менять название финансового института на финансовую академию? Или всемирно известное МВТУ превращать в МГТУ?

— Престиж, иное штатное расписание, а значит, иные деньги, фонды, возможности.

— Отчасти. Но главное, академия, университет — это совершенно иное качество обучения. Мы говорим о гармоничной личности, но сами же — вольно или невольно — ограничиваем эту личность рамками узкой специализации. Сегодня, когда прогресс — в любой сфере, гуманитарной ли, технической — ярче всего проявляется на стыке наук и профессий, очень важно именно университетское, академическое образование — широкое, не зашоренное, стимулирующее к самостоятельности суждений, к поиску... Собственно, у нас всегда обучение было достаточно близким к университетскому: наши студенты не только сдавали госэкзамены (как, например, в педвузах), но и писали дипломную работу. О том, чтобы институт наш стал университетом, мы говорили очень давно — лет двадцать

ЯЗЫК

назад — и на всех уровнях. Но услышали нас только сейчас.

— И что же конкретно изменилось?

— Мы расширили рамки общего гуманитарного образования; увеличили количество часов по второму иностранному языку; кафедры в зависимости от своего научного, педагогического потенциала предлагают новые курсы, лекции — у студента есть выбор... Раньше мы готовили только преподавателей и переводчиков. Теперь будем еще выпускать и специалистов, работающих на компьютерах с языковыми программами, политологов со знанием двух (минимум!) иностранных языков, менеджеров для работы с зарубежными партнерами... Эти пять специальностей, которые я перечислила, замкнуты на крепкую лингвистическую основу. В проекте еще кое-что: скажем, отделение художественного перевода и факультет зарубежной журналистики...

— А как с обучением новым, нетрадиционным для бывшего иняза языкам?

— В программу уже включены японский, китайский, корейский, арабский. Потребность в классных специалистах (и прежде всего — переводчиках) колоссальная! Деловые, коммерческие отношения с Японией и Китаем расширяются стремительно. Цивилизованный рынок невозможен без знания языка — в самом широком смысле этого слова — партнера. Много ли мы наторговали и «насотрудничали» с пользой для страны, общаясь «на пальцах»? Как я уже сказала, наш университет призван учить межкультурной коммуникации — без этого ни шагу нельзя сделать в современном мире. Американцы, например, вкладывают в эти программы огромные деньги. А у нас пока что — и то робко — занимаются этим только языковые вузы.

— Значит, рынок втягивает и вас в свои структуры?

— Мы этому только рады!

— И что — без проблем?

— Где сейчас без проблем?.. Тем паче когда рынок наш, отечественный,— дикий. Мы должны надеяться прежде всего на себя. Иногда кажется — все, тупик. Финансовые, хозяйственные, научные да и просто человеческие отношения сплелись в такой узел — порой не распутать и не разрубить! Но, как видите, живем...

— И неплохо, судя по отзывам преподавателей, студентов. Говорят, вы еще до «мартовского» приказа подняли зарплату профессорам и преподавателям...

— Мы с «казначеем» нашего университета, главным бухгалтером, подсчитав наши возможности, решили, что можем увеличить заработок сотрудникам, препода-

МОЙ



вателям, отчасти повысить стипендию студентам. И это — не беря ни копейки у государства.

— За счет чего же?

— Во-первых, сегодня огромен спрос на квалифицированную переводческую работу. Причем заказчики готовы платить не только «деревянными», но и валютой. Второе: мы достаточно активно участвуем во внешнеэкономической деятельности; хоздоговорные темы тоже приносят определенный доход. Сократили обслуживающий персонал — студенты, подрабатывая здесь же, в университете, могут весомо подкрепить свой бюджет...

— А размер стипендии?

— На сегодня от 150 до 180 рублей... Так вот, казалось бы, работай, процветай! Но — налоги... Уму непостижимо! Скажите, в какой еще стране так бездумно грабят собственное будущее?

— И все-таки, если сопоставить нынешний день со вчерашним, позавчерашним?

— Несопоставимо! Меня назначили ректором в восемьдесят шестом. Я пришла, как сейчас принято говорить, со своей «командой». Причем по тем временам «молодежной» — впрочем, всем уже было под сорок.

— «Назначена»? Знаю, что вы едва ли не единственный ректор в Союзе, единогласно избранный на эту должность...

— В 1989 году я решила проверить, насколько планы моей «команды» созвучны помыслам коллектива. И, созвав только что избранный совет института, изложила программу и поставила ее и свою кандидатуру как ректора на вотум доверия. Конечно, посоветовалась сначала с «командой». Они, надо сказать, меня горячо поддержали. А совет института проголосовал за эту программу и за меня,— единогласно...

— Но ведь кое-кто из преподавателей ушел...

— Да, некоторые ушли. И не только посредственные... Но жизнь есть жизнь. Вообще педагогическая работа в Советском Союзе — профессия жертвенная. Надо быть здравым идеалистом, чтобы не променять служение будущему Отечества на десятикратно больший заработок в СП или кооперативе...

— Вас «назначили» в восемьдесят шестом. А до восемьдесят шестого?

— Заведовала кафедрой, была проректором по учебной работе... Я коренная инязовка, заканчивала этот институт, работала на кафедре лексикологии немецкого языка. Потом аспирантура, защита... Так что я — не человек со стороны.

Были мысли, наработки, четкие планы преобразования института. А главное — уже были единомышленники.

— Но и сомнения были, и сложности?

— Видите ли, я вдруг стала одним из самых, как тогда считалось, «молодых» ректоров в стране. Трудности шли по нарастающей. Что такое ректор? Педагог, ученый, юрист, хозяйственник, дипломат... А здания раскиданы по всей Москве. Износ — процентов восемьдесят. Голова шла кругом... Почему я тогда не сказала «нет»? Знаете, я и сейчас об этом думаю. Ну, хотелось испытать себя — смогу ли я? И потом в меня верили друзья, с кем работала столько лет, а я верила в них...

— Вы член КПСС?

— До 19 августа была.

— Это вам помогало или мешало?

— ?!

— Во взаимоотношениях с коллективом, с другими организация-

ми, в высоких кабинетах, коридорах власти?

— А, вот вы о чем... Вопрос хороший. Среди моих соратников были и коммунисты, и беспартийные, и те, кто вышел из партии. У нас в университете сложилась нестандартная ситуация: мы, насколько я знаю, первыми из вузов Москвы «департизировались». И это было решение самой партийной организации...

— Вы человек мужественный?

— Во всяком случае, не из пугливых... Преподавание в советском вузе хорошо закаляет характер: бывает, входишь в аудиторию, что называется, сердце замирает. На тебя смотрят десятки человек — молодых, едких, насмешливых... Чем, мол, удивишь нас, что за «разумное-вечное» сеять будешь? Со студентами иметь дело ох как непросто!..

— А с коллегами?

— Тут свои сложности, а бывает, и свои «игры». Но мне, повторяю, легче: я в кругу единомышленников. Мы вместе разрабатывали нашу программу, вместе ее и реализуем.

— Но есть, вероятно, и противники?

— Я думаю, оппозиция обязательно должна быть у любого руководителя — в конце концов это элементарный закон психологии... И потом голос оппозиции — это как бы обратная связь с той частью коллектива, которая не во всем поддерживает тебя...

— Иняз, Ирина Ивановна, всегда считался престижным, элитным вузом. А теперь, когда стал университетом с достаточно обширными действующими связями за рубежом — ведь ваши студенты стажируются во Франции, Германии, Англии, Испании, Италии, США...— рейтинг его среди ребят (и родителей!) стал еще круче.

— В этом году на некоторые отделения было 10 человек на место...

— И, вероятно, вас крепко «доставали» звонки сверху, сбоку?

— Понимаю... И скажу сразу: к блатным, «позвоночным» у нас отношение однозначное — мы их не приемлем и... не принимаем. Критерий отбора един — знания.

— И никаких исключений?

— Ну, исключения, как известно, лишь подтверждают правило. Мы не догматики, в жизни всякое случается... Вот в прошлом году Гособразование СССР разрешило нам взять «афганцев», провалившихся на экзаменах, в подготовительные группы. И знаете — все как один справились с программой и поступили. Но ни я, ни те, кто работает в экзаменационной комиссии, не потерпим никакого давления ни «сверху», ни «сбоку». И у нас конкурс абитуриентов, а не родителей.

— Расскажите немного о вступительных экзаменах, о требованиях, которые предъявляете к поступающим... Словом, кто и как попадает в лингвистический университет?

— Знание иностранного языка обязательно. А еще важнее — языковые способности. Общая культура, свободная ориентация в гуманитарных дисциплинах... У нас на приеме — шестибалльная система. Максимальная сумма баллов — 24. Но ее очень, очень редко кто набирает. Проходной — 22 — 23 балла. Это на очное отделение. На вечернее и заочное — пониже — 19—20 баллов. Кто к нам идет? Выпускники спецшкол и нашего лингвистического лицея, раз. Кто чувствует в себе лингвистическое призвание. Ну и те, кто занимался иностранным языком самостоятельно или с репетиторами.

— Вы обращаете внимание прежде всего на знание иностранного языка?

— И русского. Но в принципе — куда важнее **способность** к изучению иностранных языков. Тут ведь простой зубрежки недостаточно. В нашем университете преподают восемнадцать языков. Каждый студент изучает два. Так вот, **билингв** — то есть человек, в совершенстве владеющий двумя языками и культурами этих стран,— встречается не так уж часто. А мы хотим, чтобы для наших выпускников это стало нормой.

— Сколько студентов в университете?

— На основных факультетах — пять тысяч. Есть еще институт повышения квалификации, аспирантура, докторанты, «безотрывные» формы обучения... Всего где-то около десяти тысяч человек учатся в университетском комплексе. Преподавателей (вместе с почасовиками и совместителями) — около тысячи.

— Давайте поговорим вот о чем: вы ведь готовите и переводчиков, значит ли это, что выпускник университета, к примеру, с красным дипломом, может сразу же попасть в элитный эшелон правительственных служащих? Стать переводчиком у министра, премьера, Президента, наконец...

— В принципе это не исключено, но случается очень редко. Университет готовит специалиста, который должен как бы балансировать на стыке двух, трех культур. А тут — переводчик Президента! — необходимо не только знание, но и опыт, и развитой интеллект... А это воспитывается, взращивается десятилетиями. Изучение языка, лингвистики, культуры потому-то и заложено изначально в процесс обучения, поскольку подразумевает развитие личности... ведь знание языка — лишь предпосылка (правда, весьма существенная) к тому, чтобы стать классным устным переводчиком.

— То же самое относится и к художественному переводу?

— Еще в большей степени. Мы, как я говорила, собираемся открыть отделение художественного перевода. В университете всегда была студия «Фотон», там ребята пробуют свои силы. Кстати сказать, проректор университета по научной работе, профессор С. Ф. Гончаренко — член Союза писателей, один из лучших переводчиков поэзии...

— Из вашей «команды»?

— Конечно. Как и другие проректоры... Впрочем, «команда» у нас не «должностная» — в ней есть и профессора, и ассистенты... Мы вместе, так сказать, кашу заваривали. Вкусом еще не насладились — продолжаем варить.

— По всей видимости, вам, Ирина Ивановна, эта кулинария по нутру, по вкусу... Вы лидер по характеру или так уж судьба, обстоятельства сложились?

— Мда-а, вопрос... Мои родители были люди военные (я родилась в Северной Корее, брат — в Китае...), и мне пришлось с ними довольно много путешествовать. С раннего детства привыкла полагаться на себя:.. Жилка лидерства в характере, наверное, есть, но это — поверьте, не рисуюсь — не самовыпячивание, тем более не жажда почестей каких-то, а стремление взять на себя побольше, чтобы скорее увидеть результат дела. Не личного — общего.

— Вернемся к делам университетским. Года три назад вы открыли лицей...

— В нем занимаются ребята с 8-го по 11-й класс. Изучают основы античности, латынь, два европейских языка... За пять вузовских лет подготовить классного специалиста почти невозможно. Нужно начинать не с 17—18 лет,

а раньше. Лицей — ступенька к университетским аудиториям. Но возможности ограничены крайне: мы в силах принять не более пятидесяти ребят. А сколько талантливых, умных девчонок и мальчишек остаются «за бортом»!.. В этом году мы несколько изменили содержание приемных испытаний — творческое задание дали, хочешь — реши кроссворд, хочешь — сказку напиши или стихи... Мы проверяем и логическое, аналитическое мышление...

— И знание иностранного?

— Конечно. Но по большинству нынешних школьных и даже вузовских учебников язык по-настоящему не выучишь. Я имею в виду так, как надо — свободно, а не на уровне «парле ву франсе?».

— Сейчас как грибы растут всяческие кооперативы, гарантирующие обучение языку «методом погружения» чуть ли не в 24 часа...

— Да ничего они не гарантируют! В девяноста случаях из ста — это обыкновенная халтура. Хотя, знаю, на некоторых курсах работают серьезные преподаватели... Но сам дух подобных занятий — «галопом по Европам» (помните, у Ильфа и Петрова: деньги давай, давай деньги!) — никакого «погружения» в культуру, историю страны да и в сам язык не предполагает. А без этого... Впрочем, я повторяюсь.

— Административная работа, научная, хозяйственная, организационная, преподавательская... Что все-таки сложнее, что ближе вам? Ректор — это профессия, призвание, должность?

— Каторга! (Улыбается.) Но — сладкая каторга... А что сложнее, что ближе?.. Все взаимосвязано. Умение в какой-то степени подчинить аудиторию, заставить слушать и с л ы ш а т ь себя — важно и для преподавателя, и для руководителя вуза. Я долгое время занималась лекторской работой, и, конечно же, опыт такого рода помогает мне и сейчас... Много сил, нервов у ректора отнимает текучка. Та бумажная, хозяйственная бюрократия, без которой, увы, не обойтись. Приходится и убеждать, и «давить», и эмоции «подключать».

— Женское обаяние?

— В общем-то женщине-руководителю, когда чего-то добиваешься, доказываешь в высоких кабинетах, все же сложнее сказать «нет». Хотя вот уже сколько времени бьемся за строительство нового университетского корпуса: есть решение Моссовета, есть деньги, проект, но в Черемушкинском райисполкоме предпочитают землю, выделенную нам под строительство, отдать (за крупные деньги, безусловно!) на сторону... Им, видите ли, так выгоднее. А недавно Ленинский райисполком пытался у нас отобрать новое общежитие, которое строили мы сами, за свои кровные... Так что обаяние обаянием, а бывает, что и «власть употребить» надо!

— Вы, Ирина Ивановна, вероятно, чувствуете, как за последние годы в вузах страны качественно меняется состав студентов, преподавателей, их взаимоотношения?

— И не всегда в лучшую сторону... Самостоятельность (и студентов, и преподавателей) все же предполагает четкий самоконтроль... У нас четверть состава Ученого совета — студенты. Самоуправление — на всех уровнях: от группы до факультетов. К преподавателям требования едины (независимо от возраста): профессионализм, здравый смысл и интеллигентность в самом широком смысле. Это и терпимость, и доброжелательность, и демократичность. Авторитарные методы преподавания сегодня не срабатыва-

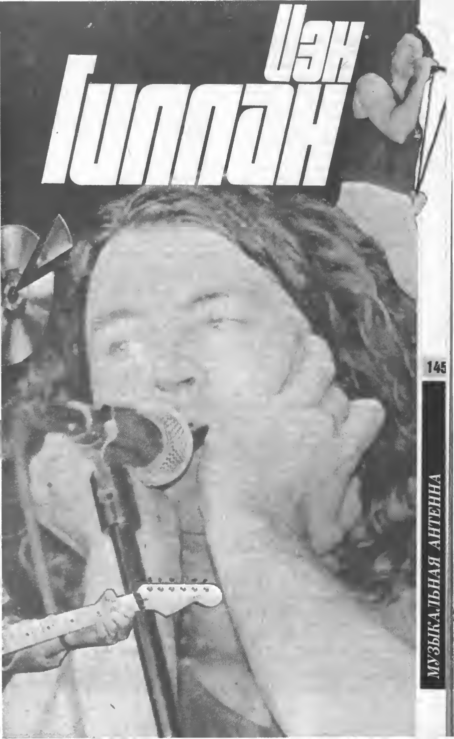
ют. Это ясно... Специфика нашего университета — «штучное» обучение. Здесь индивидуальная работа со студентами имеет огромное, решающее значение. «Конвейерный» метод подготовки специалистов — не для нас. Поэтому и к преподавателям, и к абитуриентам (а затем — студентам) мы предъявляем довольно высокие и личностные требования.

— Может, вопрос этот покажется вам банальным, но, извините, Ирина Ивановна, зачем вам все это надо? Вы профессор, прекрасный педагог, ученый с европейским именем и — столько нервотрепки, черновой работы...

— А знаете, иногда я рада что все это именно так сложилось. В конце концов это моя жизнь. Что тут еще добавить?..

Беседу вел
ВАЛЕРИЙ ЛОКТЕВ.




Иэн
Гиллан
145
МУЗЫКАЛЬНАЯ АНТЕННА

Вспоминаю начало семидесятых, время фантастической популярности английской рок-группы «Дип перпл». Один за другим выходят «классические» альбомы: «Ин рок», «Файэрболл», «Мэшинхэд». Кажется, никто на свете не сможет сыграть на гитаре лучше, чем Ритчи Блэкмор, ни один вокалист не сможет спеть так, как Иэн Гиллан. Подтверждением этому было исполнение Гилланом ведущей партии в непревзойденной рок-опере «Иисус Христос — Суперзвезда».

Первые советские поклонники «Дип Перпл» полжизни готовы были отдать за то, чтобы посмотреть выступление своих кумиров. Однако телевидение не баловало нас подобными зрелищами, а бытовые видеомагнитофоны еще не выпускались даже в Японии. Мог ли я тогда предположить, что когда-нибудь встречусь с Гилланом в Москве и буду разговаривать с ним!

В мае 1990 года Иэн Гиллан впервые гастролировал в СССР, летом этого года он во второй раз приехал на гастроли в Советский Союз и в аэропорту «Шереметьево-2» дал свое первое интервью.

— На этот раз вы собираетесь исполнить что-нибудь из рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда»?

— Нет. Я никогда не пел на сцене «Иисус Христос — Суперзвезда». Это исключительно студийная работа. Запись рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда» — незабываемый, фантастический опыт для меня, но не думаю, что фрагменты из нее совместимы с нашей нынешней программой.

— Многие считают, что у вас с Ритчи Блэкмором существовали серьезные творческие противоречия, и этим объясняют ваш уход из «Дип Перпл». Действительно ли это так?

— У него свой взгляд на то, какой должна быть группа. Он хочет быть абсолютным лидером в команде. По его мнению, на первом месте всегда должна быть гитара, а все остальные музыканты должны работать на него.

В первый раз я работал с «Дип Перпл» с 1969 по 1973 год. Какое это было прекрасное время! В 1984 году мы объединились снова. Первый год или два все было замечательно, но потом мы опять начали вести себя, как дети,— и опять появились проблемы. Так что сейчас — это хорошие воспоминания, но не более того. Я желаю «Дип Перпл» удачного продолжения карьеры, а у меня свои планы...

В 1983 году Гиллан ненадолго присоединился к другой знаменитой группе — «Блэк Сэббэт» и записал с ней один альбом «Борн Эгейн».

— Как вы оцениваете альбом «Борн Эгейн»?

— Отзывы были разные. Но, думаю, он не так уж плох на самом деле. Там было несколько очень хороших вещей, но продюсерство позорное.

Очень многие удивились тому, что я пою в «Блэк Сэббэт». Но мы с Тони и с Гизером получили удовольствие от работы, хотя всерьез не считаю, что «Борн Эгейн» чисто «блэксэббэтовский» альбом. Удивление поклонников мне понятно: группа выступает под прежним названием, а вокалисты постоянно меняются. Аналогичная проблема и у «Дип Перпл». Но я извлек урок и больше не собираюсь присоединяться к какой-нибудь очень известной группе.

— Состав вашей группы изменился. С чем это связано?

— Год назад у меня было много проблем с группой. Ведь незадолго до этого я покинул «Дип Перпл» и еще не решил, в каком направлении идти, какую музыку исполнять. В моей программе было всего понемногу: немного музыки «соул», немного «ритм энд блюза», немного «фолк»-музыки и т. д. Музыка была хорошая, но в ней отсутствовал «драйв» и определенность. В общем, мы хорошо поработали и расстались по-доброму. Со мной остался только Стив Моррис, и мы начали работу над новым альбомом.

Помните, по ЦТ несколько раз показывали видеоклип — новую версию знаменитой песни «Дип Перпл» — «Смоук он зе уотер»? В студии собрались суперзвезды рока: певцы Гиллан и Диккинсон, гитаристы Блэкмор, Йомми, Гилмор, Мэй...

— Как проходила работа над благотворительным проектом в помощь Армении? Трудно было собрать знаменитых музыкантов для участия в записи «Смоук он зе уотэр»?

— Есть один парень, который организовывает благотворительные акции. Он предложил мне спеть «Смоук он зе уотэр», и я сразу согласился, хотя даже не знал, кто будет принимать участие в проекте. Когда пришел в студию, все уже были там. Мы с удовольствием поработали, собрали деньги для благотворительной цели — это обычная вещь. Но, с другой стороны, для меня — это был особый случай. Я приехал в Спитак и увидел все собственными глазами!.. Это было всего через неделю или две после того, как там впервые побывало телевидение... Еще мне запомнились слова мэра: «С момента землетрясения здесь не звучит музыка». То есть даже свадьбы проходят без музыки. Все это произвело на меня сильнейшее впечатление. Я написал новую песню «Пикчерз ов хелл» («Картины ада») и предложил организовать благотворительный фестиваль.

Думаю, что все музыканты, записавшие новую версию «Смоук он зе уотэр», охотно приняли участие в проекте, но, может быть, не все отчетливо представляли ситуацию в Армении. Дело в том, что благотворительность очень развита в Британии. Вероятно, это самая благотворительная страна. Деньги собирают для неимущих, для инвалидов, для слепых, которым требуются собаки-поводыри. К благотворительности привыкли, и когда требуется собрать деньги, все отвечают: «О'кей, ноу проблем». Рок-музыканты и телезвезды всегда принимают участие в благотворительных акциях. Так что благотворительный концерт — самая естественная вещь. Главное здесь не деньги. Важно другое — люди в Армении почувствовали, что в другой стране, за несколько тысяч миль, люди думают о них. Как часто бывает в жизни — если кто-то думает о тебе, ты становишься сильнее. Мы теперь друзья. Это фантастика!

— У вас много поклонников. А есть ли у вас фэн-клуб?

— Два дня назад я получил последний номер «Ди Пи Эй Эс», что означает «Дип Перпл Эпришиэйшен фэн-клаб». Похоже, они тщательно следят за мной. Думаю, что очень многие поклонники «Дип Перпл» прекрасно относятся ко мне. Лично у меня нет фэнклуба, и я не занимаюсь его организацией. Я много гастролирую и таким образом имею возможность встретиться буквально с каждым из своих фэнов на концерте.

— А какой из концертов был самым запоминающимся?

— Их было так много... Однажды я в очередной раз простудился. Такое бывает со мной периодически — один раз в год. Я выступал в Саутгемптоне, на юге Англии, и совсем потерял голос. Спел первую вещь — и все. Говорить даже не мог. Я сошел со сцены и направился к публике. Музыканты заиграли вторую вещь, и зрители, поняв в чем дело, запели! Они все спели за меня!..

— Я слышал, что у вас серьезные проблемы с горлом.

— Нет. Ничего серьезного. Вот с 80-го по 82-й были проблемы, и мне пришлось удалять узел на голосовых связках. С тех пор все о'кей, если не простужаться.

Летом 1990 года вышел очередной альбом «Naked Thunder», записанный Гилланом вместе с гитаристом Стивом Моррисом, клавишниками Томми Айром и Джей Питером Робинсоном и сессионным барабанщиком Саймоном Филлипсом. За год состав группы, аккомпанирующей Гиллану, почти полностью обновился. Остался лишь гитарист Стив Моррис.

— В этом году на гастроли с вами опять приехал Стив Моррис. Пожалуйста, расскажите о нем.

— Стив — гитарист из Ливерпуля. Мы зовем его «Нэвэрхерд» («Неслыханный».— **А. З.**). Он один из самых замечательных гитаристов, с которыми я когда-либо работал, а также блестящий сочинитель песен. Мы стараемся расширить диапазон его яркой музыкальной индивидуальности, предлагая то, чего он никогда прежде не играл. Он очень, как мы называем по-английски, «хиз оун мэн» («Человек, принадлежащий самому себе». — **А. З.**), у него свои собственные идеи, свое собственное восприятие и т. д. Я думаю, что это очень важно. Он хорош сам по себе, но в то же время фантастически хорош в коллективе. В нем есть уверенность, энтузиазм, а главное — профессионализм. Мы шесть месяцев работали над новым альбомом. Его игра потрясающая!

— У вас в группе двое новых музыкантов. Откуда они?

— Из Сан-Франциско. Барабанщик Ленэд Хэйз играл в группах «Уайн» и «Естердей энд тудей». Феноменальный барабанщик! Он сотрудничал с фирмой «Геффин рекордз» в Америке, но один парень попытался изменить музыкальное направление группы Ленэда. Ленэд ответил: «Мы верим в рок-н-ролл и не хотим, чтобы нас превратили в поп-группу...»

Потом мы искали нового басиста, и Ленэд порекомендовал Брэда. Когда этот парень вошел в студию, я посмотрел на него снизу вверх и сказал: «О, Господи! Какой он высокий». Но когда он начал играть, я был потрясен. Впервые в моей группе бас-гитара так зазвучала. Этот парень «заколачивает гвозди в стену» и в то же самое время поддерживает партию ведущей гитары. Для небольшого состава очень важно иметь такую поддержку. Во время репетиций это казалось даже неправдоподобным!

После окончания гастролей в Советском Союзе мы поедем в Сан-Франциско и, возможно, возьмем в группу еще одного гитариста. Я думаю, что это позволит расширить наши возможности, даст еще одно дополнительное «измерение»...

— В этом году у вас новый гастрольный маршрут?

— Да, на этот раз впервые познакомлюсь с прибалтийскими республиками... Я продолжаю

объяснять людям на Западе, что путешествовать по Советскому Союзу — это все равно, что путешествовать по Европе, в том смысле, что каждое новое место — это новая республика, как если бы вы переезжали из Франции в Германию, в Испанию, в Италию или куда-нибудь еще. Это разные языки, разные культуры и т. д. Многие не могут понять, что Советский Союз состоит из нескольких совершенно разных стран. Поэтому поездка сюда — это величайшая возможность самообразования для музыканта. В прошлом году я многое узнал об Армении и частично о Грузии. В этом году — Прибалтика.

— *Вы сказали, что после гастролей в СССР поедете в Сан-Франциско. Что вы собираетесь там делать?*

— У меня было много работы в этом году. Много записывались на студии. Моей жене сделали операцию на сердце, и она сейчас поправляется. Дочь хотела побывать в Диснейленде. Будем отдыхать.

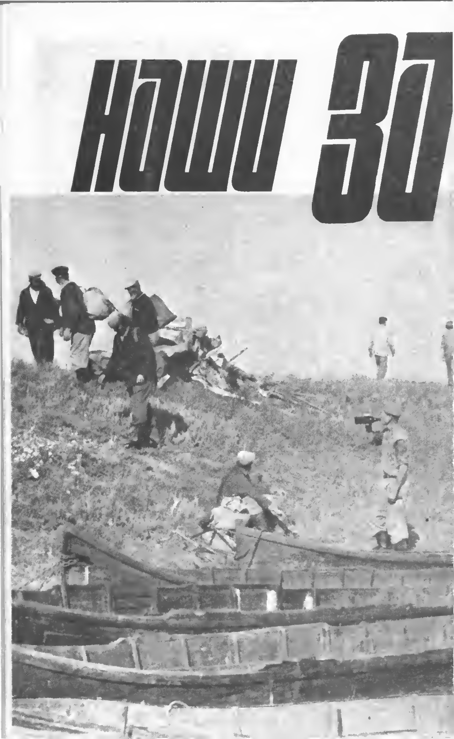
— *Они уже ждут вас?*

— Нет, они сейчас в Англии. Когда я вернусь домой, мы вместе полетим в Штаты. Два или три дня побудем с дочерью в Диснейленде, а потом — в Сан-Франциско. Прослушаем нового гитариста и будем ждать выхода нового альбома.

— *Сколько на нем будет песен и как будет называться альбом?*

— На альбоме десять песен, а называется он «Май Рест ов Май Кейс».

Беседу вел
Алексей ЗАИКИН.
Фото автора


НАШИ ЗА

ВЛАДИМИР АНИСИМОВ
Фото автора

ДУНАЕМ



По узкой лесенке мы с Алексеем забрались на колокольню.

— Знаете песню, господин Владимир, «Над Волгой широкой»? Когда сюда поднимусь, у меня тут,— он приложил руку к груди,— всегда эта мелодия звучит.

Под нами лежало село Гиндэрешть, а за ним блестел на солнце Дунай...

Мы знаем о староверах-старообрядцах за океаном. Но самая многочисленная русская община — по соседству, в Румынии. И я, наверное, еще долго не знал бы о ней, если б не приглашению посла Феликса Богданова.

В России не было варфоломеевской ночи. В России были годы, десятилетия кровавого религиозного террора. Уничтожение инакомыслящих — отнюдь не изобретение большевиков.

...В 1652 году на Московский патриарший престол вступил Никон. Вместе с царем Алексеем Михайловичем решил он изменить церковные установления, принятые при крещении Руси. Ввести новые чины, обряды, книги, чтобы русская Церковь во всем походила на греческую, которая, по мнению верующих, к тому времени перестала быть вполне благочестивой. Зачем? Некоторые историки предполагают: Алексей Михайлович мечтал сделаться византийским императором, а Никон — вселенским патриархом. Для того и задумали сближение церквей.

На соборе в 1654 году епископ Павел Коломенский заявил Никону: «Мы новой веры не примем». Был здесь же избит Никоном, отправлен в ссылку и после тяжких пыток сожжен в срубе. А через пять лет сам Никон демонстративно отрекся от патриаршества, рассчитывая, что его будут уговаривать не покидать престол. Но царь не стал удерживать «реформатора», и Никон удалился в Воскресенский монастырь.

В 1666 году Алексей Михайлович созвал собор для суда над Никоном. Собор признал его виновным в самовольном бегстве с кафедры и других преступлениях. Патриархи называли Никона лжецом, убийцей, хуже сатаны. Лишили священного сана, сделали простым монахом и... одобрили никоновскую реформу. Собор утвердил новые обряды и чины, попутно прокляв староверов.

А еще собор благословил наказывать ослушников: сажать в тюрьмы, ссылать, бить говяжьими жилами, отрезать уши, носы, языки, отсекать руки...

Староверы пытались спрятаться в глухих местах — например, в Заволжье (романы Мельникова-Печерского «В лесах», «На горах»),— но руки служителей новой веры нередко доставали и тут. Поэтому нашим соотечественникам пришлось бежать в другие страны — Польшу, Швецию, Турцию, Канаду, Австралию, Китай и даже Японию...

В Румынии наши староверы называют себя русскими липованами. Название, по всей видимости, от дерева. Из липы делались доски для икон. В густых липовых лесах старообрядцы часто скрывались от преследований.

Казалось бы, сколько поколений сменилось за триста лет эмиграции! Давно могли ассимилироваться, забыть русский язык, культуру, обычаи, свою прародину. (Грешным делом подумал: может, так им лучше было бы жить?) Ан нет — помнят о России. Это Россия о них забыла.

Сколько же липован в Румы-



Иеродиакон Димитрий из мужского монастыря в Русской Славе.


У школы в Гиндэрешти, увы, нет другой спортплощадки...

нии? Мне называли цифры от ста до двухсот тысяч. Точнее установить сложно: во время переписи 1977 года многие называли себя румынами (кое-кого даже заставили «менять» национальность!). Наш друг Чаушеску особо липован не притеснял, но вынашивал идею ассимилировать все национальные меньшинства: русских, венгров, греков, турок. Не успел...

Липоване всегда селились вместе, компактно. Сейчас в Румынии 23 чисто русских села, есть «свои» кварталы в городах Браилэ, Тульча, Яссы, Галац и некоторых других. В самом Бухаресте — больше тысячи липованских семей.

Надо сказать, национальные признаки отчасти все же утрачены. Так, Кирилловы стали Кириллэ, Самойловы — Самоилэ. СелоНовенькое переименовано в Гиндерешт. Чувствуется турецкое влияние в названиях Сарикёй, Каркалиу — когда переселенцы пришли в Добруджу, она принадлежала Турции. Но в тех же краях стоят села Слава Русская, Слава Черкесская — по имени маленькой речки с гордым названием.

В апреле 1990 года, после свержения клана Чаушеску, стало возможным создание общерумынской общины русских липован. Обязанности ее председателя исполняет профессор Бухарестского университета Федор Кириллэ. Я спрашиваю его:

— Так кем же, Федор Иванович, вы себя считаете?

— Конечно, русским! И в анкетах всегда так писал, хотя нас заставляли себя называть румынами.

— За непослушание могли и арестовать?

— Арестовать не арестовывали, но в секуритате вызывали дважды.

— За анкеты?

— Нет, я просто позволял себе критические замечания в адрес племянницы Чаушеску — она работает на нашей кафедре. После вызовов в тайную полицию меня занесли в «черный список». Я всегда был первым кандидатом на поездку в Союз на курсы повышения квалификации. Но... уезжал другой человек, а я оставался.

— А предков своих вы знаете? Откуда они, из каких мест России?

— Очень трудно сказать... Я родился в селе Каркалиу. Тамошний говор похож на воронежский. Точнее определить не могу, несмотря на то, что 30 лет занимаюсь историей липован. Ведь наши предки не сразу эмигрировали в Румынию — они все время бежали, прятались. Жили в Заволжье, оттуда перебрались на Дон, затем в Бессарабию. Наконец — в турецкую тогда Добруджу. Мне кажется, их путь в эмиграцию длился лет пятьдесят. На этом долгом пути они приобрели много элементов речи южнорусской, украинской, турецкой...

Федор Иванович говорит практически без акцента. Зато его жена Мария-Елена, директор лицея, и дочь Лилиана, студентка, по-русски — ни слова.

— Что ж вы так, Федор Иванович? А еще профессор русского языка!

Он разводит руками, что должно означать: сапожник без сапог...

По Румынии ездили вчетвером: первый секретарь посольства Анатолий Иванович Отдельнов, супруги Кириллэ и автор этих строк. Хорошие дороги строят румыны — 250 километров одолели меньше чем за три часа. В Гиндэрешти нас встречали председатель местной общины липован школьный учитель русского языка Вартоломей Самоилэ, члены комитета общины электрик Дамиан Ефтей и нефтяник Алексей Меликов.

Почти ничего не напоминало о загранице — разве только привычка здешних сельских мужиков целовать даме руку и обращение «господин». Да еще Дамиан с Алексеем, молодые парни, периодически сбивались на румынский. Вообще, как я потом отметил, во всех селах общая закономерность: свободно владеют русским духовенство и старшее поколение. Чем моложе, тем чаще затрудняются в подборе слов.

— А что вы хотите? — с огорчением сказал мне Дамиан.— Мы триста лет жили в изоляции от России. Как говорят сегодня в России — где мне услышать? Русское телевидение в наше село не доходит, Карпаты мешают. Русских книг, газет, журналов даже в библиотеке нет. Я вот вашу «Смену» никогда в жизни не видел. По-русски читаю с трудом, Пушкина не знаю.

Вартоломей добавил:

— Беда в том, что дети все меньше интересуются, кто они такие. С малолетства им не объясняли. И я лишь недавно, после революции, смог говорить, что они русские. А то ведь не хотели учить язык!

По правде говоря, нынче липован больше беспокоят экономические проблемы, нежели языковые. Колхозы распускаются, земля возвращается крестьянам. Правительство решило в переходный период не трогать госхозы, чтобы обеспечить гарантированный минимум поставок продуктов в города.

Поначалу мало кто хотел брать землю: отвыкли хозяйствовать самостоятельно. Сейчас желающих гораздо больше: в Румынии начинается безработица. Большинство липован всю жизнь занимались отхожими промыслами, работали на стройках по всей стране; теперь работу найти трудно — придется крестьянствовать. Но земельный



Колхоз распался. Жители Каркалиу с ут

вопрос — самый больной. Теоретически каждый получит столько земли, сколько семья сдавала в колхоз (но не более десяти гектаров).

До десяти гектаров получит и тот, кто никогда ничего не имел. Но на практике... В свое время немало площадей отошло госхозу, и теперь в Гиндэрешти на душу населения... полгектара.

Община пытается добиться возвращения земли, но силы ее в споре с государством слишком неравны...

Как же быть? Составили пока списки тех, кто хочет поехать на работу за рубеж.

— Но и тут наши возможности невелики,— признает Самоилэ.— Нам бы для начала хоть 20—30 человек отправить, показать: община чего-то может.

— А можно найти несколько семей для работы в России? — предлагает Отдельнов.— Если им

собрались у примарии (по нашему — сельсовета) на дележ будущего урожая.



там дадут на откорм стадо, технику — найдутся желающие?

— Никто из наших не занимается скотоводством. Полеводство, рыбалка...

— А если им дадут участок под бахчевые?

— Это у нас умеют. Тут можно подумать.

Я знал о переговорах Анатолия Ивановича с одним воронежским колхозом. Там вроде бы согласны принять наших соотечественников, обеспечить работой и товаром на весь заработок. Дай-то Бог удачи...

На прощание Дамиан говорит:

— Мы мать Россию не забываем. Но и она пусть нас не забывает...

По дороге в Русскую Славу Отдельнов рассказывает:

— Приезжал недавно представитель института этнографии из Москвы. Оказалось, они там не знают, что в Румынии есть община русских липован. Специалисты русского языка и литературы института имени Пушкина не знают, кто такие липоване! Прав Дамиан: забыла их Россия... У нас активные связи с русским зарубежьем в Канаде, Австралии, а с липованами в Румынии фактически никаких контактов. И куда ни обратишься — почти везде первым делом просят валюту. Я предлагал готовить в российских вузах липован — учителей русского языка. Достаточно было бы принимать по три-четыре человека в год. Всего-то! Госкомобразования не возражает, но за доллары. Откуда липоване их возьмут?! Хотел провезти группу по «Золотому кольцу» — «Интурист» также затребовал валюту. Ну, зарабатывайте ее на других иностранцах, здесь же все-таки свои, русские — и среди них нет миллионеров! Наконец, наметились деловые контакты: я нашел

предпринимателя, он готов был менять дачные домики на телевизоры. Воронеж согласился поставлять сверхплановую продукцию липованам. Но МВЭС запретило: «Пусть торгуют за доллары».

Что скажешь? Для зарабатывания зеленых бумажек у нас все средства стали хороши...

Время от времени страна вспоминала о сородичах за Дунаем. Еще Екатерина Вторая издала Указ о возвращении липован. Было обратное переселение и в начале этого века. А после войны, в 1946 году, правительство Петру Грозы договорилось с нашим о поэтапном отъезде из Румынии всех липован. Первый этап отправился в августе того же года. В Румынии был голод, многие ехали просто в надежде спастись, рассчитывали на «братскую помощь».

Вскоре из России дошло известие: вновь прибывших на границе сразу разделяют на две группы. Липоване заподозрили неладное и стали категорически отказываться от выезда. К счастью, в правительстве нашлись люди, которые настояли на отмене новой эвакуации, и родители Федора Ивановича Кириллэ остались в родном селе Каркалиу — неизвестно, что бы с ними стало в России. Как потом узнали, липован на границе делили по имущественному признаку: явных бедняков определили на жительство в Астраханскую область, других — в места куда более отдаленные...

Вот так и случилось, что родственники многих липован рассеяны по всей России — от Юга до Дальнего Востока. Поездки по родственным приглашениям — почти единственная возможность побывать на прародине. К сожалению, и эта возможность поуменьшилась, после того как МПС и Аэрофлот (в очередной раз) вздули цены.

«Культурный обмен» в основном сводится к посещению липованских сел советскими туристами. Один наш автобус из Херсона я случайно увидел в центре Каркалиу. Из него высыпали гости с внушительными баулами, сразу окруженные сельчанами. Наши привезли сигареты, конфеты, велосипедные камеры, дихлофос, висячие замки — чего тут только не было! Все взаимное общение свелось к формуле: «Сколько?» Полчаса довольно бойкой торговли — и гости укатили в Констанцу.

Я нисколько не осуждаю советских «бизнесменов»: жизнь дорожает, надо как-то оправдывать поездки. Тем более туристам здесь рады: местные магазины бедны товарами и «богаты» ценами (в Румынии тоже прошло резкое повышение цен), а тут можно поторговаться, купить подешевле. За кого мне было стыдно, так это за высокопоставленных советских гостей. Сколько раз я слышал — от сельчан, работников посольства, руководителей липованской общины — одно и то же:

— Если приезжает в Румынию турецкий руководитель, он обязательно встретится с турецкой общиной. Интересуются жизнью своих соотечественников главы правительств Венгрии, Греции, Болгарии. Советские — никогда! Словом не обмолвятся, будто нас не существует. За многие годы ни одна официальная советская делегация не проявила ни малейшего интереса к липованам — самой крупной общине в Румынии. И Брежнев был, и Горбачев, и депутаты ваши — никому дела нет...

Кириллэ рассказывал:

— В марте прошлого года я в составе парламентской группы ездил в Москву. Нас принимал Нишанов. Он так удивился: «Вы — русский?» Оказывается, Рафику

Нишановичу ничего не было известно о русских в Румынии. Я ему минут двадцать рассказывал о липованах...

В клубе села Сарикёй репетировал русский хор. Мы заглянули на минутку да так и остались. К стыду своему, я не знал, не слышал раньше половину старинных песен, которые пел хор. Возможно, они у нас забыты? Причем в хоре очень много молодежи — и не только русской. Когда мне сказали, что юная запевала Лика — румынка, я не поверил: такая солистка сделала бы честь многим московским фольклорным ансамблям... Потом мы вместе шли по вечерней улице, и они пели по нашим заказам. Не было такой песни, чтобы хор не знал.

Как же удалось триста лет, в отрыве от земли предков, хранить песни, обычаи, традиции, культуру русскую? Беженцы из России всегда держались друг дружки, селились вместе, компактно — это сыграло свою роль.

Но главная заслуга, бесспорно, принадлежит церкви — хранительнице русской духовности. Она свято берегла книги, обряды, язык, нравы. Авторитет церкви и сегодня высок. Всякий, стар и млад, встретивши на улице священника, обязательно поклонится и скажет:

— Простите, батюшка.

— Бог простит,— ответит он, снимая шляпу.

Липованские села совсем не похожи на деревеньки средней полосы России. Скорее они напоминают большие и зажиточные станицы Кубани. По три, пять, восемь тысяч жителей.

Дома ставят не квадратом, как у нас, а, как правило, узкие и длинные — шириной в одну комнату и длиной... это бывает трудно определить. На улицу дом выходит торцом, и конец его скрывается где-то в глубине двора, закрытый цветниками и виноградом. Баньку многие строят не отдельно, а тоже в доме, обычно рядом с кухней. Основной стройматериал — саманный кирпич — делают сами.

Схема, как бы сказали у нас, смежно-изолированная: комнаты идут анфиладой, но с улицы — два-три входа.

Даже в самую сухую погоду принято разуваться на крыльце.

Несколько дней я прожил в Каркалиу у Василия Козмы — председателя недавно распущенного колхоза. Семья у него небольшая: жена Катерина — продавец в промтоварном магазине, сын Сергей — ветеринарный врач и невестка Зина — медсестра. На четверых — то ли пять, то ли шесть комнат, но молодые собираются строиться. Зачем? Лучше, говорят, жить своим домом.

Дело не в том, что Василий работал председателем. Я бывал у многих «рядовых» сельчан и везде удивлялся просторным, любовно отделанным и прекрасно обставленным домам. Да, это не смоленские деревни... Откуда такая зажиточность, если в колхозах платили примерно 10 лей в день — по-нашему рубль?

В колхозах оставались преимущественно женщины. Мужики сколачивали артели и разъезжались по стройкам, на заработки — об этом я уже упоминал. В Румынии их прозвали «бородатыми экскаваторами»: они безотказно брались за самые тяжелые, грязные работы и вкалывали, не щадя себя. Но это

прозвище не совсем точное — липоване вообще хорошие строители, а не просто землекопы. Отличную репутацию они заслужили мастерством, трудолюбием, надежностью. Поэтому их охотно принимали в любом месте. (Сейчас мастера из Черкесской Славы строят церковь на Кубани — самый сложный «объект».)

Работали до седьмого пота не из жадности. Такая традиция у липован: недоешь, недоспи, но дом своей семье поставь достойный.

Сидим с Сергеем в доме его тещи Ольги Семеновны.

— Поехала бы я сейчас в Россию? Насовсем? Кирилл, муж, уговаривал. А я говорю: если б помоложе были... Нет, возраст не тот... И дом, видите, отстроили. Как все бросить? А в России я была. Два раза с Кириллом ездили в Краснодарский край. Село там есть на берегу Азовского моря, «За Родину» называется. Дуже мне понравились эти места. А живут там наши липоване, они после войны переехали. Хорошо живут, не жалуются.

— А вы здесь лучше жить стали? После революции?

— Еще не разобрали... Свободней стало, правду можно говорить.

— Вот если б раньше вы приехали,— вставляет Сергей,— мы бы так спокойно не сидели, не разговаривали. Уже приехала б полиция из Тульчи, из Мачина, нас бы на допрос таскали: кто такой? Зачем приехал? О чем говорили?

(Действительно, полиция не проявляла никакого интереса к московскому гостю.)

И Кирилл еще добавил:

— Наших мужиков возили в уездную полицию, в Тульчу, за то, что в ресторане — своем, сельском — пели русские песни... За каждым своим словом следить надо было — кругом полно доносчиков.

Ситуация в Румынии сейчас поразительно напоминает нашу: свобода слова — и беда в экономике, сельском хозяйстве, инфляция. И еще что интересно: многие, как и у нас, начинают вспоминать период правления компартии не только недобрым словом. Да, не было политических свобод, зато каждый имел прожиточный минимум. А теперь цены подняли в 3—5 раз, безработица грозит... Как быть тем, кто живет на одну зарплату?

Петр Петухов, сосед Сергея, работает на станции, которая подает воду для орошения полей. Сам в недавнем прошлом имел неприятности в секуритате за слишком длинный язык, а сегодня и он не слишком доволен:

— Колхоз и совхоз воду у нас покупают. А весь прошлый месяц лили дожди, воду никто не брал. Наш главный говорит: откуда я вам зарплату возьму? А я виноватый, что Бог дает дождь? При коммунистах дождь — не дождь, а жалованье идет.

И сразу, без перехода:

— А вы почему так плохо живете, что весь белый свет смеется? Такая богатая страна Россия — и... Надо же что-то наконец делать!

...Написал это — и вспомнились ежедневные многотысячные митинги на Университетской площади в Бухаресте. С одного из таких митингов, где требовали отставки Илиеску, я возвращался в посольство мимо целого комплекса больших недостроенных домов. Готовые «коробки» зияли пустыми глазницами-окнами. И в рабочее

время я не видел здесь какого-либо движения. Как мне рассказали, строительство заброшено сразу после декабрьской революции 1989 года. С тех пор здесь ни души. Зато на митингах — море людей. Ну, ладно, Чаушеску — палач, Илиеску чем-то не угодил, но почему бы дом не достроить? Для себя ведь, для народа.

Вот так и мы. Шесть лет митингуем, говорим, требуем, а взять, к примеру, лопату и привести в порядок двор — до такого мало кто додумывается.

Конечно, всерьез мечтает о возвращении тоталитарного режима узкий, известный нам круг лиц — и в России, и в Румынии. Но, прав Петр, надо же наконец что-то делать!

В сельском хозяйстве Румыния решилась на радикальный шаг: распустила этим летом колхозы. Василий Козма вовсе не опечален потерей «должности», наоборот, гора с плеч. Ведь румынские председатели работали в условиях, схожих с нашими образца 50—80-х годов: диктат властей, отсутствие какой-либо свободы, самостоятельности.

Василий — хороший механик, так что без работы не останется. Подумывает открыть вместе с товарищами ремонтную мастерскую. Да и семья его от колхоза не зависит: жена, сын, невестка — все на государственной службе. Вдобавок Сергей приобрел бывших колхозных овец — ему, как ветврачу, это самое подходящее дело. Сложнее тем, кто кормился от колхоза, особенно старикам: пенсии-то колхозной теперь не будет... А что будет? На этот вопрос я не нашел ответа ни у Василия, ни у других сельчан...

Словом, очень нелегкий переходный период переживают села Румынии... Между прочим, и нашим аграриям — сторонникам фермерства — не вредно бы съездить в Румынию именно в этот напряженный период, посмотреть «живьем» небезболезненный процесс дележа земли, прочувствовать возникающие при роспуске колхозов социальные проблемы. Оно, конечно, опыт заокеанских фермеров интереснее... Но разве не пригодился бы опыт страны, копировавшей нашу сельскохозяйственную структуру, а теперь ломающей колхозный уклад? Хотя бы для того, чтобы не повторять чужих ошибок, избежать возможных трудностей.

...Я ушел от темы, а как иначе, если у липован все мысли теперь о земле?

Сергей признался: ему удобней говорить все-таки по-румынски. Не только ему — иногда даже учителя русского языка в липованских школах затрудняются в подборе слов. Да, церковь многое сделала для сохранения национального сознания — она сберегла **основу**. Но очень многое зависит от семьи, школы, социальных условий...

В семье не могут прочитать ребенку сказку на русском языке, дать детскую книжку — русской литературы нет ни в магазинах, ни в библиотеках. В Каркалиу, в школе, проводили конкурс на лучшее чтение русских стихов. Победитель получил приз — книгу на французском языке!

В школах русский язык преподают как иностранный — со второго класса два часа в неделю. У педагогов часто нет методических пособий, специальной литературы. Раньше можно было вы-

писать журнал «Русский язык в национальной школе», потом советская сторона резко сократила подписной каталог.

Русское телевидение до многих сел не доходит, фильмы в кинотеатрах в основном французские. Вот так и живут, как за Великой китайской стеной — от России...

В прошлом году в городах Тульча и Сучава образованы два спецкласса в педагогических лицеях — сюда набрали одних липован. Они будут учителями и воспитателями. Но и в спецклассах те же проблемы: нет книг и т. п.

В тульчинском классе мы побывали. Из тридцати учениц (мальчик тут один-единственный) лишь двое ездили ненадолго в Россию. Очень хотели бы подружиться с какой-нибудь российской школой. Может, кто из наших откликнется? Девочки записали в мой блокнот адрес: SCOALA NORMALĂ TULCEA Str. Babadag, 136 (CLASA DE LIPOVENI).

— Вот этот бы класс,— говорил на обратном пути Анатолий Иванович Отдельнов,— пригласить бы, по линии комсомола,* в наш молодежный лагерь, сводить в Кремль, Оружейную палату... Наше посольство, используя также ССОД, общество «Родина», старается помочь липованам. Передали, сколько смогли собрать, пособий по русскому языку, две киноустановки для школ, оборудовали один класс русского языка — и всё, наши возможности исчерпаны. Капля в море! Крайне важен и культурный обмен. В прошлом году нам удалось направить две группы детей в советские пионерлагеря, но это опять же мизер, нужен широкий и постоянный обмен. Учителям русского языка совершенно необходимо регулярно приезжать на курсы повышения квалификации, студентов надо принимать в российские вузы — педагогические, медицинские. Неужели наши деятели, от кого это зависит, не поймут, что соотечественники заслуживают особого отношения? Нельзя же все мерить на валюту... И еще вот что хочу сказать. В селах много прекрасных хоров, гармонистов. Но среди липован нет профессионалов. Почему бы, скажем, советскому специалисту не приехать и не поработать с этими коллективами? Уверен, и ему это будет интересно: много нового для себя услышит.

По возвращении в Бухарест мы долго говорили с Федором Ивановичем Кириллэ у него дома о том, для чего создана липованская община и какие у нее задачи.

— Община имеет чисто этнический характер, возрождает то, что было утрачено в культуре. Политикой мы не занимаемся.

— Многого ли добились за эти полтора года?

— Прежде всего возможности говорить о себе, рассказывать о липованах по телевидению, радио, в газетах. При Чаушеску ничего такого не разрешалось. У меня накопилось много работ по истории липован, но напечатать их я не мог. А теперь община издает собственную газету «Зори». Но мы не хотим совсем обособляться от румын, поэтому газета выходит на двух языках. Основная задача сейчас — подготовка собственных кадров. Начало положено — я имею в виду организацию спецклассов в педагогических лицеях. В 24 школах восьми уездов русский язык теперь изучается как второй родной, а не иностранный. Когда вырастим свои кадры, то сможем ввести обучение на рус-

* Очерк готовился до последнего съезда ВЛКСМ.

ском языке — в тех селах, которые этого захотят.

— А чего не добились?

— Русские эмигранты в Румынии разъединены... У нас живут потомки эмигрантов времен гражданской войны, старая русская интеллигенция. Есть немало приехавших из России по политическим и иным соображениям. Наша община открыта для всех, не только староверов. Но... лишь единицы приходят к нам. Почему? Горько об этом говорить: старообрядцев притесняли такие же русские, поэтому сохранилось отчуждение на религиозной почве. Так я думаю. Если все русские объединятся — нам будет значительно проще решать вопросы по связям с Россией.

— Какую поддержку от России вы хотели бы иметь?

— Анатолий Иванович уже говорил... Мы написали письмо Раисе Максимовне Горбачевой — как заместителю председателя Фонда культуры. И получили ответ: Фонд приглашает руководителей общины в Москву для обсуждения развития отношений и конкретной помощи. Нас это обнадеживает. Что еще? Хотели бы тесно дружить со старообрядческими поселениями в Союзе — сделать сёла-побратимы. Пример такой есть: с помощью советского посольства организуем связи Каркалиу и молдавского села Куничи. Надеюсь, это только начало...

Напоследок я обещал своим собеседникам обратиться через «Смену» к россиянам: попробуем всем миром помочь соотечественникам. У каждого в доме есть не очень нужные книги (любые — детские, юношеские, учебники; может, кто-то не пожалеет отдать и русскую классику), журналы, пластинки с русскими песнями. Если вас не смутят почтовые расходы — направляйте посылки в адрес советского посольства в Бухаресте. С пометкой: «Для липован». А может быть, предложите и другие идеи?

Из работ, экспонировавшихся на Всесоюзной выставке фотолюбителей (июль — сентябрь 1991 года).

«Где-то здесь был мотор».
СЕРГЕЙ ДЕМЧЕНКО,
Североморск.





«Молочница». СЕМЕН ПРОСЯК, Днепропетровск.

«XXX». ВАЛЕРИЙ ЕГОРОВ, Ковров.





«Бомж?». МИХАИЛ РАСТЕГАЕВ, Киев.





«Подвези нас, друг». ВЛАДИМИР СТАРОДУБ, Сумы.




«Застолье». ОЛЕГ БУРОВСКИЙ, Запорожье.



«Обрезание в Киевской синагоге». ДМИТРИЙ ПЕЙСАХОВ, Киев.







«Намаз». ВЯЧЕСЛАВ САРКИСЯН. Аш; эбад.

Из серии «Страницы старого альбома». МАРЛЕН МАТУС, Днепропетровск.



«Маэстро». АРНОЛЬД БОВКУН, Киев.



«У окна». ВАЛЕРИЙ СКЛЯРЕНКО, Киев.



СВЕТЛАНА МАГДИСОН

«Я ДОБРЫМ БЫТЬ СТРЕМИЛСЯ»...

XX век размышлял о Мерзлякове не так уж много... Но возьмешь в руки его книгу «Песни и романсы», изданную в 1830 году, и чувствуешь, как вокруг все поет и все поют... И встает перед взором Россия, не величественная и сильная, а грустная, страдающая, любящая.

Виссарион Белинский ценил Мерзлякова за его глубоко русские песни. В них, говорил он, слышится «грусть-тоска, русское горевание, от которого щемит сердце и захватывает дух».

Алексей Федорович Мерзляков родился в марте 1778 года в маленьком уездном городке Далматове Пермской губернии. Отец будущего поэта Федор Алексеевич Мерзляков держал маленькую лавочку; доходы от торговли были мизерными; семья с трудом сводила концы с концами. Но часто на последние гроши Федор Алексеевич Мерзляков покупал книги для сына. Он сам выучил Алексея и писать, и читать. По вечерам за большим семейным столом Алексей Мерзляков читал домашним «Бову Королевича», русские народные сказки, нравоучительные басни Василия Майкова, а позднее и оды Михаила Васильевича Ломоносова.

Способности к учению и огромное, какое-то недетское стремление к знаниям Алеши Мерзлякова первым заметил его родной дядя Алексей Алексеевич Мерзляков. Он служил правителем канцелярии при генерал-губернаторе Пермской и Тобольской губерний Волкове. Однажды, приехав к брату, он уговорил его отдать ему сына Алешу; так Мерзляков оказался в 1790 году в Перми. В это время в Перми открывались народные училища; директором их был назначен Иван Иванович Панаев, близкий друг Алексея Алексеевича Мерзлякова, человек образованный и добрый. Посетив



Мерзлякова, Иван Иванович Панаев обрадовался начитанности его племянника; но мальчик пребывал здесь на положении слуги: приносил самовар, разливал чай, убирал посуду, ходил на базар... Вскоре Панаев устроил Алешу в Пермское народное училище, взяв его под свою опеку.

Спустя год тринадцатилетний Алеша Мерзляков решил дать на суд Панаеву свою «Оду на заключение мира со шведами». Панаеву «Ода» понравилась, и он представил ее генерал-губернатору А. А. Волкову. Поэтические способности мальчика были высоко оценены. «Оду» отправили в Петербург — Главному начальнику народных училищ князю Петру Васильевичу Завадовскому; последний преподнес ее на одном из дворцовых приемов самой императрице Екатерине II.

Алексей Мерзляков писал впоследствии так: «Благодетельная государыня приказала напечатать эту Оду в издаваемом тогда при Академии журнале и, сверх того, несколько экземпляров — собственно для сочинителя». Они оказались в роскошном кожаном переплете, а текст был обрамлен золотой рамкой.

Итак, стихотворение Мерзлякова было напечатано в академическом журнале «Российский магазин» (1792, часть I), издававшемся поэтом Федором Туманским, под таким названием: «Ода, сочиненная Пермского главного народного училища тринадцатилетним учеником Алексеем Мерзляковым, который сего училища, нигде инде ни воспитания, ни учения не имел». Затем «Ода» вышла отдельным изданием тиражом в 300 экземпляров. Юный Мерзляков, по высочайшему рескрипту Екатерины II, получил счастливую возможность выбрать себе любое столичное учебное заведение для продолжения образования.

Он выбрал Москву... И был пе-

Рисунок Игоря Ключникова

репоручен куратору Московского университета, известному русскому поэту Михаилу Михайловичу Хераскову (1733—1807). Михаил Херасков очень тепло принял юного Мерзлякова в своем знаменитом доме на Новой Басманной, где юноша и жил первое время, проводя вечера в беседах о литературе. А ведь ему было всего тринадцать лет! Он хорошо помнил деликатность учителя, относившегося к провинциальному мальчику как к равному. Херасков предлагал ему в дальнейшем занять у него место секретаря. Он устроил Мерзлякова в казеннокоштную гимназию при университете, основанную в 1755 году академиком Иваном Ивановичем Шуваловым, первым куратором университета. На казенный кошт принимались молодые люди из небогатых семей, не имевших в Москве родственников. Такие «премудрые учреждения» при университете призваны были воспитать просвещенных, умных, сознательных граждан России.

Все годы учебы (1793—1797) в университетской гимназии Мерзляков, опекаемый Херасковым, неизменно получал высшие награды. В 1798 году, окончив университетскую гимназию первым учеником, получив Большую золотую медаль, он стал действительным студентом Московского университета. Блестяще отучившись на словесном отделении философского факультета, Алексей Мерзляков был оставлен на кафедре российского красноречия, стихотворства и языка, а вернее, он сам создал эту кафедру и в 1804 году стал экстраординарным профессором, а в 1817 году — деканом словесного факультета.

В начале царствования Александра I в Московском университете был введен новый устав и узаконены живые и смелые формы работы профессоров со студентами — диспуты, беседы, собрания, научные заседания, просветительные общества... Будучи прекрасным оратором, Мерзляков проводил лекции, беседы, диспуты очень живо и заманчиво. «Развертывается книга, и начинается превосходное изложение...», да и как поэт он «имел огромные достоинства. Он умел заказной казенной оде дать смысл и облечь ее одушевленною торжественностью. Студенты его любили и уважали, он был с ними добр и не заносчив...».

Мерзляков вел беседы и с детьми из Пансиона. До чего увлекательны были эти дружеские (и учебные!) собеседования! Говорили о латинских и греческих стихотворцах, о прочитанных книгах, о стихотворных опытах и прозаических набросках самих воспитанников, о риторике и пиитике, о Вольтере и Руссо, о баснях Крылова и великолепной декламации Тальма, о русском театре и драмах Шиллера, об уроках художественного чтения и пансионском оркестре, собиравшем слушателей со всей Москвы. Так Мерзляков пробуждал у своих воспитанников душевный интерес к искусству, театру, литературе, музыке... Влияние его сказалось на творчестве многих его учеников. Он был учителем Грибоедова, Вяземского, Полежаева, Лермонтова, Ивана и Петра Киреевских, Чаадаева, Веневитинова, Каверина, Тютчева... Именно Мерзляков с восхищением принял оды Горация в переводе юного Тютчева, угадав в тринадцатилетнем ученике будущего гениального поэта. У Мерзлякова было несомненное чутье на талантливых людей. Он первым приветствовал творческое дарование Грибоедова. Учителю нравилось, что ученик, изучив за десять лет бездну наук, более всего любил словесность... Ни одной лекции Алексея Федоровича Мерзлякова не пропустил Грибоедов, считая его великим златоустом.

И хотя числился Мерзляков

в университете профессором русской поэзии и красноречия, любил он соревноваться с молодежью... в переводах с древнегреческого, латинского... Вся Москва слеталась на его живые беседы о поэзии, о русских классиках, о русском слове...

«Школу филологии Мерзлякова», к тому же великолепно читавшего «искусство красноречия», прошли многие будущие декабристы: Иван Щербатов, Михаил Бестужев-Рюмин, Никита Муравьев, Федор Вадковский, Александр Якубович, Петр Каховский, Николай Тургенев...

Мощное гражданское воздействие слова, литературы, свободолюбивых литературных объединений первой четверти XIX века, таких, как «Дружеское литературное общество», «Собрание университетских питомцев», «Зеленая лампа», «Арзамас», «Священная артель», «Общество громкого смеха», нашло свое выражение в декабристской «Зеленой книге». Об этом думал, говорил и писал Мерзляков. Декабристы не раз вспоминали «своего замечательного профессора-словесника Мерзлякова», неизменно называя его «красотой университета».

Деспотизм, самодержавие, бесправие народа — все это было глубоко чуждо и ненавистно Мерзлякову. Он хотел видеть в своих учениках людей образованных и, конечно, смелых, любящих свою Родину. Эта подчеркнутая любовь Мерзлякова к России была широко известна. Он мечтал видеть русского человека, как и русскую нацию в целом, способными соревноваться в образованности с любым самым развитым народом Европы. Это была деятельная любовь к Отечеству, оказавшая сильное влияние на его учеников. Николай Тургенев говорил: «Ни о чем никогда не думаю, как о России. Я думаю, если придется когда-либо сойти с ума, думаю, что на этом пункте и помешаюсь». А знаменитый Владимир Раевский, учась в Благородном пансионе, проводил у Мерзлякова «целые вечера в патриотических мечтаниях».

Мерзляков любил устраивать у себя поэтические вечера, на которые приходили известные писатели, музыканты, артисты и близкие друзья. Но все это было по-домашнему тепло, скромно. В больших чопорных собраниях Мерзляков был молчалив и замкнут. «Домашние беседы» о литературе и театре, музыке и поэзии, живописи и русской истории привлекали многих, его настоящие и бывшие ученики, ставшие знаменитостями, не пропускали этих домашних собраний. К Мерзлякову заходили президент Академии наук Уваров, поэт Дмитрий Владимирович Веневитинов, бывший его ученик, дипломат Александр Сергеевич Грибоедов, музыкальный критик Владимир Федорович Одоевский, «слава и краса студенчества» Степан Михайлович Семенов, молодой философ Петр Яковлевич Чаадаев, еще один Семенов, Петр Николаевич, душа общества, отличный стилист... В беседах, обратим на это внимание, принимали участие и юные словесники, пансионеры, жившие у Мерзлякова,— будущие декабристы Гаврило Степанович Батеньков, Иван Дмитриевич Якушкин, будущий общественный деятель Дмитрий Николаевич Свербеев (он оставил интересные воспоминания о Мерзлякове и его талантливых учениках), Сергей Петрович Жихарев, будущий председатель Театрально-литературного комитета. И юные словесники чувствовали себя свободно, они могли даже вступить в спор с «учеными мужами», а Мерзляков поощрял их. Он любил свободную, живую импровизацию бесед младших и старших, в которых вырабатывались «собственные мнения», проявлялись и формировались личности.

Любимым учеником Мерзлякова

был Лермонтов, бравший у него и частные уроки: греческий, латынь, русская грамматика, немецкий, английский... В обязательный пансионский курс входили юриспруденция, богословие, математика, физика, военное дело... Из «необязательных предметов» Лермонтов изучал музыку и рисование. «Испытания в искусствах» шли после сдачи экзаменов по основным предметам. Обычно это было в январе. Обставлялись «Испытания» очень торжественно. В большой зал Пансиона собиралась знать Москвы, брались напрокат стулья и кресла... Четырнадцатилетний Лермонтов на «Испытаниях» исполнял на скрипке часть сложнейшего «Концерта» Маурера.

В 1830 году на торжественном акте, который бывал обычно 26 апреля, по случаю одиннадцатого пансионного выпуска, Лермонтов был отмечен как первый ученик. На этом торжественном акте, вероятно, присутствовала Наталья Федоровна Иванова, знаменитая Н.Ф.И., дочь друга Мерзлякова — Федора Федоровича Иванова (к этому времени уже покойного). На торжество ее пригласил Мерзляков и познакомил с ней Лермонтова...

Мерзляков решительно убеждал Елизавету Алексеевну Арсеньеву, бабушку Лермонтова, что будущее ее внука — поэзия. А когда в 1837 году с Лермонтовым «стряслась беда» (в связи с его стихотворением «На смерть поэта»), она корила себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературе: вот до чего он довел его...»

В начале XIX века, после университетской реформы 1804 года, вокруг Московского университета начали возникать различные общества. Первым родилось Общество испытателей природы, затем Физико-медицинское общество, в 1810 году возникло Математическое общество, основанное студентом Михаилом Муравьевым. А в 1811 году по инициативе А. Ф. Мерзлякова было создано Общество любителей российской словесности. Организацию его осуществил ученик Мерзлякова Алексей Алексеевич Перовский, известный под псевдонимом Антоний Погорельский (1787—1836), автор замечательной сказки «Черная курица, или Подземные жители» (1829). Мало кто знает, что написал он ее для своего маленького племянника — Алексея Константиновича Толстого.

Заседания этого Общества проходили в актовом зале университета, сюда приглашались и студенты, и пансионеры. Постоянным председателем Общества был директор Пансиона профессор Антон Антонович Прокопович-Антонский (1726—1848), а его деятельным помощником, или, лучше сказать, душой Общества, был Мерзляков. Писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, действительный член Общества, рекомендованный Мерзляковым, писал: «Это Общество имело значение и влияние. Московская публика приняла живое участие в его заседаниях...».

На торжественных собраниях и дружеских торжествах Общества Мерзляков говорил о свободолюбии и высоком патриотизме, возмущаясь льстецами, льющими елей на царский трон. В отзывах современников и письмах он предстает человеком удивительно честным, душевным и добрым, свободолюбивым и чуждым всякого искательства... В сентябре 1802 года Мерзляков писал сыну директора Московского университета Александру Ивановичу Тургеневу, что он всегда питал неприязнь, даже вражду, к «превосходительным собакам, которые бывают злее обыкновенных». Речь шла о царских министрах.

Откровенные речи Мерзлякова объяснялись, вероятно, измене-

нием политической обстановки в стране после убийства Павла I.

Отрицая «легкую поэзию» карамзинистов, годную лишь для дворянских салонов, Мерзляков был одним из тех, кто публично провозгласил важность политической тематики в русской поэзии. Он выработал высокий идеал героя-борца, что было новым пониманием роли литературы (особенно поэзии) в жизни общества. Мерзляков смотрел на литературу прежде всего как на провозвестницу идей века...

Но, пожалуй, песня пережила все, что написал этот замечательный человек — педагог, критик, поэт, переводчик.

Книга Мерзлякова «Песни и романсы» была в истории русской поэзии первой книгой авторских песен, изданных по воле самого поэта. Народ признал Мерзлякова «своим» и поставил его в один поэтический ряд с Крыловым. Михаил Александрович Максимович, большой знаток русского фольклора, русской народной поэзии, крупнейший филолог, в издаваемом им альманахе «Денница» написал о Мерзлякове: «Как поэт он замечателен своими лирическими стихами, особенно русскими песнями, в коих он первый умел быть народным, как Крылов в своих баснях...»

Но Мерзлякову не пришлось увидеть «свою заветную книгу».

Все лето 1830 года почти ежедневно ездил он из Сокольников, где жил на даче, в типографию смотреть, как печатается его книга. С каким нетерпением он ждал ее! Чувствовал, вероятно, что не подержит в руках свое детище. Он торопил наборщиков, вел переговоры с цензурой. А цензуровал эту книгу и подписывал на выход в свет примечательный, даже знаменитый цензор — Сергей Тимофеевич Аксаков; об этом свидетельствует его подпись на обороте титульного листа: «Печатать позволяется с тем, чтобы по отпечатании представлены были в Цензурный комитет три экземпляра. Москва, 1830 года, июля 31 дня. Ценсор Сергей Аксаков». «Ах, медлительные люди, вы немного опоздали!» Всего пяти дней не хватило автору, чтобы увидеть эту, такую желанную подпись Аксакова: 26 июля 1830 года Алексея Федоровича не стало.

В память о дорогом друге известный гитарист М. Т. Высотский создал концертные вариации к песне «Среди долины ровныя...». А Лермонтов, вероятно, слушая эти «вариации» и вспоминая песни своего учителя, написал стихотворение «Звуки»...

АЛЕКСЕЙ МЕРЗЛЯКОВ

ЧУВСТВА В РАЗЛУКЕ

Что не девица во тереме своем,
Заплетаешь русы кудри серебром:
Месяц на небе, без ровни, сам большой,
Убирается своею красотой.
Светлый месяц! весели, дружок, себя!
Знать, кручинушке высоко до тебя!
Ты один, мой друг, гуляешь в небесах,
Ты на небе, так как я в чужих краях,
А не знаешь муки тяжкой — быть одним,
И не сетуешь с приятелем своим!..
Ах! всмотрись в мои заплаканны глаза,
Отгадай, что говорит моя слеза:

Травка на поле лишь дождичком цветет,
А в разлуке сердце весточкой живет!
Все ли милая с тобой еще дружна;
Пригорюнившись, сидишь ли у окна;
Обо мне ли разговор с тобой ведет,
И мои ли она песенки поет?..
Птичка пугана пугаешься всего!
Горько мучишься для горя одного!
Горько плакать и конца бедам не знать!
Не с кем слез моих к любезной переслать!
У тоски моей нет крыльев полететь,
У души моей нет силы потерпеть,
У любви моей нет воли умереть!
Изнывай же на сторонушке чужой,
Как в могиле завален один живой!
Будь, любезная, здорова, весела;
Знать, ко мне моя судьбинушка пришла!

СОЛОВУШКО

Для чего летишь, соловушко, к садам?
Для соловушки алеет роза там.
Чем понравился лужок мне шелковой?
Там встречаюсь я с твоею красотой.
Как лебедушка во стаде голубей,
Среди девушек одна ты всех видней!
Что лань быстра, златорогая в лесах,
С робкой поступью гуляешь ты в лугах.
Гордо страстный взор разбегчивой блеснул;
Молодецкой круг невольно воздохнул,
Буйны головы упали на плеча,
Люди шепчут: для кого цветет она?
Наши души знают боле всех людей,
Наши взоры говорят всего ясней.
Но когда, скажи, терпеть престану я?
Дни ко мне бегут, а счастье от меня.
Пусть еще я не могу владеть тобой,
Для чего же запретил тиран мне злой
Плакать, видеться с красавицей моей?
И слезам моим завидует злодей!

═

Меня любила ты: я жизнью веселился,
День каждый пробуждал меня к восторгам вновь;
Я потерял тебя и с счастием простился:
Ах, счастием моим была твоя любовь!
Меня любила ты: средь милых вдохновений,
Я пел прекрасную с зарею каждой вновь;
Я потерял тебя, и мой затмился гений:
Ах, гением моим была твоя любовь!
Меня любила ты: я добрым быть стремился,
Искал несчастного, чтоб дать ему покров;
Я потерял тебя, мой дух ожесточился:
Ах, добротой моей была твоя любовь!..

Фейерверк над Качканаром

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВ

ФОТО ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

В шести часах езды автобусом к северу от Свердловска, в городе, где по улицам меж «хрущоб» бродят козы и лошади, где всего два книжных магазина и трехчасовая очередь за хлебом, сегодня фестиваль поп-музыки.

И — фейерверк!

...Долго еще будут вспоминать жители пятидесятитысячного Качканара этот праздник. Как пели, заводя переполненный городской стадион (сюда добрались «фанаты» аж из Свердловска), Игорь Николаев и Наташа Королева, Сергей Крылов и ребята из «Фристайла», «Страны чудес», «Агаты Кристи»... Как озарялось уральское небо брызгами огней и на лицах ошеломленных качканарцев плясали разноцветные отблески...

В общем, было весело. И хоть на несколько часов можно было забыть о тяжких колдобинах на несусветном пути к рыночной жизни.

Фестиваль этот, организованный культурным центром «Микан», доходов городу (ни в рублях, ни в валюте) не принес. Впрочем, затевая его, о доходах и не думали. Что же касается расходов, то львиную долю их взял на себя местный радиозавод «Форманта».

Интерес к поп-музыке у завода не праздный: цеха оборонного предприятия ныне выдают на-гора электрогитары, синтезаторы, электропианолы, усилители — все, без чего теперешней музэстраде попросту не прожить.

Ну а «Микан» — в чем его интерес? Только ли в «бабках», «фанере», «капусте» — как там еще!.. Словом, истинные подвижники культуры или же наши совковые «коммерсанты» нагрянули в юный уральский город?

— Фестиваль в Качканаре мы проводим третий год,— рассказывает директор «Микана» Владимир Минаев, музыкант с высшим экономическим образованием.— Нам по душе доброжелательность и душевное пристрастие качканарцев к этому празднику. Открытость, эмоциональность публики, поверьте, бывают нам дороже самого крутого навара...

— Ну а вообще, выгоден сегодня шоу-бизнес? Или «лихие» деньги — лишь досужий миф?

— Для «лихих» ребят — не миф. Можно, конечно, раз-другой сорвать куш и разбежаться... Но те, кто настроен серьезно работать в шоу-бизнесе, одним днем не живут. Имя фирмы, репутация — самые надежные дивиденды.

— И все же, Владимир, при чистой альтруистике «Микан» попросту не выжил бы на «диком» рынке эстрадного предпринимательства...

— Заранее просчитываем: ведь мы должны платить за аренду помещения, транспорт, распространителям билетов. И — львиную долю — артистам. Причем оплатить стопроцентно, если даже окажемся «в прогаре».

— А сколько вас в «Микане»?

— Штатных пятеро. По мере надобности берем людей по контракту. Мы организовывали шоу-концерты в Воронеже, Иркутске, Белгороде, Липецке и прежде всего ориентировались на состав публики: молодежный ли, средний возраст, больше рабочих или студентов? От этого во многом зависит, кого из артистов приглашать — Газманова, Машу Распутину, а может, Ксению Георгиади, Толкунову... Просчитывать заранее надо все: конъюнктуру, региональный спрос, уровень общей культуры того или иного города, края...

— А почему «Микан»?

— Ну, это просто: «Ми» — Минаев, «Ка» — Каневский. Мы с Сашей, можно сказать, родители Центра.

— Трудно зазвать «звезду» в провинциальные города?

— В общем-то нет... Некоторые, конечно, набивают себе цену. Но вот что интересно: чем значительней, талантливей артист, тем проще, интереснее с ним работать. Личность никогда не позволит себе хамства, невежества, воинствующего эгоизма.

— А «звездочки»?

— О-о-х! Лучше не будем...

— А что радует сегодня?

— Мы несем людям праздник...

...Погас фейерверк над Качканаром, опустел стадион, закончился фестиваль. Разъехались «звезды», телевизионщики, и дежурные в городской гостинице облегченно вздохнули: отбыли суматошные постояльцы...

Что же это было — рекламное шоу, глоток освежающего «оранджа» в часы тяжкого похмелья или все-таки шажок к нормальной человеческой жизни — праздничной и счастливой?

Конечно же, фестиваль поп-музыки в небольшом уральском городе на фоне нынешнего разора и полуголодного быта может показаться нелепым чудачеством, а то и вовсе насмешкой: дескать, накормили бы сперва, а потом уже и пляс, и песни.

Мы много говорим о свете в конце тоннеля, но слабый отблеск в темноте — пусть мгновенный, от спички — тоже вселяет надежду: ты не один, рядом с тобой человек, который может устроить праздник...

Кто заказывает МУЗЫКУ

Зачем заводу понадобился фестиваль поп-музыки? С этого вопроса и начался наш разговор с директором «Форманты» СЕРГЕЕМ НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ.

Но прежде давайте поближе познакомимся с моим собеседником.

Новосельцеву 44 года. Он окончил Новосибирский университет. Здесь, в Качканаре, с 1986 года. Женат. Двое детей...

— Фестиваль мы проводим уже в пятый раз... Ну, а почему поп-музыки? Это понятно — ведь завод производит и электромузыкальные инструменты. Он обеспечивает почти половину союзного музыкального рынка. Когда я пришел на предприятие, продукцией был забит даже зимний сад. Вот и родилась идея провести некое рекламное шоу. А сейчас фестиваль стал традиционным, и хотя изделия наши в особой рекламе уже не нуждаются (мы сильно обновили ассортимент), не хочется лишать качканарцев праздника.

— Да, ваши инструменты покупают. Однако профессиональные музыканты пока гоняются за «Ямахой», а не за «Формантой»...

— Мы проигрываем зарубежным фирмам прежде всего потому, что в стране нет качественных электронных компонентов. Поэтому видится такой путь к мировому рынку: не соперничать с заграничными грандами электроники, а работать с ними вместе.

— Еще несколько лет назад завод был «ящиком», и доля спецтехники в объеме его продукции составляла 60 процентов. Прошло совсем немного времени, и «оборонка» уменьшилась до 15 процентов. Как вам удалось так быстро конверсироваться?

— Недавно проходил совет директоров нашей отрасли. И большинство моих коллег говорили о том, что надо сделать Кабинету



министров, Министерству обороны, чтобы предприятиям (а вернее, руководителям) жилось безбедно... По-прежнему сохраняется стереотип: дайте! Директор завода, принадлежащего ВПК, сидит и ждет, чтобы ему сказали: в таком-то году у вас снимут то или иное изделие, вместо этого вы будете делать другую продукцию, гражданскую, и на освоение получите столько-то миллионов... Не будет этого! Единственное, что Кабинет министров может: определить четко, на сколько (в рублях) сократятся объемы и какая номенклатура изделий снимается... А дальше — крутитесь сами. Надеяться на Москву, на «дядю с вертушкой» нечего. У министерских чиновников сегодня голова болит, как им выжить, а не как спасти, к примеру, Качканарский радиозавод... У нас сто конструкторов, неужели мы ничего не придумаем? Конверсия совпала с «раскрепощением» завода (раньше он был филиалом свердловского), и портфель был полон разработками: и теми, которые сами сделали, и теми, что купили в кооперативах. За освоение нового изделия солидно платили конструкторам, технологам, рабочим. И добились, что оно проходит путь от задумки до серийного производства всего за полтора года...

— Сейчас время когда государственные заводы переходят в частные руки. Как вы, Сергей Александрович, относитесь к приватизации, аренде?

— Мы пошли вот каким путем: все производство делим по принципу: завод — цех. Три-четыре сборочных завода, инструментальный, механический, технохимический, пластмассовый. Работать они будут как товарищества с ограниченной ответственностью, радиозавод в числе их учредителей. Он станет холдинговой фир-

Фото ИГОРЯ ЯКОВЛЕВА

мой с инженерным корпусом и маркет-центром... Что касается акционерного общества, аренды, кооператива — это все-таки не для нас. Вот превратили мы один из цехов в кооператив — там трудится около трехсот человек. Есть, конечно, и несомненные плюсы — люди стали требовать не зарплаты, а работы. Но много и минусов... Люди ориентированы на скорейшее получение денег. Как только появляется прибыль, всю ее тут же стремятся разделить. И не думают, что надо откладывать на техническое перевооружение, на обучение кадров... А у товарищества с ограниченной ответственностью есть учредители, которые назначают по контракту директора. Он несет ответственность за техническую политику и стратегию и неподвластен коллективу. Последнее слово остается за ним.

— *Что же вам даст такое преобразование завода в группу дочерних фирм?*

— Кто сейчас заинтересован в прибыли, эффективности? Директор и трое — пятеро его ближайших помощников. Остальных волнует лишь зарплата. А если мы делим завод на 10—15 предприятий, то число лиц, заинтересованных в прибыли, увеличивается раз в двадцать. Во-вторых, в небольшом подразделении каждый замечает вклад каждого, и все видят, что у них получается на выходе... И третье. Нам постоянно предлагают всякую «мелочевку» делать. Но выполнять такой заказ заводу невыгодно. А «заводам-цехам», наоборот, «мелочевка» на руку: ведь 80 процентов прибыли остается у них...

— *Товарищества с ограниченной ответственностью — бывшие цеха — будут рассчитываться друг с другом по неким условным ценам?*

— Нет. Каждое зарегистрировано и юридически оформлено: счет в банке, печать. Это независимые предприятия. На заводе остается аппарат моего заместителя по производству. Он координатор совместных производственных усилий и в то же время арбитр в спорных вопросах.

— *Но в таком случае из-за игры цен какое-то товарищество станет сразу же очень рентабельным, а другое, напротив, окажется на грани банкротства...*

— Систему ценообразования мы разработали так, чтобы на старте обеспечить всем равные условия. И в течение первого года эти цены будем корректировать. Кстати, руководитель товарищества имеет не только зарплату, премию, но и свою долю от прибыли... Я думаю, это будет его здорово стимулировать.

— *Есть директора,— конечно, я говорю о мыслящих, думающих директорах,— которые стремятся стать «совладельцами» и поэтому преобразуют свои заводы в кооперативы, в акционерные общества. А есть и такие, которые хотят быть хозяином. Единолично...*

— Догадываюсь, я — «единоличник»?.. Нет, и я за то, чтобы коллектив был совладельцем на 10—15 процентов. Многие наши экономисты говорят: давайте сделаем все предприятия коллективными. Но дело-то в том, что прав бывает всегда сначала один человек, потом группа единомышленников. А если все решается голосованием, никакого прогресса не будет...

— *Сейчас у нас существует как бы две экономики: одна государственная и другая — альтернативная. Новое со старым сосуществуют. Пока... Но все же, какая система выиграет?*

— Альтернативная. Сейчас директора предприятий только сто-



Группа «Сладкий яд».

Группа «Сладкий яд.»

Наталья Королева и Игорь Николаев.

Группа «Фристайл».

Сергей Крылов.



Группа «Страна чудес».

нут: кадры переманивают, дескать, кооперативы. А поделать ничего не могут. Через несколько лет из гигантских заводов получится «пустышка» с хорошим оборудованием, но без специалистов. А пройдет два-три года, частные фирмы нарастят капитал и начнут эти заводы покупать оптом и в розницу. И «сожрут». Знаете, когда я в детстве шел с рыбалки, бросал рыбу в муравейник, а назавтра видел один скелет...

— Что ж, рынок — жестокое дело... Представьте, в товариществе с ограниченной ответственностью обнаружится, что пятьдесят человек из трехсот — лишние. И ими окажутся молодые, которые еще не научились работать. Или женщины, старики...

— Молодых все равно разумные руководители будут брать. Они ведь смотрят на три-четыре года вперед: легче молодого научить работать, чем переучить пожилого. Что касается женщин, мы, например, записали в коллективный договор, что их нельзя уволить в течение года после того, как они пришли из декрета: надо дать им время адаптироваться. А старики... Богатое предприятие их не обидит. Богатые люди обычно добры — будем их содержать, платя хорошее пособие... Некоторые ретивые хозяйственники требуют: самые широкие права увольнять людей. Не дай-то Бог! Я знаю завод в Свердловске, где работают 12 тысяч, а вполне можно обойтись восемью... Ну, сократит директор эти четыре тысячи. И что? Они выйдут на улицу, перевернут трамваи и будут швыряться бутылками... Изменения в КЗоТе, конечно, нужны, но нельзя его делать таким, как, скажем, в ФРГ. Пока нельзя...

— Знаю, что очень многие руководители предприятия — да и рабочие тоже — жалуются на отвратительное снабжение: так плохо, как в нынешнем году, еще никогда не было...

— Это трагедия. Но надо уметь подстраивать себя под ситуацию. Не ставить же на каждом заводе комиссаров-снабженцев с генеральскими погонами... Хотя многие мои коллеги по ВПК, знаю, были бы не против.

— Два традиционных вопроса. Первый: ваши планы?

— Сейчас одна из самых важных задач: запустить производство телевизоров. Трубку, управляющие микросхемы поставит нам фирма «Родстар». А пластмасса, резисторы, конденсаторы — наши. Они не хуже «фирменных». С этим телевизором можно попытаться вклиниться на восточноевропейский рынок — достаточно рыхлый в отличие от плотного западноевропейского.

— И второе: как вы проводите свободное время?

— Работаю я обычно с восьми до восьми, иногда и позже засиживаюсь. Свободного времени мало. Самое приятное для меня занятие — читать.

— Что же вы читаете сейчас?

— Фаддея Булгарина. Знаете, очень неплохой писатель...

Беседу вел
СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ.

Не вооружен,

КОНСТАНТИН ТИНОВИЦКИЙ,

мастер спорта СССР

Слабонервных попрошу дальше не читать — речь пойдет о рукопашном бое...

С людьми, которые им занимаются, я близко познакомился в Алуште, на всесоюзном семинаре «Школа выживания по системе русского боевого искусства». Что же это такое?..

Автор системы — самооборона в экстремальных условиях — Алексей Алексеевич Кадочников, преподаватель механики и физвоспитания Краснодарского военного ракетного училища. (К слову, спасибо руководству училища, что под своей «крышей» помогло сохраниться этой боевой культуре. Было время, когда некоторым горе-специалистам из ведомственных соображений очень хотелось «похоронить» ее.)

Здесь, в Алуште, «школой выживания» руководил ученик и последователь Кадочникова мастер спорта по самбо и дзюдо Александр Ретюнских...

Впервые «стиль Кадочникова», или, как его еще нередко называют, «краснодарский вариант боевого самбо», я увидел зимой в Москве на просмотре фильма «Один на один с врагом». Уже тогда меня поразила мягкость, легкость и самобытность рукопашной боевой техники, продемонстрированной курсантами-ракетчиками. Теперь с этой техникой мне предстояло познакомиться, что называется, с глазу на глаз.

120 человек, заинтересовавшихся «краснодарским вариантом», прибыли в Крым со всех концов страны. Самбисты, дзюдоисты, поклонники древнегреческого панкратиона, ученики школ кунг-фу и ушу, каратисты, бойцы, исповедующие французский и тайландский варианты бокса, хранители традиций бурятской родовой борьбы, знатоки славянского кулачного боя и казацкого поединка. Кого тут только не было! Летчик гражданской авиации, метростроевец, строитель, кооператор, токарь, милиционер, тренер, швейцар ресторана... И при всей разности — возрастной, социальной, культурной — они быстро находили общий язык. «Маваши», «боковой удар», «подножка», «залом», «рамка» — этими боевыми словами был насыщен приморский воздух.

Новичков почти не было. Ехали не только поучиться и людей посмотреть, но и себя показать. А кое-кто всерьез готовился и к жестким спаррингам в полный контакт (потом уже с усмешкой об этом рассказывали). И многие были обескуражены, когда услышали от самого Кадочникова, что его система требует прежде всего кое-что вспомнить из школьного учебника физики, такие понятия, как «рычаг», «консоль», «пинцет».

НО смертельно опасен

Как и чему я учился у Кадочникова...

Фото ВЛАДИМИРА ЧЕЙШВИЛИ

Эти слова вдруг стали столь же популярны, как и названия боевых приемов. Ведь «система» построена на основе законов механики. И когда ты их начинаешь применять на практике, сложное неожиданно становится простым. (Нынешние школьники, к вам обращаюсь, не советую прогуливать уроки физики — может пригодиться!)

...Я решил, забыв о возрасте, все испытать на себе. Это было непросто. Тренироваться предстояло трижды в день. А после обеда, когда сам Бог велел вздремнуть и наломанное тело умоляло об отдыхе, надо было идти на лекции по «выживаемости». Как без приборов точно узнать температуру воздуха и скорость водного течения? Определить без компаса свое местонахождение? Рассчитать запас сил и обеззаразить воду?

Не знаете? А выжить хотите?

Трехразовые тренировки уже давали себя знать, мы вживались в боевое искусство, как путешественники в новые условия обитания, шла профессиональная акклиматизация. И не имело значения — ночь на дворе или день.

Однажды я проснулся от того, что сосед по гостиничному номеру извивался на кровати и пытался размахивать руками и ногами под одеялом.

— Ты что? — спросил я, плохо соображая спросонья.

— Занимаюсь рукопашным боем,— не просыпаясь, ответил он, перевернулся на другой бок и сладко засопел...

Алушта, готовясь к пляжному сезону, чистила перышки. Ни свет ни заря мы «трусили» на берег моря (если позволяла погода), и утро пахло расцветающей крымской сосной, большой водой и свежей краской. На холодном песке и свежеумытой гальке пляжа мы просыпались окончательно, «ломались» в суставах, «брали» захваты и освобождались от них, наносили удары и увертывались, стараясь при этом действовать мягко и по возможности даже изящно. Мне, честно говоря, это удавалось не часто. Было обидно: как-никак мастер спорта по самбо и дзюдо, тренер со стажем, бывал на соревнованиях по карате, тхэквандо и рукопашному бою (по версии десантников), а вот «изюминка» постоянно ускользает от меня...

Чуть позже стал разбираться: защита по системе Кадочникова — мягкая, пластичная, подвижная. Мы ведь привыкли, как правило, защищаться жестко: либо ставим под удар блок, либо отбиваем его. Кадочников и его ученики атаки противника «снимают», едва коснувшись руки, и пропускают мимо, а уж потом — держись! Одно атакующее действие переходит в другое, и хотя Алексей Алексеевич требует, чтобы все движения выполнялись в треть усилий, именно эта ненапряженность таит в себе страшный разящий потенциал.

Редкий посетитель пляжа (в 7 утра было еще холодно) с удивлением наблюдал, как сотня с лишним мужиков в кимоно и пятнистых армейских костюмах, растянувшись по самой кромке прибоя, обстоятельно и без лишнего шума делали свое дело. И только мелькали выбитые ловкой рукой ножи с затупленными лезвиями. И крутились в воздухе, точно грампластинки, отброшенные в стороны, черные пистолеты с заваренными дулами...

Самое время немного рассказать о людях, с которыми ваш корреспондент делил трудности.

...Он был, пожалуй, самым крупным из нашей дружины — Леша Сорокин, кик-боксер из



Харькова. Учеба давалась ему непросто. В любом виде спорта тяжеловесы «зреют» долго. А тут для освоения нового надо было на время отложить в запас старые привычки. Легко сказать, а куда денешься от реакций и навыков, закрепленных сотнями тренировок. Стоило преподавателю показать новый прием, как тень сомнения омрачала Лешино чело, он тянул руку, терзаемый почти гамлетовским вопросом. Спрашивал:

— А что если я пробую отсюда с левой в печень?

Возможны были вариации: «с левой в печень» заменялось на «с правой в голову». Леша простодушно искал точек соприкосновения старых и новых познаний.

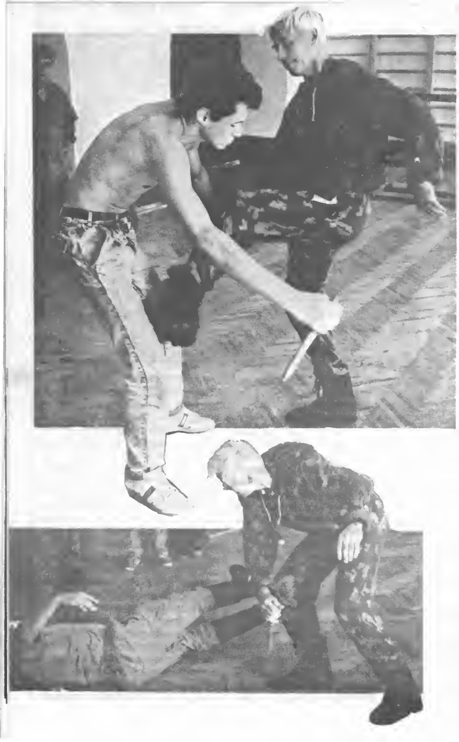
А в печень он, без дураков, умел бить здорово...

Рядом с гигантом харьковчанином мой новый друг Мироныч смотрелся почти подростком. Валерий Миронович Шевцов, томич, самый старший из слушателей семинара, разменял уже шестой десяток. И должность у него вполне солидная — заместитель директора медицинского училища. На такой и брюшком обзавестись не грех. Тем не менее Мироныч поджар, силен и дьявольски ловок. На занятиях один из лучших. Его боевой стиль напоминает гремучую смесь русской плясовой и китайского ушу. И, кто бы мог подумать, что в детстве этот человек был инвалидом.

Как-то за вечерним чаем, который мы кипятили в литровой стеклянной банке, Мироныч поведал мне свою историю:

— Послевоенный мальчишка, родителей не помню, воспитывался при воинской части. Ноги болели, плохо слушались, ходил на костылях. Из-за раннего нервного потрясения стал заикаться.

Однажды на майские праздники оделся, как положено, почище,





пошел посмотреть, что на улице делается. Глядь, мои постоянные обидчики, братья Дубровины. «Вырядился,— говорят.— Сейчас мы тебя еще приукрасим». Костыли выбили и бросили в грязь...

И вот,— продолжает он,— утерев с лица слезы в перемешку с грязью, прокусил я себе до крови руку. И кровью написал: «Буду сильным». Но сначала надо было поправиться... Вылечили деревенские бабки. Терпеть приходилось страшно. Они опускали мои ноги в чаны с жутко горячим травяным настоем. Почти кипяток, я даже писался от боли. Бабки вылечили и от заикания. Тогда же я раздобыл первый свой атлетический снаряд — железяку от трактора... А уже в армии узнал азы рукопашного боя...

Вероятно, история андерсеновского «гадкого утенка» живет вечно, потому что в каждом людском поколении находит свое подтверждение. Вот и Мироныч из «утят».

...Эти парни будто ничем и не отличались от остальных, а все же были заметны. А чем — не пойму... Толя — роста среднего, а Серега и вовсе невысок. На занятия приходили в старой солдатской форме, нет, не той, пятнистой, которой любят щегольнуть «рукопашники», а в самой что ни на есть обычной, белесо-зеленоватой, выцветшей. Из любой самой «нежной» отработки они умудрялись выйти в контактный спарринг, так что требовалось вмешательство инструктора, чтобы слегка поостудить бойцов.

— Да мы легонечко,— разводили руками Толя с Серегой,— совсем чуток.

— Их не переделать уже,— разъяснил мне мой друг, мудрый Шевцов,— одним словом, «Черные всадники», и все тут...

— «Черные всадники»?

— Ты послушай. Поехали

в Улан-Удэ втроем — мы с моим сыном Андрейкой (он студент) и Серега Трегубенко. Надо сказать, что в Томске у нас Серега считается лучшим рукопашником. Меня ты на тренировках видел, ну, и Андрейка мой хоть и молод, но в кулачном деле совсем не подарок. Компания подобралась что надо, друг на друга смело могли положиться... Ты спросишь, чего нас туда потянуло? Любопытно же узнать, что такое эти «всадники» и с чем их, мама родная, едят. Что за приемы у них, стиль? К слову, иногда их еще кличут «волчьей стаей». Короче, приехали, представились их главному — Боре Антонову. На вид ему слегка за тридцать, родом — из бурят... Две ночи мы носились по сопкам и бились в полный контакт. Считалось, что каждый дерется за себя, и они нашу тройку пытались разбить поодиночке, но мы-то понимали, что здесь выжить можно, только прикрывая товарища, иначе разорвали бы, «волки».

На третью ночь Антонов говорит: «Теперь вам предстоит самое главное испытание, если вы, конечно, не слабаки и не трусы. Бой против человека с бичом. Когда человека бьют бичом, он либо ломается и становится рабом, либо переходит за грань — теряет чувствительность к боли и потом ему в жизни вообще ничего не страшно».

К этому времени мы уже понесли кое-какие потери. Серега, воюя по кочкам, здорово подвернул голеностоп, а у меня от пота и грязи на ноге вздулся здоровенный фурункул. А чтобы хоть как-то увертываться от бича, нужно быть подвижным, как муха. И, значит, выпадало это страшное испытание моему Андрейке.

Время испытания они назначили — шесть минут,— продолжал старый рукопашник, и взгляд его в ту минуту бродил где-то очень далеко,— они мне говорят, мол, может, вам, как отцу, лучше отойти в сторонку, не смотреть, тяжело будет. А я отвечаю, что ничего, вытерплю. И вот начал сынок мой крутиться, вертеться, уворачиваться, да не всякий раз получалось. Через две минуты изловчился, прорвался к «погонщику», вырвал кнут и сбил его с ног...

А потом как-то я разговорился с Толей и Сережей. Больше говорил Толя, а Серега время от времени неторопливо кивал, как бы процеживая сквозь собственное ситечко слова товарища.

— Стиль «Черных всадников» — родовая бурятская борьба, которую, по словам Антонова, он перенял от своего деда. И так шло в их роду из поколения в поколение, чуть ли не со времен Чингисхана. Отсюда и появилось название стиля: ноги — твой боевой конь, руки и туловище — всадник, чернота — цвет ночи,— рассказывал Толя.

— Слепое, безоговорочное подчинение «сенсею» вытравляет из человека доброту. А я не хотел быть зверем. И когда стал сильнейшим среди антоновских учеников, понял — надо уходить. И мне никто не может сказать, что я сломался, не выдержал трудностей. Конечно, бойцовскую школу Антонов нам сильную дал. Но вот «чингисханщины» такой, подавления личности я не принимаю. Да и многие потом ушли.

Знакомство с Алексеем Кадочниковым впечатляет. В отличие от восточных «сенсеев» — традиционно недоступных, возвышающихся над ученической массой — он обходителен и коммуникабелен. Джентльмен. Даже на занятиях в строгом синем костюме, голубой рубашке и галстуке. Артистичен, работает чуть ли не двумя пальцами, а выбитое оружие аж свистит

в воздухе. На фоне совсем не гренадерской стати красивая седая шевелюра, великолепная осанка... Прямо-таки голливудское обаяние.

А жизнь за плечами у седого человека совсем не Голливуд. Мальчишкой он разделил с бойцами красноармейской части, последней покидавшей Краснодар, тяготы летнего отступления 1942 года. Отходили с боями, парнишку, чтобы не потерялся, привязали к седлу кавалерийской лошади. И однажды лошадка здорово выручила маленького наездника. Во время артобстрела они отбились от своих. А ровно двое суток спустя темногривая, наскакавшись под пулями, вынесла Леху прямо к месту привала родной части...

Может быть, на роду у него написано — учить людей боевому искусству? Ведь на фронте сыну полка Алеше Кадочникову уроки штыкового боя приходилось видеть чаще, чем учебник арифметики. Это уж много позже были — военная школа, политехнический институт...

Он убежденный сторонник профессиональной армии, умеющей выживать и побеждать в любых условиях.

— Изучение боевого искусства — путь долгий. А тот, кто спешит побыстрей собрать сливки, как правило, обжигает губы,— сказал он как-то, когда мы прогуливались по набережной Алушты...

— Пригласили меня однажды краснодарские комитетчики поработать с группой захвата. Ее назначение — обезвреживать угонщиков самолетов. Поучил я их какое-то время, кое-что ребята успели взять, но работать с ними надо было еще немало... И вот их комитетские специалисты говорят мне: мол, хватит уже, все. Ревность их, что ли, замучила. Ну, как говорится, насильно мил не будешь. А тут кто-то, уж не помню кто, предложил посоревноваться, сыграть в игру: комитетчики возьмут на себя роль террористов, а мои ребята (которые постоянно тренируются со мной) попытаются их обезвредить. Хорошо. Договорились. Подозреваю, что у кого-то в планах было высмеять нас. И ведь некоторые наши условия так и не были выполнены...

— Какие, например? — спрашиваю я.

— Мы попросили посадить самолет так, чтобы он стоял носом к солнцу. Тогда группа захвата, подбираясь к самолету, не отбрасывает на землю тени. Все люки они заблокировали. Тем не менее мы их взяли, так что «воздушные пираты» даже пистолеты не успели достать...

В другой раз, выбрав удобную минуту, я спросил Алексея Алексеевича:

— Знаю, что вы очень не любите распространяться о той военной школе закрытого типа, которую закончили после войны. Но в общих чертах, наверное, можно обрисовать, чему вас учили, какие навыки необходимы в разведке? Расшифруйте ваше любимое словосочетание — «школа выживания».

— Нам не сообщали, по какой системе нас обучают,— сказал он, явно что-то преодолевая в себе,— с каждым из нас (по всем предметам) занимались восемнадцать преподавателей... Давайте больше не будем о той школе... Вот недавно мне попалась инструкция по обучению солдат американской армии, которым предстоит действовать в автономных условиях. Согласен с автором инструкции, включившим в этот курс обучение подрывному и радиоделу, вождению автомобиля, медицинские на-

выки, зачеты по стрельбе и рукопашному бою. Но на месте автора я бы обязательно добавил сюда понимание и ощущение времени. Это не менее важно, чем иметь твердую руку. Люди шестидесятых существенно отличались от сегодняшних. Не забывал бы я и об этнических группах. Знания об их быте, культуре в боевой обстановке могут иметь огромное значение. Ведь есть разница, кто у тебя в отряде — туркмены или эстонцы...

А вот еще из «уроков Кадочникова»:

— Рельеф местности, лоции рек и людей, флора и фауна региона, местные болезни, повадки птиц и животных, дрессировка собак и умение уходить от них — все это необходимо знать, чтобы выжить. В былые времена в мире славилась смекалка русской армии, умение быть там, где не ждут. Возможно, и не формулируясь в солдатской среде в четкие определения, это жило в веках, передавалось от призыва к призыву... Вот что я понимаю под словами «отечественное боевое искусство», а не то, как с маху свернуть кому-нибудь челюсть.

Впитывая в себя законы «школы выживания», ты настолько начинаешь чувствовать окружающий мир, природу, что проникаешься сознанием своей неразрывности с этим миром — ты часть его...

А теперь, через призму сказанного, взглянем на рукопашный бой. Я часто повторяю молодым: не драться надо учиться, а познавать законы естественных наук, в первую очередь механику, геометрию, анатомию, физиологию. Иначе даже на одном языке со мной не сможете говорить. Истинный бой ведь не в спортзале происходит, значит, и знания ваши должны быть объемными. Высшее мастерство — бой в окопе, в траншее, в условиях плотного пространства. Уйти от удара, не разрывая контакта, не затрачивая лишних усилий,— вот к чему надо стремиться...

Мне вспомнилось, как однажды на занятии Кадочников выходил из ситуации, когда два «противника» прижали его к стене, приставив вплотную ножи к горлу. Одно мгновение — и оружие вылетает к потолку, а «обидчики» валятся крестом ему под ноги.

Вот тебе и физика с геометрией...

Ретюнских, лучший из лучших учеников Кадочникова, рассказывал мне:

— Однажды на занятиях с детской группой я спросил: «Ребята, а кто такие китайцы? Ведь я часто от вас слышу — приемы ушу, гимнастика ушу...» Знаешь, что они мне ответили: китайцы — это очень сильные люди, они все ведут здоровый образ жизни, занимаются гимнастикой, единоборствами... Они сильнее нас... Ты представляешь, это говорят юные россияне, родина которых имеет исторический опыт бесконечных победных войн за независимость. Их предки сражались постоянно, а теперь, оказывается, мы должны учиться боевому искусству на Востоке. Я разговаривал с одним очень старым человеком, он служил на русском флоте еще до революции, нередко бывал в портовых кабачках разных стран. Там русских моряков как огня боялись. Значит, были у них кое-какие аргументы.

Толя Семенов, один из «Черных всадников», долго искал следы боевого рукопашного стиля казаков, живших в Бурятии. Нашел одного старика. Дед, могучий как дуб (не с первого дня знакомства, разумеется, а лишь разузнав, за-

чем это парню нужно), показал кое-какие секреты. Это были упражнения и удары, имеющие мало общего с традиционной техникой. Но что интересно: Толин брат, двухметровый мужик, ходил два года в секцию ушу, и ни черта у него не получалось. А здесь словно под него эта техника придумывалась. Ведь что ни говори, а у китайца или японца и анатомия иная, и традиционное воспитание отлично от нашего.

Так, спрашивается, почему стиль Кадочникова, рассчитанный на нашего соотечественника, прекрасный еще и тем, что автор его старается не напускать туману для значимости, а, наоборот, все точно рассчитывает, столь долго был оттеснен, выключен из практики единоборств?

Да, это она, наша сверхсекретность, прячущая все, вплоть до расположения полковой бани. Это опасность конкуренции, которую кое-кто ощущал могучим инстинктом «портфелесохранения»...

На улице идет дождь, погода испортилась. Но огромный волейбольный зал легко вместил нашу «лихую сотню». Раз-два-три: тройка ударов ногами. Раз-два-три: тройка руками. А теперь уйдем от ножичка, а теперь выбьем пистолет... Ах, вы на меня с автоматом, а мы его по системе: «оружие, которое не выбивается, отбирается...».

«Слушай, зачем тебе это надо,— шепчет одно из моих «я», то, которое послабее.— Материал ты уже собрал. Отдохни. Иди в душ». Но я не слушаю свое слабое «я», мне стыдно оставлять товарищей...

Кроме того, мне все время кажется, что именно сейчас, вот на этом занятии, я узнаю что-то особенно важное, что никак нельзя упустить. То, что когда-нибудь, после, выручит меня, поможет защитить жизнь и достоинство. Не важно — свое или чужое...

А разве одного этого не достаточно, чтобы заставить себя немножко потерпеть?

ЧИТАТЕЛЬ-«СМЕНА»-ЧИТАТЕЛЬ

«Без мужа жить можно, а без ребенка – нельзя»

Из Америки – с любовью...

Прочитала в № 4 письмо Люси Ф. из Челябинска и не могла не написать. Я была такой же глупой, несчастной мамой. Мне вас очень жаль, Люда, вы не понимаете, что сын и есть ваше счастье. Да, нет денег, долги, и жизнь такая трудная. У кого она сейчас легкая? Но ненависть не выход. Я рассталась с мужем, а через две недели родила сына, которого муж так и не пришел посмотреть. От переживаний потеряла слух. Я глухая, и устроить свою личную жизнь надежды нет. До двух лет я не любила своего сына. Что это была за жизнь для него! После одной своей выходки вдруг поняла, что когда-нибудь дойду до крайности: или сойду с ума, или под горячую руку убью сына. Я потянулась к своему сынуле первая. Сын меня гнал, а я не отступалась. Мне понадобился не один год и не два, не три, а пять лет, чтобы увидеть, как он радуется моему приходу.

Сейчас нам семь лет, в сентябре мы идем в первый класс. Мы уже умеем читать, вычитать, складывать, писать. Это лето сын отдыхает с бабушкой в деревне, а я получила от него маленькое, сплошь в ошибках письмо, которое начинается словами: «Мамочка, моя милая, здравствуй!»

ТАНЯ,
Ленинград

Письмо Люси Ф. из Челябинска заставило меня написать. Первая мысль была: «Какая же она...» Потом вспомнила свою первую любовь. У меня все было так же. С той лишь разницей, что я родила от человека, которого любила! Сын от любимого! Сколько меня уговаривали избавиться от него заранее или оставить в больнице! Да ни за что! В том, что случилось, Люся, виновата ты сама. При чем здесь ребенок? Ты готовилась стать матерью, хорошей хозяйкой. Так стань ею. Докажи «ему» и всем, что ты счастливая женщина, хорошая мать и хозяйка, что любишь сына. Какие у него красивые глазки, какой курносый носик, а эти ручки, которые тянутся к тебе и просят, чтобы ты обняла его! Прочитала в «Смене», что одна мать на день рождения покупает гладиолусы своей тяжелобольной дочери. Ее и муж-то бросил из-за этого, а она любит дочку и торопится к ней с работы.

Сейчас очень трудно жить, и материально тоже, но если ты станешь настоящей матерью и хозяйкой, то еще встретишь хорошего человека. Всего в письме не расскажешь, но если захочешь со мной переписываться, то адрес в редакции.

НАТАЛЬЯ ТАЛАНОВА,
г. Полевской
Свердловской области

Ты самая последняя дрянь, Люся, если тебе ребенок мешает. Тебя вообще нужно лишить возможности иметь детей. Тысячи женщин мечтают о ребенке и лишены такой возможности, а тебе выпало самое большое счастье, которого ты, правда, не понимаешь, но без которого не сможешь жить через некоторое время, да поздно будет. Мужик ей, видите ли, нужен! На нем, наверное, не будешь зло срывать. Да только никакой мужик с тобой жить не станет, когда узнает о твоем отношении к детям. Маленький, он потому так часто и болеет, что не видит материнской ласки. За что ему такое наказание? Я тоже воспитываю ребенка одна, мы расстались, когда я поняла, что ни ребенок, ни я ему не нужны, он живет по своим законам: поменьше принести денег, пропить, поиздеваться. Зато у меня осталось мое счастье, мой ребенок. Есть человек, который любит моего мальчика, но все равно я буду только с сыном, чтобы, не дай Бог, не подвергать ребенка стрессам. Ведь всякое может случиться. Запомни: «Без мужа жить можно, а без ребенка — нельзя». Я, наверное, ненормальная мать, мне хочется все время быть с сыном, самой его кормить, самой укладывать спать, самой играть, даже стирать с него не доверяю никому. Даже когда он спит, меня из дома не выгонишь, мне все время кажется, что без меня ему будет хуже. Да так оно и есть. Ну кто понимает его лучше, чем я? Кто лучше меня поймет, почему он ворочается во сне или капризничает?

Денег у меня тоже нет, но заработать можно всегда, было бы желание. Я сейчас сижу с сыном и одновременно подрабатываю; в результате у меня со всеми доплатами получается 460 рублей в месяц, зато я целый день с сыном. Мой тебе совет: откажись от ребенка, отдай его мне, от тебя все равно никакого толку, только испортишь его. Мой адрес есть в редакции.

ИРИНА ЧИБИСОВА,
Москва

«Как вы знаете, История часто повторяется, в разных местах, в разное время и с разными людьми. Сейчас в вашей стране проходят конституционные дебаты. Я посылаю 4 книги о самых великих политических дискуссиях в США. Федералистские и антифедералистские бумаги — записи выступлений основателей Америки, когда они обсуждали те же самые вопросы, что сейчас стоят перед господином Горбачевым и господином Ельциным. Прошу вас передать каждому из президентов по 2 книги. Если каждый из них получит копию федералистских бумаг и копию антифедералистских, это даст им огромную историческую перспективу и позволит даже вести диалог с теми, кого уже считают Историей. Поздравляю вас всех с наступлением новой эры и да благословит вас Бог, когда вы приступите к написанию новых законов и созданию нового государства.

С любовью, Глория Макмилан, Сан-Диего, США».

ЕКАТЕРИНА БУТЕНКО,
выпускница школы № 1253
1990 г.



ГРЕГОРИ МАКДОНАЛЬД

СОЗНАВАЙТЕСЬ,



ФЛЕТЧ!

Рисунки ИГОРЯ ГОНЧАРУКА

Флетч включил свет и заглянул в кабинет.

Стены, за исключением высоких окон и узкого пространства за письменным столом, уставлены полками с книгами. Два больших, обитых красной кожей кресла, диванчик, кофейный столик. На письменном столе черный телефонный аппарат. Флетч набрал «0».

— Соедините меня с полицией, пожалуйста.

— Дело срочное? — осведомилась телефонистка.

— Уже нет.

Над столом висела картина Форда Мэдокса Брауна* — деревенская парочка, идущая по своим делам навстречу ветру.

— Позвоните, пожалуйста, 555-7523.

— Благодарю вас.

Флетч позвонил.

— Сержант Маколиф слушает.

— Сержант, это мистер Флетчер, Бикон-стрит, дом 152, квартира 6В.

— Да, сэр.

— В моей гостиной лежит убитая женщина.

— Убитая?

Обнаженная, с большой грудью, полными бедрами, она лежала на спине между кофейным столиком и диваном. Голова оказалась на узкой полоске паркета между ковром и каминной решеткой. С лицом, более бледным, чем полоски незагорелого тела от купальника. Невидящие глаза смотрели в потолок.

За левым ухом девушки виднелась ранка. Она уже не кровила...

— Вы звоните по контактному телефону полиции.

— И что? Разве полиция не занимается убийствами?

— Об убийствах следует сообщать по номеру экстренного вызова.

— Я думаю, что спешить уже некуда.

— Послушайте, у меня нет даже магнитофона для автоматической записи нашего разговора.

— Скажите об этом вашему боссу. Пусть позаботится.

— Вы что, шутите?

— Отнюдь. Даже в мыслях этого не было.

— Еще никто не звонил по контактному телефону, чтобы сообщить об убийстве. Кто вы?

— Послушайте, можете вы запомнить, что я вам говорю? Бикон-стрит, дом 152, квартира 6В, убийство, моя фамилия Флетчер. Записали?

— Бикон-стрит, дом 156?

— Бикон-стрит, дом 152, квартира 6В.— Взгляд Флетча упал на нераспакованные чемоданы.— Квартира записана на Коннорса.

* Ф. М. Браун — английский художник (1821—1893 гг.) *(Здесь и далее прим. переводчика.)*

— А ваша фамилия — Флетчер?
— Начинается с «Ф». Поставьте в известность отдел убийств, ладно? Их это заинтересует.

ГЛАВА 2

Флетч взглянул на часы. Девять тридцать девять.
Прикинул, сколько времени потребуется полиции, чтобы добраться до квартиры 6В.
Вернулся в гостиную, налил себе шотландского, добавил воды, обойдясь без льда. Бутылку он открывал дольше обычного. На девушку смотреть не хотелось. Красотка, но мертвая, он уже нагляделся на нее.
С полным бокалом Флетч прошел в кабинет, остановился у стола, всмотрелся в картину Брауна. На заднем плане, за парочкой, виднелся коттедж. Чувствовалось, что ветер вот-вот снесет его крышу. Флетчу доводилось видеть похожие картины Брауна, но эта попалась ему на глаза впервые.
Трель телефонного звонка заставила его подпрыгнуть. Виски выплеснулось из бокала на стол. Флетч поставил бокал на серебряный поднос и протер стол носовым платком, прежде чем снять трубку.
— Мистер Флетчер?
— Да.
— Хорошо, что вы приехали. Добро пожаловать в Бостон.
— Благодарю. Кто говорит?
— Рональд Хорэн. Я пытался дозвониться до вас раньше.
— Я обедал.
— В письме вы упомянули, что остановитесь в квартире Барта Коннорса. Год или два назад мы реставрировали для него одну картину.
— Я рад, что вы позвонили, мистер Хорэн.
— Я все думаю о картине Пикассо, которая вас интересует. Вы написали, что она называется «Вино, скрипка, мадемуазель».
— Именно так. Одному Богу известно, почему Пикассо дал ей такое название.
— Откровенно говоря, я никак не возьму в толк, почему вы проделали столь долгий путь от Рима до Бостона и наняли меня как брокера...
— Есть сведения, что картина находится в этих краях. Возможно, даже в Бостоне.
— Понятно. Но мне казалось, что достаточно и письма.
— По одному или двум вопросам мне нужна личная консультация.
— Да, конечно. Всегда к вашим услугам. Для начала должен предупредить вас, что такой картины, возможно, не существует.
— Она существует.
— Я навел справки, никто о ней не знает.
— У меня есть ее фотография.
— В принципе я не могу отрицать ее существования. Многие

картины Пикассо еще не внесены в каталог. С другой стороны, за его работы очень часто выдают подделки. Вы, разумеется, знаете, что ни одному художнику не приписывали бóльшего чнсла подделок.

— Да, знаю.

— Я считал себя обязанным предупредить вас. Но, если картина существует, если она подлинная, я приложу все силы, чтобы найти ее для вас и всемерно содействовать приобретению.

На портьерах отразились мигающие огни полицейских машин. Подъехали они без сирены.

— Мы сможем встретиться завтра утром, мнстер Флетчер?

— Надеюсь, что да.

— Как насчет половины одиннадцатого?

— Вполне подходит, если я буду свободен.

— Хорошо. Мой адрес у вас есть.

— Да.

— Насколько я помню, мистер Коннорс живет на Бикон-стрит?

— Совершенно верно.

Флетч выглянул в окно. Три полицейские машины с включенными мигалками застыли у подъезда. Вдоль другой стороны улицы протянулась железная решетка, за которой темнел парк.

— До нас вы доберетесь без труда. Выйдя из дома, поверните направо. Дойдете до конца парка, там повернете налево, на Арлингтон-стрнт. Ньюбюрн-стрит — третья улица направо. Галерея находится в третьем квартале от угла.

— Спаснбо. Найду.

— Я пошлю кого-нибудь вниз, чтобы дверь вам открыли ровно в половине одиннадцатого. У нас не выставочная галерея, знаете ли.

— Разумеется. Извините, мистер Хорэн, но кто-то звонит в дверь.

— Мы уже обо всем договорились. С нетерпением жду нашей утренней встречи.

Флетч положил трубку. И тут же звякнул дверной звонок. До десяти часов оставалось еще семь минут.

ГЛАВА 3

— Меня зовут Флинн. Инспектор Флннн.— Инспектор на секунду застыл на пороге кабннета, заполннв собой дверной проем.

Хорошо сшнтый коричневый костюм-тройка нз твида. Широченные грудь н плечн. Густые вьющиеся каштановые волосы. А между волосамн и плечами крошечное ангельское личико, то ли восьмилетнего ребенка, то ли карлика. Даже с шапкой волос голова казалась непропорционально маленькой, этакой пусковой кнопкой на громаде мощной машины. И глаза необычного зеленого оттенка. Такой цвет можно увидеть разве что на мокром после дождя лугу, сверкающем под прорвавшимнся сквозь облака солнечными лучами.

На правой штаннне темнели пятнышки засохшей кровн.

— Прнношу извннения за мон брюки. Мы только что с другого вызова. Убийца орудовал топором.

Голос мягкий, нежный, не соответствующий столь мощной грудной клетке.

— Вы — ирландский коп*.— Флетч встал.

— Именно так,— подтвердил Флинн.

— Я не имел в виду ничего обидного.

— Я понимаю.

Мужчины сочли возможным обойтись без рукопожатий.

Флинн шагнул вперед, освобождая дверной проем. Из-за его спины возник еще однн полицейский в штатском, помоложе и ниже ростом, с блокнотом и шариковой ручкой в руках. В дешевых, но безупречно чистых костюме и рубашке. А его ботинки, несмотря на уличную слякоть, блестели, словно он начистил их, войдя в подъезд.

— Это Гроувер,— пояснил Флинн.— Начальство не доверяет мне парковку служебной машины.

Флинн занял свободное кресло. Флетч тоже сел.

Часы показывали десять двадцать шесть.

Все это время Флетч провел в кабинете. Компанию ему составил молодой патрульный, нзо всех сил старавшийся не смотреть на него. По остальным комнатам квартиры бродили другие полицейские, в форме и в штатском. Возможно, и репортеры, отметил про себя Флетч. До него доносились прнглушенные голоса, но слов он разобрать не мог. Через открытую дверь до кабинета долетали отсветы вспышек: фотографы работали как в гостиной, так н в спальнях.

Прнбыли санитары, пронесли свернутые носилки через прихожую, держа курс на гостиную.

— Вас не затруднит закрыть дверь, Гроувер? И устраивайтесь за столом. Мы обязаны не упустить ни единого слова из того, что скажет нам этот джентльмен в сшитом в Англии костюме.

Патрульный вышел, н Гроувер закрыл дзерь.

— Вам прочтали ваши права? — осведомился Флинн.

— Первый же фараон, вошедший в квартиру.

— Значит, фараон?

— Фараон,— подтвердил Флетч.

— Позвольте все-таки спроснть, не желаете ли, чтобы допрос велся в присутствии вашего адвоката?

— Думаю, он мне не понадобится.

— Чем вы ее ударили?

В глазах Флетча отразилось нзумление. Он промолчал.

— Ладно.— Флинн уселся поудобнее.— Ваша фамилия Флетчер?

— Питер Флетчер.

— А кто такой Коннорс?

— Владелец этой квартиры. Я получил ее по обмену. Он сейчас в Италии.

* Прозвище полицейских в США. На северо-востоке США многие полицейские ирландского происхождения.

Флинн наклонился вперед.

— Насколько я понимаю, в данный момент вы не намерены сознаваться в совершении преступления?

— Я вообще не намерен сознаваться в совершении преступления.

— Почему?

— Потому что я его не совершал.

— Этот мужчина говорит, что не убивал, Гроувер. Вы записали?

— Сидя здесь, я думал о том, что вам скажу.

— Я в этом не сомневаюсь.— Массивные руки легли на подлокотники.— Хорошо, мистер Флетчер. Так с чего вы решили начать?

Зеленые глаза уперлись в лицо Флетча.

— Сегодня днем я прибыл из Рима и сразу приехал в эту квартиру. Переоделся и пошел обедать. Вернулся и нашел тело.

— Каков денди, а, Гроувер? Давайте посмотрим, правильно ли я вас понял, мистер Флетчер. Итак, вы прилетели в незнакомый город, вошли в полученную по обмену квартиру и в первый же вечер нашли в ней великолепную обнаженную женщину, никогда ранее не виденную вами, которую кто-то убил на ковре в гостиной. Так?

— Да.

— Что ж, не сильно мы продвинулись. Надеюсь, вы записали каждое слово, Гроувер, хотя их было и немного?

— Я рассчитывал, что краткость позволит нам всем побыстрее лечь спать.

— Он говорит «лечь спать». Перед вами, Гроувер, человек, у которого выдался трудный день. Вы не будете возражать, если я задам вам несколько вопросов?

— Валяйте,— кивнул Флетч.

Флинн глянул на часы.

— За шестнадцать лет семейной жизни у меня выработалась привычка приезжать домой к двум часам ночи. Аккурат к этому времени жена подогревает мне ужин. Так что поговорить мы успеем.— Он скосился на бокал шотландского с водой, который Гроувер передвинул на край стола.— Во-первых, я должен спросить: сколько вы выпили сегодня вечером?

— Лишь то, что убыло из этого бокала, инспектор. Унцию виски? Меньше? Неужели в Бостоне есть инспекторы?

— Только один. Я.

— Это печально.

— Я бы сказал, вы попали в самую точку. Я, да и Гроувер тоже, сожалеем о том, что во всем Бостоне только один человек достоин звания инспектора. Но мы говорили не о бостонской полиции, а о спиртном. Сколько вы выпили за обедом?

— Полбутылки вина.

— Рад, что вы ведете точный подсчет. А до обеда вы ничего не пили?

— Ничего.

— И вы хотите сказать, что ничего не пили, пока летели над Средиземным морем и бескрайним океаном? Вода, кругом вода...

— Вскоре после взлета я выпил чашечку кофе. И стакан прохладительного напитка за ленчем.

— Вы путешествовали первым классом?

— Да.

— Я слышал, в первом классе спиртное дают бесплатно н без ограничений.

— Я ничего не пил ни во время полета, ни перед посадкой. Не пил ни в аэропорту Бостона, ни в квартире. Выпил вина в ресторане и полбокала виски с содовой, ожидая вас.

— Гроувер, если вам не трудно, отметьте, что, по моему разумению, мистер Флетчер совершенно трезв.

— Не хотите ли выпить, инспектор? — предложил Флетч.

— О, нет. Я не пью виски. Однажды выпил, студентом в Дублине, так на следующее утро у меня чуть не раскололась голова. С тех пор не притрагиваюсь к этому зелью. Дело в том, что подобные преступления чаще совершаются теми, кто как следует накачался.

— Возможно, и на этот раз, найдя убийцу, вы выясните, что он убил эту женщину, выпив куда больше, чем я.

— Вы женаты, мистер Флетчер?

— Я обручен.

— И намерены жениться?

— Совершенно верно.

— Кто же та дама, счастье которой поставлено сейчас под угрозу?

— Энди.

— Позвольте мне догадаться самому. Записывайте, Гроувер. Эндрю.

— Анджела. Анджела ди Грасси. Она в Италии.

— И она в Италии, Гроувер. Все в Италии, кроме одного, который только что прилетел оттуда. Она не прилетела лишь потому, что не любит бостонскую погоду?

— Нет, ее задержали неустроенные семейные дела.

— Что же это за дела?

— Вчера я присутствовал на похоронах ее отца, инспектор.

— Ага. Не самое удобное время, чтобы покинуть свою суженую.

— Она должна присоединиться ко мне через пару-тройку дней.

— Ясно. И чем вы зарабатываете на жизнь?

— Я занимаюсь изящными искусствами.

— То есть вы искусствовед?

— Не нравятся мне такие слова, как искусствовед. Я занимаюсь изящными нскусствами.

— Должно быть, вы сколотили на этом состояние, мистер Флетчер. Авиабилет первого класса, роскошная квартира, дорогая одежда.

— У меня есть собственные деньги.

— Понятно. Имея деньги, можно выбрать карьеру, о которой без оных и не подумалось бы. Между прочим, что за картина висит над столом? С того места, где вы сидите, наверное, не видно.

— Ее нарисовал Форд Мэдокс Браун.
— Мне она очень нравится.
— Англия, девятнадцатый век.
— Ну, я, конечно, не из Англии девятнадцатого века. Но проникновения в человеческую душу у него не отнимешь. Когда вы обратили на нее внимание? Я имею в виду картину.
— Когда звонил в полицию.
— Вы хотите сказать, что смотрели на картину, сообщая в полицию об убийстве?
— Полагаю, что да.
— Действительно, вы ни секунды не можете прожить без искусства. Как я понимаю, чтобы сообщить об убийстве, вы позвонили по контактному телефону полиции, а не воспользовались линией экстренного вызова.
— Да.
— А почему?
— Почему бы и нет? Необходимости в спешке не было. Девушка уже умерла. Мне не хотелось занимать линию экстренного вызова. Она могла понадобиться тем, кому требовалось незамедлительное вмешательство полиции. Остановить начавшуюся драку, доставить кого-то в больницу.
— Мистер Флетчер, люди, сильно заикающиеся и произносящие не более двух слов в минуту, набирают номер экстренного вызова, чтобы сообщить, что кошка залезла на дерево. Вы нашли контактный телефон в справочнике?
— Мне дала его телефонистка.

— Понятно. Вы никогда не служили в полиции?
— Нет.
— А у меня возникла такая мысль. Очень легко вы воспринимаете покойников в гостиной. И ответы ваши больно уж связные. Побывав на месте убийства, обычно только полисмен думает о том, что пора бы и поспать. Так о чем это я?
— Понятия не имею. Наверное, рассуждаете о девятнадцатом веке.
— Нет, мистер Флетчер. Я рассуждаю не об Англии девятнадцатого века, а о сегодняшнем Бостоне. Особенно меня интересует, что вы тут делаете?
— Я хочу написать биографию Эдгара Артура Тарпа-младшего. Этот художник родился и вырос в Бостоне, инспектор.
— Я знаю.
— Здесь хранится архив семьи Тарп. В Бостонском музее выставлено много его работ.
— Раньше вы бывали в Бостоне?
— Нет.
— Знаете здесь кого-нибудь?
— Пожалуй, что нет.
— Давайте вновь вернемся к вашему прибытию в Бостон. Такая занимательная история. На этот раз я попрошу вас сказать, где и приблизительно во сколько вы были. Вновь напоминаю, Гроувер все записывает, и потом вы не сможете его поправить, хотя я всегда это делаю. Итак, когда ваш самолет приземлился в Бостоне?

— В трн сорок я уже стоял в здании аэропорта, ожидая багаж. Я перевел стрелки часов на местное время.

— Какая авнакомпания? Какой рейс?

— Транс Уорлд. Номера рейса я не помню. Я прошел таможенный досмотр, сел в таксн н прнехал сюда. Примерно в половнне шестого.

— Насчет таможни я понимаю, но от аэропорта ехать сюда десять минут.

— Вы меня спрашиваете? Я-то думал, что регулирование транспортного потока тоже входит в обязанности полиции.

Представитель бостонской полиции кивнул.

— Ну да, пять часов. Где вы застряли?

— В каком-то идиотском тоннеле, где капает с крыши, а под потолком вращаются скрипящие вентиляторы.

— А, Коллэхен. Я сам оказался в той же пробке. Но в пять часов пробка обычно возникает в северном направлении, а не в южном.

— Я побрился, прннял душ, переоделся. Вышел из квартиры в половнне седьмого или чуть позже. До ресторана доехал на таксн.

— Какого ресторана?

— Он называется «Кафе Будапешт».

— Как интересно. Первый вечер в городе, а вы отправляетесь едва ли не в лучший ресторан.

— Мужчина, сидевший рядом со мной в самолете, порекомендовал мне пообедать там.

— Вы не запомнили его фамилии?

— Он не назвался. Мы практически не разговарнвали. Только за ленчем. Кажется, он инженер, а живет на Уэлси-Хиллз.

— Уэллесли-Хиллз,— поправил его Флинн.— Вы заказывали вишневый суп?

— В «Будапеште»? Да.

— Я слышал, это объеденне, для тех, кто может себе позволить столь дорогое блюдо.

— Домой я решил пойти пешком. На таксн я добрался до ресторана очень быстро. Из ресторана вышел в начале девятого, а домой попал практически в половине десятого. Потому что заблудился.

— Где? Где вы заблудились?

Прежде чем ответнть, Флетч оглядел кабннет.

— Если б я знал, наверное, этого бы не случилось.

— Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Расскажите, куда вы пошли.

— О, Господн. Ну, хорошо. Рекламный щит «Ситко». Огромный, великолепный рекламный щит. Выдающееся произведение нскусства.

— Далее все понятно. Вы повернули налево, а не направо. И пошли на запад вместо востока. Попали на Кенмор-сквэа. Что потом?

— Я спросил девушку, где Бикон-стрит, н оказалось, что она совсем рядом. По ней я и дошел до дома № 152. Шагал я довольно долго.

— Да. Прогулка неблизкая. Особенно после венгерского обеда. Итак, вы вошли в квартиру, заглянули в гостиную. С чего вас потянуло в гостиную?

— Чтобы потушить свет.

— Значит, впервые оказавшись в квартире, вы заглянули в гостиную и зажгли свет?

— Конечно. Я обошел всю квартиру. Только не помню, зажигал я в гостиной свет или нет.

— Скорее всего зажигали. Щелкнуть выключателем — что может быть естественней. А как вы оказались в Риме?

— Я там живу. Вернее, у меня вилла в Канья, на итальянской Ривьере.

— Так почему вы не улетели из Генуи или Канна?

— Я был в Риме.

— Почему?

— У Энди там квартира.

— Ну, конечно, Энди. Вы живете с Энди?

— Да.

— Давно?

— Пару месяцев.

— А с Бартоломео Коннорсом, эсквайром, вы встретились в Риме?

— С кем? О, нет. Коннорса я не знаю.

— Вы же сказали, что это его квартира.

— Его.

— Как же вы оказались здесь, не зная мистера Коннорса?

— «Обмен домов». Международная организация. Со штаб-квартирой в Лондоне. Коннорс на три месяца получил мою виллу в Канья. Я — его квартиру в Бостоне. Мы оба экономим на этом деньги.

— Вы никогда не встречались?

— Даже не переписывались. Все, включая передачу ключей, обеспечивал Лондон.

— Да, отстал я от быстро меняющегося мира. Этого не записывайте, Гроувер. Итак, мистер Флетчер, вы никоим образом не знаете ни Бартоломео Коннорса, ни Рут Фрайер?

— Кто это?

— Слыша ваш ответ, у меня возникло ощущение, что я говорю сам с собой. Мистер Флетчер, Рут Фрайер — та молодая дама, которую только что вынесли из вашей гостиной.

— О!

— Он говорит «о», Гроувер.

— Инспектор, я абсолютно уверен, что никогда ранее не видел этой молодой дамы.

— Сочтем ваш рассказ за слово Иоанна, я имею в виду святого Иоанна, Гроувер... Когда вы увидели тело, у вас не возникла мысль, где одежда этой особы? Или вы привыкли к голым женщинам на Ривьере и подумали, что это их обычный наряд и в Бостоне?

— Нет,— покачал головой Флетчер.— Я не задумывался над тем, где может быть ее одежда.

— Вместо этого вы пришли сюда, чтобы полюбоваться картиной.

— Инспектор, вы, надеюсь, понимаете, что в тот момент мне было не до одежды. Я остолбенел, увидев ее. И меня менее всего волновало местонахождение одежды.

— Ее одежда в вашей спальне, мистер Флетчер. В том числе и порванный лиф.

Флетчер пробежался взглядом по полкам с книгами.

— Кажется, я впервые слышу слово «лиф». Разумеется, оно встречалось мне в книгах, английских романах девятнадцатого века.

— Хотели бы вы услышать мою версию того, что произошло здесь сегодня вечером?

— Нет.

— И все-таки, давайте послушаем. Я все еще успеваю домой до двух часов. Вы прибыли в аэропорт, оставив свою ненаглядную в Риме. До того вы прожили с ней два месяца в ее квартире, причем последние дни выдались очень печальными. На похоронах не радуются.

— Тем более похоронах будущего тестя,— ввернул Флетч.

— И вы покинули свою единственную с божественной прыткостью, мистер Флетчер. Каково словосочетание, Гроувер? Вы все записали?

— Да, инспектор.

— Не меняя порядка слов?

— Нет, инспектор.

— Вы приехали и вошли в эту огромную, прекрасно обставленную квартиру. Ощущение свободы слилось у вас с чувством одиночества; потенциально опасная комбинация, если речь идет о богатом, не жалующемся на здоровье молодом человеке. Вы побрились, приняли душ, переоделись, полный сил и энергии. Пока моя версия не расходится с вашей, не так ли?

— Просто не понимаю, как они вообще могут разойтись.

— Вы выходите в мелкий, моросящий дождь. Возможно, принимаете самое простое решение и заглядываете в первый попавшийся бар для одиночек. Там прилагаете все силы, чтобы очаровать самую привлекательную девушку, которая уже успела пропустить пару стопочек джина. Кстати, Гроувер, нам нужно узнать, что у этой девушки в желудке. Вы заманиваете ее в квартиру, потом в спальню, она сопротивляется по какой-то известной лишь ей причине. То ли обещала маме вернуться пораньше, то ли забыла принять противозачаточные таблетки, да мало ли почему в наши дни молодые дамы могут передумать. В спальне вы срываете с нее одежду. Испуганная, она выбегает в прихожую, мчится в гостиную. Вы догоняете ее. Она продолжает сопротивляться. Возможно, начинает кричать, а вы не знаете, толстые ли здесь стены. Квартира-то для вас новая. Вы только что из Рима, где оставили свою невесту. Классический случай, двое взрослых в комнате, причем их желания не совпадают. В раздражении вы что-то хватаете и бьете ее по голове. Чтобы утихомирить... или заставить замолчать. Но, к вашему удивлению, она падает у ваших ног и затихает навсегда.

Флинн потер глаз ладонью огромной руки.
— Ну, мистер Флетчер, разве я не изрек очевидную нстину?
— Инспектор! Неужели вы думаете, что все так и было?
— Нет, не думаю.
Теперь его глаза скрылись под ладонями обеих рук.
— Сейчас по крайней мере нет,— продолжил Флинн.— Будь вы выпивши, я бы в это поверил. Или не обладай вы столь привлекательной внешностью. Зачем еще эти девчушки болтаются в барах, если не для того, чтобы встретнть такого вот Питера Флетчера. Я бы поверил в мою версию, будь вы менее уверены в себе. Мне представляется, что гораздо проще нзбавиться от тела сопротивлявшейся женщины, чем подвергать себя полицейскому допросу. Впрочем, возможно, тут я н ошибаюсь, у всех свон странности. И если бы не звонок по контактному телефону полиции, я бы мог поверить, что вы находились в состоянии аффекта, не отдавали отчета своим действиям. Нет, в это я тоже не верю.
— То есть вы не собираетесь арестовывать его, инспектор? — подал голос Гроувер.
— Нет, Гроувер.— Флинн встал.— Моя ннтуиция возражает.
— Сэр!
— Я уверен, что вы правы, Гроувер, но помните, пожалуйста, о том, что мне не довелось получить столь блестящую подготовку, характерную для полицейских Бостона. Не сомневаюсь, что любой нз ваших не менее опытных коллег в мгновение ока упек бы мистера Флетчера за решетку. Но в аналогичных случаях,
218 Гроувер, решающую роль нграет нменно неопытность.
— Инспектор Флинн...
— Тихо, тихо. Если этот мужчнна вниовен, а вероятность этого по-прежнему велика, мы найдем новые доказательства его вины. Если б я сам не видел чемоданы в прихожей, то подумал бы, что все его россказни — ложь. Я подозреваю, что так оно н есть. Я впервые вижу человека, пишущего об нзящных нскусствах, и не убежден, что среди ему подобных преобладают лжецы н убийцы.
— Полагаю, вы собираетесь запретить мне покидать город,— предположил Флетч.
— Отнюдь. Наоборот, мистер Флетчер, если вы покинете город, снтуация станет еще более интересной.
— Я пошлю вам почтовую открытку.
Флинн посмотрел на часы.
— Что ж, если Гроувер отвезет меня домой, я как раз успею выпнть чашку настоя ромашкн с моей Элзбет н детками.
— Отвезу, ннспектор.— Гроувер открыл дверь в опустевшую прихожую.— Я хочу поговорить с вами.
— Разумеется, хотите, Гроувер. Я в этом не сомневаюсь.

ГЛАВА 4

Утром Флетч позвонил в Рим. Обычно требовалось немало времени, чтобы соединиться с другим берегом Атлантического океана, да и на понски Анджелы ди Грасси всегда уходили

драгоценные минуты, но на этот раз, к его полному изумлению, Рим дали мгновенно, а Анджела взяла трубку после первого звонка.

— Энди? Добрый день.

— Флетч? Ты в Америке?

— Прибыл благополучно. Думаю, теперь и ты сможешь долететь до Бостона целой и невредимой.

— О, с удовольствием.

— Я застал тебя за ленчем?

— Да.

— Что ты ешь?

— Холодную спаржу под майонезом. И клубнику. Ты позавтракал?

— Нет. Я еще не вставал с постели.

— Это хорошо. Какая у тебя кровать?

— Великовата для одного.

— Других, по-моему, просто нет.

— Наверное, ты права. Кровать всю ночь мешала мне спать, нашептывая: «Энди! Энди! Где ты? Нам тебя не хватает...»

— Моя кровать шептала мне то же самое. Какая у вас погода?

— Не знаю. Из-за тумана ничего не видно. А как идет сражение?

— Без особых успехов. Весь день я провела с адвокатами и комиссарами каких-то ведомств. Но не выяснила ничего определенного. Все чиновники говорят нам, что он мертв, мы должны считать его умершим, свыкнуться с этим и продолжать жить. Поэтому, собственно, мы и организовали похороны. Но адвокаты настаивают, что все должно оставаться в подвешенном состоянии, пока мы не получим исчерпывающей информации. Помнишь мистера Роселли? Папин адвокат. Он присутствовал на папиных похоронах в понедельник. Скорбел больше всех. Все время сморкался в носовой платок и вытирал слезы. А днем позже, вчера, он вскидывает руки вверх и говорит, что они ничего не могут сказать, пока не будут знать наверняка, что папа умер.

— И что ты собираешься делать?

— Попытаюсь переломить их. Все мне очень сочувствуют.

— Но не ударяют пальцем о палец.

— Я слышала, что все адвокаты такие. Выдаивают наследство, как корову, забирают львиную долю на гонорары, а ошметки оставляют родственникам.

— Иногда случается и такое.

— И Сильвия, моя дорогая мачеха Сильвия, как всегда, в своем амплуа. Каждые десять минут она объявляет себя графиней ди Грасси. Должно быть, в Риме уже каждый швейцар знает, что она — графиня ди Грасси. А я вроде бы беспризорница.

— Почему бы тебе не бросить эту тягомотину и не прилететь сюда?

— В этом все и дело, Флетч. Каждый считает своим долгом сказать нам: приспосабливайтесь и живите, как будто ничего не случилось. Но мы не можем жить, не получая денег из наследства отца. А на него наложен арест.

— Не понимаю, почему тебя это тревожит. Мы с тобой поженимся, и ты будешь спокойно дожидаться, пока адвокаты уладят все наследственные споры. Забудь обо всем и приезжай.

— Не могу, Флетч. Плевать я хотела, сколько будут улаживаться все эти дела. Не нужны мне сейчас ни этот старый дом, ни деньги отца. Но я хочу, чтобы огласили завещание. Хочу знать, кому отходит основная часть наследства — третьей жене моего отца или его единственной дочери. Мне это важно.

— Почему?

— Если все отходит Сильвии, прекрасно. Отец вправе принять такое решение. Оспаривать его я не буду. Если я потеряю фамильный дом, уйду, не оглядываясь. И никогда больше не подумаю, что несу ответственность за стариков — слуг. Ты же знаешь, Флетч, Риа и Пеп воспитывали меня с самого детства. Если же бóльшую часть состояния получу я, мне и заботиться о них. А сейчас я ничего не могу для них сделать. Даже ответить на вопросы, которые читаю в их взглядах. И пока я отвечаю за них. А Сильвия может брать свой драгоценный титул и катиться с ним к чертовой матери.

— Энди, Энди, это же одни эмоции.

— Да, эмоции. Мне все равно, будет исполнена воля отца или нет. Но я хочу знать, что написано в завещании.

— Я удивлен, что ты не можешь узнать у Роселли содержание завещания.

— Роселли! Маленькой он качал меня на колене. А теперь не говорит ни слова!

— Может, тебе снова покачаться на его колене?

— И Сильвия ни на шаг не отпускает меня. Или говорит каждому встречному, что она — графиня ди Грасси, или пытается выяснить, что я намерена делать. И поминутно повторяет: «Куда уехал Флетчер? Почему туда? Чем он занимается в Бостоне?»

— Ты ей сказала?

— Сказала, что ты полетел в Бостон по личному делу. Касающемуся только тебя.

— Послушай, Энди. Не забывай, почему я в Бостоне.

— Лучше бы тебе поскорее найти их, Флетч. Дело принимает серьезный оборот. Если Сильвия унаследует состояние отца, едва ли она позаботится о слугах. Какие у тебя успехи?

— Хорэн, владелец галереи, звонил вчера вечером. Практически сразу после моего приезда.

— Что он сказал?

— Он никогда не слышал о такой картине. Сегодня утром я с ним встречусь.

— Он никогда не слышал об этой картине Пикассо?

— Так он сказал.

— И что ты думаешь?

— Не знаю. По голосу не чувствовалось, что он лжет.

— Это ужасно, Флетч. Но все-таки тебе легче, чем мне. Не нужно общаться с Сильвией, графиней ди Грасси.

— Послушай, Энди, я хочу попросить тебя об одной услуге.

— Все, что хочешь, душа моя.

— Не смогла бы ты съездить в Канья?
— Сейчас?
— На вилле поселился этот Барт Коннорс. Один из нас должен взглянуть на него.
— А почему? Тебе не понравилась квартира?
— Да нет, квартира хорошая. Но некоторые события разбудили мое любопытство.
— И я должна ехать в Канья только потому, что проснулось твое любопытство?
— Ради твоего любопытства я прилетел в Бостон.
— Флетч, если я уеду из Рима, оставлю Роселли и других старых обезьян на съедение Сильвии...
— Уверяю тебя, ничего не случится. Я не просто так интересуюсь Коннорсом, Энди. Надо узнать, что он за человек.
— Правда, Флетч?
— Возьми «порше», поезжай на поезде, доберись до Генуи самолетом и там возьми машину напрокат. Подумай, что для тебя легче всего. Тебе хватит дня, максимум двух.
— Неужели ты действительно думаешь, что я смогу обернуться так быстро?
— Пожалуй, нет. Но мне нужно знать, кто такой Коннорс.
— Наверное, тебя больше заботит твоя драгоценная вилла.
— Ты поедешь?
— Конечно. Разве я могу отказать тебе?
— А я уж подумал, что ты откажешься.
— У меня и в мыслях такого не было. Я оставлю наследство моего отца этим волкам-адвокатам и лисице Сильвии и полечу посмотреть, всем ли доволен твой жилец.
— Я ценю твое самопожертвование.
— Могу я сделать что-нибудь еще, босс?
— Да. Взглянув на Коннорса, прилетай в Бостон. Тебе никогда не приходилось предаваться любовным утехам в тумане?
— Флетчер, я же должна утрясти все дела.
— Забудь об этом. Наследство не стоит ломаного гроша. Мы сами сможем позаботиться о Рие и Пепе.
На другом конце провода воцарилась тишина.
— Энди?
— Постараюсь прилететь как можно быстрей, Флетч.

ГЛАВА 5

На другом берегу Чарльз-ривер в тумане тускло светилась реклама «Кэмбридж Электрик». Машины по обоим берегам ехали с включенными подфарниками или ближним светом.

Побрившись и приняв холодный душ, Флетч сто раз отжался на ковре в спальне. Голым вышел в прихожую.

Вчера вечером из этой спальни выбежала девушка. В квартиру она пришла ради забавы, но внезапно что-то произошло, ситуация круто изменилась. Она бросилась бежать. Почему она бегала по квартире в чем мать родила?

А может, бегать, притворяться испуганной входило в правила ее игры?

В гостиной Флетч сел на стул у кабинетного рояля, уставился в точку, где лежала ее голова. Сумрачный утренний свет, тени меж диванов и кофейным столиком не могли приглушить шока, испытанного в ту секунду, когда он увидел ее, с гладкой загорелой кожей, женственную, еще недавно полную энергии, а теперь покойницу.

Рут Фрайер. Мисс Фрайер. Двадцати трех лет. Выросшая в хорошей семье, окруженная заботой любящих родителей. Ее любили юноши, мужчины. Она любила их, свою свободу. Она верила людям. К ней всегда относились с нежностью. До прошлой ночи.

В прошлую ночь ее убили.

Флетч прошел через столовую на кухню, зажег свет. Молока или сливок в холодильнике не оказалось, но он нашел пять яиц и масло.

Не оставалось ничего другого, как делать омлет на воде. Банку растворимого кофе он выудил из буфета.

Флетч перемешивал в сковородке яйца с водой, когда хлопнула дверь лифта. Затем в замке повернулся ключ.

Распахнулась входная дверь.

На пороге стояла женщина с пластиковым пакетом в руке. С большими, широко расставленными глазами, выступающими скулами, тонкими губами. Пальто расстегнуто. Голова повязана красно-сине-черным шарфом. Лет сорока пяти.

— Доброе утро,— поздоровался Флетч.

— Я — миссис Сэйер. Убираюсь здесь по средам и субботам.

— Постараюсь запомнить.

— Ничего страшного.— Ее улыбка более относилась к смущению Флетча, чем к его наготе.— По своей квартире я тоже хожу голой.

— Вы пришли очень рано.

— Не нужно извинений. Я не покупаю этих журналов, но не так стара, чтобы не получить удовольствия при виде обнаженного мужчины. Особенно если он — не негр.

Флетч вытащил из сковородки вилку.

Когда он повернулся, женщина стояла перед ним, пытаясь поймать его взгляд.

— Прежде чем я начну убираться, ответьте мне на один вопрос.

Флетч приготовился слушать.

— Вы убили ту девушку вчера вечером?

— Нет.

— Вам приходилось когда-нибудь убивать?

— Да.

— Когда?

— На войне.

— Все ясно.— Она поставила пластиковый пакет на стол.— Ваша яичница сейчас сгорит.

— Как вы узнали об этом?

— Из утреннего выпуска «Стар». Мистер Коннорс сказал, что ожидает некоего мистера Флетчера.

— Газета при вас?

— Нет, оставила ее в вагоне подземки.— Она сняла пальто и положила его на стол.— Эй, дайте-ка мне сковородку.

Флетч глянул вниз.

— О, значит, старая Энн Сэйер еще способна на такое. Ну, ну, не ожидала, молодой человек. Теперь будет что вспомнить.

— Коннорс тоже любил женщин?

— Еще бы. Особенно после того, как от него ушла жена. Кого здесь только не было!

— Пойду оденусь,— пробормотал Флетч.

— Яичница готова. Судя по вашему загару, вы обычно обходитесь без одежды.

Флетч шагнул к двери.

— Яичница остынет.

— Я замерз.

— Ну, хорошо.

ГЛАВА 6

Омлет остыл. Кроме того, он перелил воды.

Миссис Сэйер накрыла ему в столовой.

К телефону он подходить не стал, решив, что звонят Коннорсу. Но миссис Сэйер всунулась в дверь.

— Это вас. Некий мистер Флинн.

С чашечкой кофе в руках Флетч прошел в кабинет. Захватил он с собой и ключ от номера отеля.

— Доброе утро, инспектор.

— Кто бы это мог быть?

— Флетчер. Вы позвонили мне.

— О, да. Мистер Флетчер. Я забыл, кому звонил.

— Инспектор, рад сообщить вам, что сегодня утром я выдержал проверку на детекторе лжи.

— Неужели?

— Проводила ее миссис Сэйер, которая убирается здесь дважды в неделю.

— В чем же заключалась проверка?

— Она спросила, убил ли я ту девушку.

— И, смею предположить, вы сказали ей, что не убивали.

— Она осталась в квартире и принялась за уборку.

— Надо отметить, я удивился, когда трубку сняла женщина,— признался Флинн.— И подумал: «А что она там делает? Не следует ли предостеречь ее?»

— Кстати, инспектор, ваши люди не обнаружили среди вещей девушки ключ от номера отеля?

— Только водительское удостоверение, выданное во Флориде. В ее левой туфельке.

— Но не ключ? Миссис Сэйер пришла с ключом.

— У уборщицы должен быть ключ. У подружки — нет. Но я понял, к чему вы клоните, мистер Флетчер. Ключи от квартиры могли быть и у других людей.

— Этим утром миссис Сэйер нашла ключ. В прихожей, у самой стенки.

— Ключ от вашей квартиры?

— Нет. От номера отеля.
— Как интересно.
Флетч глянул на бирку.
— На бирке написано: «Логэн-Хилтон 223». Как ваши люди могли не заметить его?
— Действительно, как? Возможно, его там просто не было. Не обнаружили они и предсмертной записки.
— Чего?
— Разве не эту версию разрабатываете вы сегодня утром, мистер Флетчер? Девушка открыла дверь собственным ключом, разделась в вашей спальне, вышла в гостиную и ударила себя по голове.
— Я еще не успел приступить к какой-либо версии, инспектор.
— Я это знаю. Вы просто стараетесь хоть чем-то помочь. Но даже в свою защиту вы придумываете что-то неудобоваримое. Впервые встречаю человека, столь безразличного к убийству, которое он, возможно, совершил.
— Что написано в водительском удостоверении?
— Рут Фрайер жила в Майами, штат Флорида.
— И все? Больше вы ничего не узнали?
— Стараемся, мистер Флетчер, стараемся. Может, сегодня выскочит что-нибудь интересное.
— Я сохраню для вас этот ключ.
— Мы уже наткнулись на одну любопытную деталь. Я позвонил в таможенный контроль. Вы прибыли вчера в половине четвертого. Рейсом Рим — Бостон номер 529, авиакомпания «Транс Уорлд Эйрлайнс».

— И что тут любопытного?
— Вас зовут не Питер Флетчер. В вашем паспорте написано Ирвин Морис Флетчер.
Флетч промолчал.
— Почему человек лжет в такой малости? — задал Флинн риторический вопрос.
— Поступили бы вы иначе, инспектор, если б вам дали имена Ирвин и Морис?
— Естественно,— ответил Флинн.— Меня назвали Фрэнсис Ксавьер.

ГЛАВА 7

Флетч замешкался, прежде чем повернул налево на углу Арлингтон-стрит.
Шагая по вымощенному брусчаткой тротуару, он поднял воротник пальто. В окнах контор горел свет. После долгих жарких месяцев октябрьский воздух приятно холодил лицо.
Отель «Риц-Карлтон» он заприметил за полтора квартала, прошел через вращающуюся дверь, пересек вестибюль и в киоске купил карту Бостона и «Морнинг стар». Повернувшись спиной к киоску, увидел, что есть другой выход, направился к нему и оказался на Ньюбюри-стрит.
На ходу пролистал газету. Сообщение об убийстве попало на пятую страницу. Заметка занимала три абзаца. Без фотографии.

Он упоминался во втором абзаце как «Питер Флетчер». Там же говорилось о допросе. В третьем абзаце указывалось, с ссылкой на полицию, что в квартире, кроме него и убитой девушки, никого не было.

Приведенные факты не оставляли сомнений в его виновности. И бостонская пресса не проявила никакого интереса к этой истории. Флетча это не удивило. Исход однозначный — обвинительный приговор и наказание Питера Флетчера. Никаких загадок. Все просто, как апельсин. Читателя этим не заинтересуешь.

Объявления занимали предпоследнюю страницу. На последней хозяйничали комиксы. Флетч оторвал колонку «Гаражи в аренду» и бросил газету в урну. Оторванную полоску и карту убрал во внутренний карман пальто.

Галерея Хорэна располагалась в следующем квартале. Без всякой вывески. Старый городской дом, деревянные ворота гаража слева от крепкой на вид двери. Справа — два забранных решетками окна. Такие же решетки на окнах второго, третьего и четвертого этажей. Не дом, а крепость.

На медной табличке под звонком значился лишь номер дома, без указания фамилии владельца. Дверь отворилась, как только Флетч нажал на кнопку звонка.

Его встретил мужчина лет шестидесяти в темно-синем фартуке от груди до колен, из-под которого виднелись белая рубашка с черным галстуком, черные брюки, начищенные черные туфли. Дворецкий, оторвавшийся от чистки столового серебра?

— Флетчер,— представился Флетч.

Справа от прихожей, в когда-то семейной гостиной, всю обстановку составляли предметы искусства. Проходя мимо двери, Флетч увидел картину Россетти * на мольберте. Руссо ** — на дальней стене. На пьедестале стояла танцовщица Дега ***.

Поднимаясь по ступеням, Флетч обратил внимание, что дом снабжен системой кондиционирования. Через каждые пять метров на стенах висели термометры с абсолютно идентичными показаниями. В воздухе не чувствовалось ни малейшего запаха, указывающего на существование человека. Немногие из крупнейших музеев мира могли позволить себе такие дорогостоящие системы.

Мужчина, встретивший Флетча, молча препроводил его в комнату на втором этаже и закрыл за ним дверь.

Прямо перед дверью на мольберте стояла картина Коро ****.

Хорэн поднялся из-за стола, сработанного во Франции не одно столетие назад, чуть кивнул, в Европе это называлось «американский поклон», и по мягкому персидскому ковру пошел навстречу, протягивая руку.

— Вы моложе, чем я ожидал.

Влажное от мороси пальто Флетча он повесил в стенной шкаф.

* Россетти, Данте Габриел (1828—1882 гг.), английский живописец и поэт.
** Руссо, Теодор (1812—1867) — французский живописец.
*** Дега, Эдгар (1834—1917) — французский живописец и скульптор.
**** Коро, Камиль (1786—1875) — французский живописец.

На столике между двумя маленькими удобными диванчиками стояли кофейник, чашечки, сахарница, кувшинчики с молоком и сливками.

— Сахар, молоко, сливки, мистер Флетчер.

— Только кофе, пожалуйста.

— Сегодня утром я с удовольствием почитал вашу монографию об Эдгаре Артуре Тарпе-младшем. Мне следовало познакомиться с ней раньше, но, к сожалению, я не знал о ее существовании.

— К встрече клиента вы готовитесь основательно.

— Скажите, пожалуйста, первоначально вы писали ее как докторскую диссертацию? В тексте не указано, в каком университете вам присвоена эта степень.

— Я писал ее для себя.

— Но напечатали недавно? Глядя на вас, можно сказать, что вы получили диплом несколько лет назад. Или вы относитесь к тем людям, которые не стареют, мистер Флетчер?

Хорэн Флетчу понравился. Лет пятидесяти с небольшим, со стройной фигурой, крепкими, широкими плечами. Правильные черты лица, отсутствие морщин благодаря массажу и косметическим средствам. Волосы, зачесанные назад, тронуты на висках сединой. Киногерой, достойный того, чтобы танцевать на экране с Одри Хепберн.

— Разумеется,— продолжил он, не получив ответа,— я еще не начал восторгаться американскими художниками. Кассетт, Сарджент — к ним претензий нет, а вот у Уинслоу Хомера, Ремингтона, Тарпа * все до неприличия здоровое, крепкое, массивное.

— В том же грехе можно обвинить Микеланджело и Рубенса.

— Я имею в виду конкретику. Для большинства американских художников важен сам момент, движение, выхваченное глазом. Ни до, ни после, только теперь. Это не вдохновляет.— Хорэн пригубил кофе.— Но я оставлю свои рассуждения до лекции в Гарварде, которая начинается у меня в двенадцать часов. Вы насчет Пикассо?

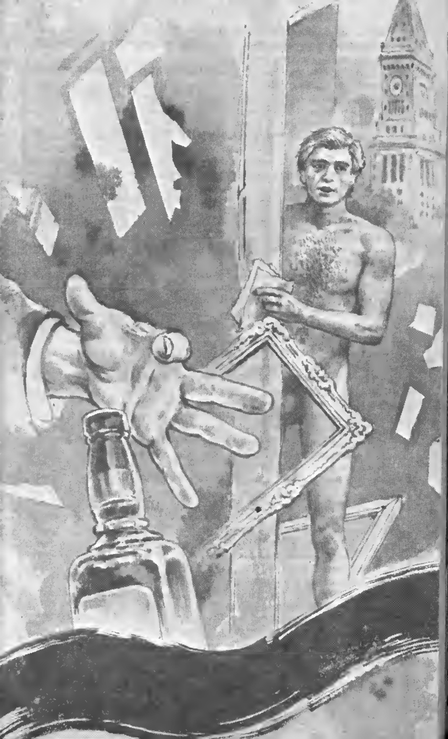
— Да,— подтвердил Флетч.

Ему не только предложили сесть, но и дали понять, кто — профессор, а кто — студент.

— Что можно добавить к уже сказанному? Возможно, она не существует. А может, существует. Если существует, то где? Можно ли установить ее подлинность? Поверите ли вы мне или нет, но теперь, после смерти старика, установить подлинность той или иной его картины стало проще. Он-то называл своими все картины, которые ему нравились, хотя и не рисовал их, и отказывался от тех, что рисовал, если они его не впечатляли. Далее встанет вопрос, захочет ли нынешний владелец продать картину и за сколько. Вполне возможно, мистер Флетчер, что ваш столь дальний вояж закончится безрезультатно.

---

* Кассетт, Мэри (1844—1926 г.г.), Сарджент, Джон Сингер (1856—1925), Хомер, Уинслоу (1836—1910), Ремингтон, Тарп — американские живописцы конца XIX — начала XX века.



Флетч промолчал.

— Или вы действительно прилетели в Бостон, чтобы продолжить изучеиие творчества Тарпа?

— Откровенно говоря, да. Я хочу написать его биографию.

Хорэн наморщил лоб.

— Ну, если я смогу чем-нибудь помочь... Рекомендательное письмо в Фонд семьи Тарп...

— Не откажусь...

— А картину Пикассо вы желаете приобрести для личной коллекции?

— Да.

— Вы никого не представляете?

— Нет.

— Тогда я должен поинтересоваться вашей кредитоспособностью, мистер Флетчер. Понимаете, с другими моими клиентами я работаю много лет. И одной монографии, отпечатанной на средства автора...

— Я понимаю. Банк «Барклоу» в Нассау удостоверит мою кредитоспособиость.

— На Багамских островах? Иной раз это очень удобно.

— Полностью с вами согласен.

— Очень хорошо, сэр. Вы упоминали, что у вас есть фотография этой картины.

Флетч достал коиверт из внутреннего кармана пиджака. Положил фотографию на стол.

— Фотография сделана со слайда,— пояснил он.

— Как я и думал.— Хорэн взял фотографию.— Кубизм. Брак * ее не писал, это ясно. Но принадлежит ли она кисти Пикассо?

Флетч встал.

— Вы наведете для меня справки?

— Сделаю все, что в моих силах.

— Сколько, по-вашему, пройдет времени, прежде чем появятся первые результаты?

— Я сяду на телефон сегодня же. Возможно, все выяснится через двадцать минут, но не исключеио, что и через двадцать дней.

На маленьком столике у стенного шкафа лежал свежий номер «Нью-Йорк таймс». В Галерее Хорэна еще не знали о вечерних приключениях Флетча. Он глянул на первую страницу.

— Я не читаю бостонских газет,— заметил Хорэн.

— Даже не заглядываете в колонку светской хроники?

Хорэн подал ему пальто.

— Я думаю, все, что заслуживает моего внимания, обязательно появится в «Нью-Йорк таймс».

Хорэн открыл дверь. Дворецкий, все в том же фартуке, ждал на лестничной площадке, чтобы проводить Флетча до дверей.

— Вы, несомненно, правы,— поддакнул Флетч.

---

* Брак, Жорж (1882—1963 г.г.) — французский живописец, один из основателей кубизма.

Перейдя на другую сторону улицы, Флетч взглянул на дом Хорэна. На крыше, по обоим торцам, на стыках с соседними домами щерилась остриями высокая изгородь. Как уже говорилось, все окна закрывались решетками.

Рональд Хорэн оберегал себя от незваных гостей.

Следуя карте, Флетч добрался до Бойлстон-стрит, а по ней попал на Копли-сквэа. Там, в «Стэйт стрит бэнк энд траст компани», после долгих задержек и бесконечных разговоров со всеми, за исключением младшего кассира, бессчетное число раз показав паспорт и не единожды услышав, что «все делается для вашего же блага, сэр», Флетч получил двадцать пять тысяч долларов наличными, которые заказывал накануне. Деньги ему выдали в банкнотах по пятьдесят и сто долларов.

Он пожаловался, что получить деньги в банке гораздо сложнее, чем положить их туда. Даже если они твои собственные.

— В этом предназначение банков, сэр,— пояснили ему.

Он, разумеется, согласился.

Потом Флетч перекусил сэндвичем с тунцом и «кока-колой». На такси объехал пять магазинов, где продавались подержанные автомобили, прежде чем нашел нужный ему автофургон. «Шевроле» выпуска прошлого года, голубой, с восьмицилиндровым двигателем, печкой и кондиционером. Покупку Флетч оплатил наличными и попросил заменить на новые все четыре колеса. Владелец магазина посоветовал ему сразу же оформить необходимую страховку автофургона в конторе на другой стороне улицы. Контора принадлежала сестре его жены. За страховку пришлось уплатить чуть ли не больше, чем за сам фургон.

Сверив карту с адресами гаражей на газетной вырезке, Флетч попросил таксиста отвезти его в бостонский подземный гараж, располагавшийся неподалеку от его дома. Но, попав туда, сразу понял, что это заведение ему не подходит: машины стояли разделенные сетчатыми перегородками. Ему же требовался отдельный бокс.

Пешком он добрался до гаража на Речной улице, также поблизости от Бикон-стрит. Разбудил домоправительницу, уполномоченную владельцем вести переговоры о сдаче гаража. С трудом она отыскала ключ, показала ему гараж, жалуясь на радикулит. Цену владелец заломил высокую, но Флетча прельстили кирпичные стены и новые высокие ворота. Он снял гараж на два месяца, заплатил опять же наличными, получил ключ и расписку (на имя Йохана Реклингхаузена).

На прощание посоветовал домоправительнице обратиться к врачу. Отстояв сорок семь минут в очереди в Бюро регистрации автомобилей Массачусетса в доме 100 по Нассау-стрит, Флетч предъявил водительское удостоверение, квитанцию о покупке, страховой полис и получил регистрационное свидетельство (на голубой «шевроле»-автофургон) и две пластины с номерным знаком.

Снова отправился в Северный Кембридж. Там механики установили пластины на автофургон.

В Бостон он поехал на своих колесах, остановился на углу, купил в магазинчике «Разное» двадцать пять экземпляров вечернего выпуска «Бостон глоб». Хозяин магазинчика полюбопытствовал, не упомянут ли оптовый покупатель на одной из страниц этого номера. В магазинчике Флетч не мог дать определенного ответа, но, сев за руль, пролистал газету. Нет, журналисты обошли вниманием его персону.

Зашел он также в магазин скобяных товаров. Приобрел кварту черной краски, дешевую кисть и бутылку скипидара.

До Речной улицы Флетч добрался уже в темноте. Распахнул ворота и, оставив автофургон на улице с зажженными фарами, вошел в гараж. Расстелил газеты по бетонному полу, загнал «шевроле» на бумагу и закрыл ворота.

Следя за тем, чтобы не запачкать одежду, забрался на крышу автофургона и во всю длину черной краской написал прописными буквами «НЕБОСЬ, КАЙФУЕШЬ!». Слез на пол. На левом боку автофургона появилась надпись «НАКОРМИТЕ НАРОД!». На правом — «ПРИСПОСАБЛИВАЙСЯ!».

На влажном от мелкого дождя металле буквы сразу же расползались, чего он, собственно, и добивался.

Отмыв руки скипидаром, Флетч вышел на улицу и запер гараж. Затем на такси доехал до отеля «Шератон-Бостон» и взял напрокат темно-синюю «форд-гранаду», на которой добрался до дома. Он оставил машину у тротуара.

ГЛАВА 9

В квартире горели все лампы.

Снимая пальто, Флетч прошел в кабинет. Бросил пальто на кресло. На столе лежала записка. «Позвоните графине ди Грасси в «Риц-Карлтон». Миссис Сэйер».

— Черт! — вырвалось у Флетча.

— Плохие новости, мистер Флетчер? — Инспектор Флинн смотрел на него из прихожей.— Боюсь, это еще не все.

Из гостиной появился Гроувер.

— Ваша миссис Сэйер, убедившись, что мы не только сотрудники бостонской полиции, но и добропорядочные люди, разрешила нам остаться после ее ухода.

— Если вы хотите поговорить со мной, давайте уйдем из этой комнаты. Она порядком надоела мне за вчерашний вечер.

— Именно поэтому мы дожидались вас в гостиной.— Флинн отступил, давая Флетчу пройти.— Там просторнее.

— Не хотите ли выпить, господа? — спросил Флетч на правах хозяина.

— Мы при исполнении, но вам никто не запрещает промочить горло.

Флетч пить не стал, сел на один из диванов у камина, тот, рядом с которым лежал труп.

— Нам пришлось побегать за вами.— Флинн опустился на другой диван.— После утреннего исчезновения вы, наверное, поняли, что скрыться из Бостона невозможно, во всяком случае, на общественном транспорте.

— Исчезновения?
— Только не говорите нам, что вошли в одну дверь «Риц-Карлтона», а вышли через другую не для того, чтобы отцепиться от «хвоста», а чисто случайно.
— Какого «хвоста»? — Флетч изобразил изумление.— Я заходил в отель, чтобы купить газету.
— Это же надо, Гроувер. Святая невинность. Вся бостонская полиция поднята на ноги, лучшие люди дежурят на автостанциях, железнодорожных вокзалах, в аэропортах, вооруженные приметами нашего подозреваемого в убийстве, а мистер Флетчер преспокойно заявляется домой, чтобы сообщить нам, что вошел в одну дверь, а вышел в другую лишь для того, чтобы купить газету.
— Еще я купил карту Бостона.
— Вы собирались удрать,— твердо заявил Флинн.— Полчаса назад взяли напрокат машину. Синюю «форд-гранаду»... Какой номерной знак, Гроувер?
— Эр-99420,— ответил Гроувер, заглянув в блокнот.
— Между прочим, Гроувер, отмените розыск машины. Пусть патрульные дорожной полиции штата немного отдохнут. Мистер Флетчер уже дома.
Гроувер ушел в кабинет, чтобы связаться по телефону с дорожной полицией.
— Уж не скипидаром ли от вас пахнет? — поинтересовался Флинн.
— Это новый мужской одеколон. «Дюбюф». Очень популярен во Франции. 231
— Я бы поклялся, что это скипидар.
— Могу прислать вам флакон,— предложил Флетч.
— О, нет, не хочу причинять вам лишних хлопот.
— Никаких хлопот. Честное слово.
— Он, наверное, дорогой.
— Все зависит от того, покупаете ли вы унциями или квартами.
— Вы на меня не обижайтесь, но я еще не знаю, хотелось бы мне, чтобы от меня так пахло. Все равно как от маляра, закончившего рабочий день. Полагаю, этот запах — символ мужественности?
— А вы не согласны?
— Люди странным образом реагируют на запахи. Особенно французы.
В гостиную вернулся Гроувер.
— Инспектор, я чувствую запах скипидара. А вы?
— Я — нет,— ответил Флинн.
Гроувер застыл посреди комнаты, гадая, где же ему сесть.
— Вы хотите, чтобы я записывал ваш разговор, инспектор?
— Честно говоря, ваши записи мне абсолютно ни к чему. У меня особый дар, мистер Флетчер. Вы вот пишете о живописи, и у вас обостренное чувство зрения. И, полагаю, утонченное обоняние, иначе вы не стали бы выкладывать кругленькую сумму за французский одеколон, по запаху ничем не отличаю-

щийся от скипидара. Меня же Бог наградил другим — я никогда не забываю того, что услышал. Все дело, наверное, в этих чудесных ирландских ушах.— Зеленые глаза хитро блеснули, когда ручищи Флинна коснулись его ушей.— Уши поэта.

Гроувер устроился на стуле, держа блокнот и ручку наготове.

— Когда мы ехали домой, Гроувер задал мне перца, мистер Флетчер,— заговорил Флинн мягким голосом.— Вы понимаете, за то, что я не арестовал вас. Он-то полагал, что оснований для вашего ареста у нас хватало.

— А вы нет? — простодушно спросил Флетч.

— Основания у нас были,— прнзнался Флинн.— Но я объяснил Гроуверу, что предпочитаю оставить подозреваемого на свободе н вести за ним слежку. Легче узнать человека, когда он живет среди людей и делает все, что ему вздумается, чем в тюремной камере, где он настороже и в окружении адвокатов. Я выдержал жуткую трепку. А утром вы преспокойно ускользаете от слежки, естественно, даже не подозревая о ней, и проводите день в свое удовольствне, без нашего надзора.

— Вы, наверное, опасались, что я могу убить кого-то еще? — спросил Флетч.

— Именно! — вырвалось у Гроувера.

Взгляд Флинна показал Гроуверу, что его терпят как неизбежное зло.

— По-моему убеждению,— продолжил Флинн,— Ирвин Моррнс Флетчер, пусть даже представнвшийся нам Питером Флетчером, не смог бы убнть роскошную девицу в своей квартире, во всяком случае, трезвым, а потом по-будничному сообщить в полицию о случившемся. У него была возможность стереть отпечатки пальцев, запаковать чемоданы, уехать в аэропорт н в мгновение ока покинуть страну.

— Благодарю вас,— ввернул Флетч.

— Более того, он мог одеть тело, по черному ходу вынести на улицу и в темноте ночи оставить в любом месте города Бостона.

Флетч обдумал этот вариант.

— А что делает наш приятель? Звонит в полицию. Не прнзнается в совершении убийства, но звонит в полицию. Он заслуживает некоторого доверия, Гроувер, за непоколебимую веру в то, что закон превыше всего, а полиция твердо стоит на его страже.

Уши Гроувера покраснели. Из-за одного слова его отчитывали, как нашкодившего ребенка.

— Однако,— Флинн уселся поудобнее,— полученные сегодня материалы существенно усиливают позицию Гроувера. Вас интересует, что я имею в виду, мистер Флетчер?

— Разумеется.

— Во-первых, когда, по-вашему, мистер Барт Коннорс отправился в Италию?

— Не знаю. Вилла в его распоряжении с прошлого воскресенья.

— А сегодня среда. Миссис Сэйер подтверждает, что видела Коннорса в субботу. Он попросил ее прийти в понедельник и провести генеральную уборку в связи с вашим приездом во вторник, то есть вчера. Так она н сделала. Поэтому вполне

логично предположить, что Коннорс улетел в Италию то ли в воскресенье, то ли днем в понедельник.

— Нет возражений,— согласился Флетч.

— До сих пор нам не удалось установить точную дату его отлета. Проверка авиакомпаний показала, что ни одна из них не выдавала билет Бартоломео Коннорсу.

— Он мог вылететь из Нью-Йорка.

— Не вылетел,— отрезал Флинн.— А так как мистер Коннорс — один из руководителей известной в Бостоне юридической фирмы, я не могу поверить, что он отправился в путешествие по подложному паспорту. Если, конечно, его отъезду не предшествовало экстраординарное событие, нам пока не известное.

— Полагаю, я могу позвонить на виллу в Италии и узнать, там ли он сейчас,— заметил Флетч.

— Возможно, мы пойдем и на это. Но не будем спешить. Не следует поджаривать куропатку, пока у нее не обсохли перышки.

— Что?

— Теперь перейдем к миссис Сэйер. Вдова, две взрослые дочери. Одна преподает в школе в Маттапане. Живет отдельно от матери. Вторая учится в медицинском институте в Орегоне. Миссис Сэйер подтверждает, что у нее есть ключ от квартиры, но она его никому не давала и не дает. Воскресенье она провела с хорошим знакомым, разведенным шестидесятилетним бухгалтером, который частенько навещает внуков в Нью-Бедфорде.

— А я, представьте себе, никогда не подозревал миссис Сэйер,— признался Флетч.

— У нее был ключ,— стоял на своем Флинн.— И плохой человек мог бы воспользоваться ее доверчивостью в собственных интересах. Она говорит, что шесть месяцев назад Коннорс пережил болезненное расставание с женой. Пока они просто живут раздельно, но миссис Сэйер считает, что развод неизбежен. Она уверена, что с тех пор в квартире бывали женщины. Она находила их вещи при уборке. Но никто из них в квартире не жил, поскольку ни в шкафах, ни в ящиках они не оставляли свою одежду и белье. Из этого, собственно, и следует ее вывод, что никому из этих женщин Коннорс ключа не давал.

Гроувер чихнул.

— В квартире находятся очень ценные картины, не так ли, мистер Флетчер? Так что можно предполагать, что Коннорс не раздавал ключи направо и налево.

— Да, картины дорогие,— признал Флетчер.

Он еще не составил полного каталога находящихся в квартире картин, но и то, что он успел увидеть, производило впечатление. Спальню украшала картина Матисса *, гостиную — Клее **, а столовую — Уорхола ***.

— Нужно отметить, что в квартиру можно проникнуть через черный ход на кухне. Он предназначен для выноса мусора.

* Матисс, Анри (1869—1954 г.г.) — французский живописец, график.
** Клее, Пауль (1879—1940) — швейцарский живописец, график.
*** Уорхол, Энди — современный американский живописец.

Замка нет. Запирается дверь только изнутри на два засова. Миссис Сэйер говорит, что никогда не забывает задвигать их. И действительно, вчера вечером, когда мы прибыли сюда, засовы были задвинуты. То есть никто не мог уйти черным ходом.

— Но кто-то мог войти через ту дверь,— отметил Флетч.— Задвинуть засов и выйти, как принято, через входную дверь.

— Совершенно верно,— склонил голову Флинн.— Но как это сделать, если заранее не знаешь, что дверь не заперта?

— Случайно,— предположил Флетч.

— Да, да, случайно,— чувствовалось, что в случайность Флинн не верит.— Теперь перейдем к вам.

Гроувер весь подобрался, приготовился записывать.

— Вашингтон соблаговолил выслать нам вашу фотографию и отпечатки пальцев.— Флинн добродушно улыбнулся.— У человека уже нет права на личную жизнь.

От его улыбки Флетчу стало не по себе.

— Мы узнали много интересного. Обвинение в подделке чека. Два вызова в суд. Злостная неуплата алиментов...*

— Перестаньте, Флинн.

— Все судебные иски отозваны. Я не собираюсь изображать вашего адвоката, хотя и защищаю вас перед Гроувером. Но я посоветовал бы, поскольку претензий к вам более нет, позаботиться о том, чтобы эти материалы изъяли из вашего досье. Собственно, их и не должно там быть. Кто знает, как отнесется к вам чиновник вроде меня, ознакомившись с ними? Среди людей бытует мнение, что дыма без огня не бывает.

— Благодарю за дельный совет.

— Я также выяснил, что вы награждены «Бронзовой звездой». Правда, не понял, что означает пометка «не вручена».

Гроувер смотрел на Флетча с нескрываемым презрением.

— Скользкий вы тип, Ирвин Флетчер,— подвел итог Флинн.

— Держу пари, вы не хотели бы, чтобы вашей дочери достался такой муж.

— Я бы попытался отговорить ее,— согласился Флинн.

— Вам даже не нравится мой одеколон.

— Вас еще не опознал ни один из таксистов, что возят пассажиров из аэропорта.

— А зачем вам это нужно?

— Мы хотим знать, приехали вы из аэропорта в одиночестве или с дамой.

— Понятно.

— Даже тот парень, что привозил кого-то вчера днем к дому 152 по Бикон-стрит, не признал вас. Не помнит он и того, ехал ли с ним один человек или двое.

— Потрясающе.

— Эти аэропортовские таксисты — народ независимый. Слишком независимый. Вчера вечером четыре такси подвозили пассажиров из этого района к «Кафе Будапешт». Ни один из

* Подробнее в романе «Флетч», опубликованном в журнале «Смена» № 20 за 1989 г.

водителей вас не узнал и не помнит, были вы один или в компании.

— Я у них в неоплатном долгу.

— Не все готовы сотрудничать с нами так, как вы, мистер Флетчер.

— Мерзавцы.

— Не опознали вас и официанты в «Кафе Будапешт». Какой, должно быть, для вас удар. Надушиться таким дорогим одеколоном, провести час или два в модном ресторане, и чтобы ни у кого это не отложилось в памяти.

— Я потрясен до глубины души.

— А, казалось бы, официанты могут запомнить мужчину, который ест один, занимая весь столик, пусть и на двоих, не так ли? Ведь стоимость заказа отражается на их доходе.

До восьми часов оставалось десять минут.

— Таких вот успехов мы добились с вашей фотографией. Немало интересного мы узнали по вашим отпечаткам пальцев.

— Я сгораю от нетерпения.

— В этой комнате ваши отпечатки обнаружены в двух местах. На клавише кабинетного рояля, вы коснулись ее правым указательным пальцем. Не представлял себе, что вы еще и музыкальны.

— Наоборот, у меня нет слуха.

— Я сказал, в двух местах, помимо выключателей! Если нет, то считайте, что я поправился. Могу предположить, что, войдя в квартиру и осмотревшись, вы зажгли свет в гостиной, подошли к роялю, коснулись одной клавиши, прошли через столовую на кухню, везде зажигая свет. Не привыкли вы экономить электроэнергию.

— Наверное, нет.

— Так вот, в гостиной ваши отпечатки обнаружены лишь на бутылке виски и на кувшине с водой.

— Не стану спорить.

— Бутылка была полная. Вы открыли ее.

— Да.

— Мистер Флетчер, эта бутылка виски и есть орудие убийства.

Зеленые глаза впились во Флетча. Он почувствовал, что они способны разглядеть содержимое его желудка. Боковым зрением он увидел бледное лицо Гроувера, также пристально наблюдающего за ним.

— На бутылке только ваши отпечатки, мистер Флетчер. Остальные стерты. Винные бутылки часто протирают перед тем, как поставить на стол.

— А есть в гостиной другие отпечатки? — спросил Флетч.— Я хочу сказать, пальцев других людей?

— Миссис Сэйер, девушки, Рут Фрайер, и еще одного человека, вероятнее всего Бартоломео Коннорса.

— Много отпечатков пальцев девушки?

— Мало. Но достаточно, чтобы утверждать, что убили ее в этой комнате.

Флетч промолчал. Да и что он мог сказать.

— Самое печальное в этой истории, мистер Флетчер, что эта бутылка виски, если вы помните, чему учили вас на уроках физики, является куда более надежным орудием убийства именно в запечатанном виде, а не после того, как ее вскрыли и отлили часть содержимого.

— О Боже!

— Открыв бутылку и выпив пол-унции, вы пытались отвлечь наше внимание от бутылки, сделали все возможное, чтобы мы не пришли к мысли, что как раз бутылкой девушку и убили.

— И ничего у меня не выгорело,— вздохнул Флетч.

— Да, виновата моя неопытность. Другой бы полицейский, умудренный годами безупречной службы, даже не посмотрел бы на эту бутылку. Помнится, мне пришлось убеждать Гроувера в необходимости отправить ее в лабораторию. Я положил на это немало усилий, не так ли, Гроувер? Но я настоял на своем, поскольку не поднимался со ступеньки на ступеньку в полицейской иерархии и не получил должного образования. Эксперты весьма удивились, признав в раскупоренной, початой бутылке орудие убийства.

— Как им это удалось?

— Микроскопические частицы волос, кожи, крови, безусловно принадлежащие девушке.

Флинн выдержал долгую паузу. Спокойно сидел, наблюдая за Флетчем. То ли ждал, пока Флетч оправится от нового шока, то ли рассчитывал, что тот начнет оправдываться.

Флетч же воспользовался своим правом помолчать.

— Не пришла ли пора вызвать адвоката, мистер Флетчер?

— Нет.

— Если вы думаете, что убеждаете нас в своей невиновности, отказываясь обратиться к адвокату, то вы не правы.

— Вы убеждаете нас в своей глупости,— подал голос Гроувер.

— Ну зачем так, Гроувер. Мистер Флетчер не глуп. А теперь он знает, что и мы не обделены умом. Может, он хочет обойтись без формальностей и сразу сознаться, облегчить душу.

— Я знаю, что ума у вас хватает,— огрызнулся Флетч.— Не пойму только, почему я чувствую себя таким дураком.

— Вы, похоже, злитесь.

— Злюсь.

— На что?

— Сам не знаю. Наверное, мне следовало что-то делать в последние двадцать четыре часа. В связи с этим убийством.

— А вы не ударили пальцем о палец?

— Нет.

— Самое удивительное в этой истории — ваша вера в нас. Наивным-то вас не назовешь.

— Вы ознакомились с моим досье.

— Как я понимаю, в данный момент вы не сознаетесь в убийстве?

— Разумеется, нет.

— Он все еще не сознается, Гроувер. Отметьте у себя, пожалуйста. Какая несгибаемая воля! Не сознается, и все тут. Тогда пойдем дальше.— Флинн наклонился вперед, уперся локтями

в колени, сложил руки перед собой.— Вчера вечером вы сказали, что никогда ранее не видели Рут Фрайер.

— Могу подтвердить это н сейчас.

— Ключ, любезно предоставленный вами, привел нас в ее отель, расположенный, кстати, в аэропорту. Мы просмотрели ее вещи. Переговорили с соседкой по иомеру. Затем с ее начальником. Даже если вы не вндели ее раньше, можете вы догадаться, как она зарабатывала на жизнь?

— Уж не хотите ли вы сказать, что она была стюардессой?

— Хочу.

— Потрясающе.

— «Транс Уорлд Эйрлайнс», мистер Флетчер. Временно снятая с полетов и приписанная к бостонскому аэропорту. В ее обязанности входила встреча пассажиров первого класса. В том чнсле и тех, что прилетели во вторник из Рима рейсом 529.

Когда Флетч вскочил, Флинн откинулся назад, возможно, от неожиданности.

Флетч направился к роялю.

Оторвался от стула и Гроувер.

Флетч нажал на одну нз клавиш.

— Каким-то боком это связано со мной.

— Что? — спросил Флинн.

— Это убийство имеет ко мне какое-то отношение.

— Такова, значит, ваша реакция? Сядьте, Гроувер. Умница, этот мнстер Флетчер. Ему потребовалось лишь двадцать четыре часа, чтобы ухватнть суть.

— Блестящая работа,— похвалил его Флетч.

— О мой Бог! Теперь еще н лесть.

— Что же мне делать?

— К примеру, сознаться, идиот вы этакнй!

— Я бы сознался, инспектор, сознался.— Флетч прошелся по комнате.— Но не думаю, что в этом деле замешан кто-то из моих знакомых.

— О чем зто вы?

— Человек, убнвший Рут Фрайер, мог н не знать меня лично.

— Если вы хотите сказать, мистер Флетчер, что вас подставили, позвольте напомнить о вашем вчерашнем утверждении, что в городе вы никого ие знаете.

— В городе, но не в мире. Многие ненавидят меня.

— И их становится больше с каждой минутой. К примеру, Гроувер.

— В Италии все знали о моих плаиах. В Канья, в Риме, в Ливорно. То же можно сказать о лондонской фирме «Обмен домов». Я начал готовиться к поездке трн недели назад. Написал друзьям в Калифорнию, что попытаюсь вырваться к ним, приехав в Штаты. Написал в Снэтл, в Вашингтои.

— Все ясно, мистер Флетчер. Мы посадим за решетку весь мир, а вас оставнм на свободе.

— Речь не о том, инспектор. Я не думаю, что вину за убийство хотели возложить именно на меня. Возможно, убийство не готовилось, а произошло случайно. А я оказался первым, кто вошел в эту квартиру после случившегося.

— Ну и ну. Похоже на одного французского философа, который через тридцать лет после рождения решил, что между ним и окружающим миром есть определенная взаимосвязь.

— А не пригласить ли мне вас пообедать со мной? — неожиданно сменил тему Флетч.

— Пообедать! Да он сумасшедший, Гроувер. Дело в том, мистер Флетч, что мы оба думаем, а не пригласить ли вас проехаться с нами.

— Не буду возражать, если ресторан выберете вы.— Флетч словно не понял намека.— Город вы знаете лучше меня.

— Что ж, следует отметить, что до этой минуты он вел себя так, будто не имел никакого отношения к расследуемому нами преступлению,— сообщил Флинн невидимому слушателю.— Полностью соответствовал роли невиновного и надежного свидетеля. Вот в чем загвоздка. Что будем делать, Гроувер?

— Посадим за решетку.

— Решительный человек этот Гроувер.

— Предъявим обвинение.

— Вы же знаете, что мистер Флетчер может нанять искусных адвокатов, частных детективов, внести залог, выразить протест через прессу, прибегнуть к затяжкам расследования, апелляциям, вплоть до Верховного суда.

— Посадите его за решетку, Фрэнк.

— Нет.— Флинн встал.— Он не уехал из Бостона вчера. Не уехал сегодня. Можно с достаточной уверенностью предположить, что никуда он не денется и завтра.

— Завтра он сбежит, инспектор.

— Не будем осложнять себе жизнь. Пока мы не загнали мистера Флетчера в угол. Хотя мне уже казалось, что победа близка.

— Каких же улик нам еще не хватает?

— Точно сказать не могу. Улик у нас горы. Кажется, я пришел сюда в шляпе. А, вот и она. Невежливо говорить в присутствии третьего лица, Гроувер, полностью игнорируя его, словно он мертв.

В прихожей Флинн надел шляпу.

— Мне предстоит еще одна взбучка, мистер Флетчер. По пути домой Гроуверу, возможно, удастся убедить меня в вашей виновности. Пока этого не произошло. Спокойной ночи.

ГЛАВА 10

Флетч решил, что в ресторан идти уже поздно. В поисках съестного он порылся на полках буфета, но всю его добычу составила жестянка с рубленым мясом.

Пока он ел, телефон звонил трижды.

В первый раз, когда он открывал банку, ему продиктовали телеграмму из Канья.

«Коннорс — милый обиженный человек. О папе ничего нового. Люблю. Энди».

Значит, Коннорс-таки в Италии. Милый или обиженный, какая, собственно, разница. Главное — он в Италии.

Вторично позвонили, когда он собирался поставить сковородку на плиту.

— Ужели это знаменитый маг журналистики, великий И. М., единственный и неповторимый, одна нога здесь, другая — там, Ирвин Морис Флетчер?

— Джек! — Голос прежнего босса в Чикаго, редактора отдела городских новостей, Флетч не мог спутать ни с каким другим в мире. Более года ему приходилось слышать его по телефону, днем и ночью, в любое время суток.— Где ты?

— Значит, выдаешь себя за Питера Флетчера? Я только что нашел на столе корректировку из Бостонского полицейского управления.

— В Чикаго?

— Нет, сэр. Прямо здесь, в Бинтауне. Ты разговариваешь с ночным редактором «Бостон стар».

— Ты ушел из «Пост»?

— Если бы я знал, что в убийстве замешан И. М. Флетчер, та заметка никогда не попала бы на седьмую страницу.

— На пятую.

— Я дал бы ее на первой полосе с большущими фотографиями, чтобы читатели не могли отделить тебя от убитой девушки.

— Премного тебе благодарен. Значит, у меня есть знакомые в Бостоне.

— Что?

— Как получилось, что ты ушел из «Пост»?

— «Бостон» предложил больше денег. Разумеется, они не сказали, что и жизнь здесь куда дороже. После того как ты уволился из «Пост», все там стало иначе. Жизнь, можно сказать, замерла, веселье кануло в Лету.

— Да, наверное.

— Слушай, а тебе не нужна работа?

— Сейчас нет. Как Дафна и дети?

— Все по-прежнему, пудра для лица и ореховое масло. Почему, ты думаешь, я работаю по ночам?

Флетч никак не мог взять в толк, почему Джек не разводится. На жену он даже не смотрел, от детей, считал, один шум.

— Эй, Флетч, они собираются отдать тебя под суд?

— Возможно. Кто такой Флинн?

— Ты о Фрэнке Флинне? Тебе повезло. Только поэтому ты до сих пор не в кутузке.

— Я знаю.

— Его принцип — тише едешь, дальше будешь. Он никогда не спешит с арестом. Но еще ни разу не ошибся. Если он арестует тебя, считай, что надежды на спасение нет.

— Что в его досье?

— Практически ничего. Появился в Бостоне полтора года назад, что весьма необычно. Копы редко меняют города. У него чин инспектора. Большая семья. Музыкален. Играет на скрипке или на чем-то еще.

— Свое дело знает?

— Раскрыл с дюжину тяжелых преступлений. Довел до конца

несколько дел, иа которые уже махнули рукой. Если ты виновеи, он прижмет тебя к стенке. Кстати, ты ее убил?

— Спасибо, что спросил.

— Как насчет ленча?

— Когда?

— Я думаю, лучше всего завтра. На меня нападает депрессия, если приходится навещать друзей в тюрьме.

— Раз ты работаешь по ночам, ленч у тебя довольно поздно, так?

— Около двух. Тебя это устроит?

— Вполне.

— Если у тебя есть галстук, мы можем пойти в «Локе-Обер».

— Где это?

— Тебе не найти. В темном переулке. Просто попроси таксиста отвезти тебя в «Локе-Обер».

— Понятно.

— Там два обеденных зала, внизу и наверху. Встретимся в нижнем.

— Идет.

— Желаю тебе и дальше оставаться иа свободе. Пожалуйста, больше не бей никого по голове, предварительно ие позвонив в «Стар». У нас лучшие в Бостоне фотографы.

— До встречи, Джек.

Третий звонок раздался, когда он уже умял полбанки.

— Флетчер, дорогой.

Графиня ди Грасси. Бразильская секс-бомба. Сильвия. Мачеха Энди.

— Привет, Сильвия.

— Вы мне не перезвонили, Флетчер.

— Я не знал, куда. Где вы?

— В Бостоие, дорогой. Я звонила раньше и просила оставить записку.

Флетч промолчал.

— Я в «Риц-Карлтоне».

— Вы не можете позволить себе «Риц-Карлтон», Сильвия.

— Я графиня ди Грасси. Нельзя ожидать от графини ди Грасси, что она остановится в каком-нибудь, как это у вас называется, клоповнике.

— Однако в «Риц-Карлтоне» ожидают, что графиня ди Грасси оплатит счет.

— Ну почему вы такой злой, Флетчер? Это не ваше дело.

— А что вы вообще тут делаете, Сильвия?

— Знаете, что сказала мне Анджела? Вы полетели в Бостон, чтобы повидаться с родными в Сиэтле. Даже у меня есть карта, Флетчер. Я тоже прнехала, чтобы повидаться с вашими родными в Снэтле.

— Сильвия, мои здешние дела ни в коей мере не касаются вас.

— Я думаю, касаются, Флетчер. Вы и Анджела, как бы это сказать, пытаетесь обвести меня вокруг пальца.

— Что?
— Вы хотите лишить меия того, что принадлежит мие по праву.
— О чем вы говорите?
— Сиачала эта трагедия с дорогим Менти. А теперь еще ваш заговор.
— Вы же скорбящая вдова и должны быть в Риме. Или в Ливорио.
— Вы и Анджела решили ограбить меня. Обмануть. Менти обезумел бы от ярости.
— Чепуха.
— Немедленно приезжайте ко мне в отель, Флетчер. Скажите мне, что это иеправда.
— Я ие могу, Сильвия. Нас разделяют многие мили.
— Сколько?
— Восемиадцать, может, двадцать, Сильвия. Бостои — большой город.
— Приезжайте утром.
— Не могу. Я занят.
— Чем это?
— Деловое свидание.
— Тогда к ленчу.
— Меия уже пригласили иа ленч.
— Флетчер, я прилетела сюда, чтобы встретиться с вами. Я позвоню в полицию. Они прислушаются к графине ди Грасси, остановившейся в «Риц-Карлтоне».
— Я в этом ие сомневаюсь, Сильвия. Менти когда-либо говорил вам, что вы сучка?
— А вы сукии сын, Флетчер.
— Не ожидал услышать такого от графини.
— Я могу выразиться и почище, иа португальском или французском.
— Я вам верю. Хорошо. Я приеду в отель.
— Когда?
— Завтра. Во второй половине дня. В шесть часов.
— Поднимайтесь в мой иомер.
— Нет. Встретимся в баре. В шесть часов.
— Если вы не появитесь, в половиие седьмого я позвоню в полицию.
— Только не пользуйтесь их контактным телефоном. Почему-то им это не нравится.
— Что?
— Заткнитесь.
Остатки еды ои спустил в унитаз.

ГЛАВА 11

— Посмотрите только, что сделал какой-то сукин сын с моим автофургоиом.

Флетч, в джиисах, свитере и сапожках, повел управляющего авторемонтной мастерской к дверям.

Теперь, зиая, что за иим следят, ои отодвинул засовы иа двери

в кухне, спустился черным ходом и по переулку довольно быстро добрался до Речной улицы. Выехал из гаража и отправился в мастерскую.

Управляющий прочитал «НАКОРМИТЕ НАРОД» и печально покачал головой.

— Подростки.

Засунув руки в карманы, он обошел машину, чтобы увидеть «ПРИСПОСАБЛИВАЙСЯ!».

Сквозь тучи проглянуло солнце.

— Еще и иа крыше,— пояснил Флетч.

Возвращаясь назад, управляющий приподнялся на цыпочки и вытянул шею, чтобы разглядеть надпись на крыше фургона.

— Придется перекрашивать полностью.

— Дерьмо,— процедил Флетч.

— Маленькие мерзавцы,— вздохнул управляющий.— Призывают кормить иарод, но плевать им на того, кому принадлежит машина.

— То есть на меня,— пояснил Флетч.

— Фургон застрахован?

— Конечио.

— Хотите проверить, возместит ли страховка расходы?

— В первую очередь мне нужна машина. В таком виде я не могу иа ней ездить.

— А чем вы занимаетесь?

— Я сантехник,— ответил Флетч.

— Понятно. Едва ли кто захочет, чтобы такая машина стояла у их дома. Вы можете потерять несколько клиентов.

— Я потеряю всех. Перекрасьте ее. Я заплачу, а потом сам разберусь со страховой компанией.

— В тот же голубой?

— А получится?

— Боюсь, что нет. Черное будет проглядывать.

— Тогда пусть весь фургои будет черным.

— Сукины дети. Даже темно-красный не поможет. И темнозеленый тоже. Хорошо бы их выпороть.

— Покрасьте черным.

— Вы хотите черный фургон?

— Конечно, иет. Если б я хотел иметь черный, я бы такой и купил.

— Он будет похож на катафалк.

— Чертов катафалк!

— Регистрационное свидетельство у вас с собой?

— А зачем оно мне?

— Должен отнести его в Бюро регистрации. Чтобы там отметили изменение окраски.

— Чтоб они сдохли!

— Что?

— Послушайте.— Флетч изобразил раздражение.— Я жертва преступления. Если бы фараоны делали то, что им положено, а ие заставляли нас заполнять бесчисленные бланки, никто и близко бы не подошел к моей машине.

— Это уж точно.

— Вот пусть они и катятся к чертовой матери. Я уведомлю их, когда найду для этого время.

— Значит, вы хотите, чтобы я перекрасил его в черный цвет?

— Я не хочу. Но другого выхода нет.

— Когда он вам нужен?

— Немедленно. Я уже опаздываю на работу.

— Сегодня уже ничего не выйдет. Завтра с утра.

— Ладно. Раз уж вы говорите, что раньше никак нельзя.

— Вы собираетесь поехать в Бюро регистрации?

— Я собираюсь на работу. А Бюро регистрации подождет, пока у меня появится свободное время.

— Ладно. Я вас понял. Мы перекрашиваем автофургон. Вы сообщаете об этом в Бюро регистрации.

— Чертовы подростки,— все еще кипел Флетч.— Извращенцы.

— Если вас остановят, не говорите, где вы перекрашивали фургон.

— Чтоб они сдохли,— подвел черту Флетч.

ГЛАВА 12

Флетч ждал, пока кабина лифта со скрипом и лязганьем поднимется на шестой этаж.

Открылась дверь квартиры 6А. Появился карликовый пудель, за ним — поводок и женщина. Хотя часы показывали лишь половину второго, чувствовалось, что женщина уже изрядно набралась. Пока Флетч держал раскрытой дверь лифта, она копалась в сумочке в поисках ключа. Пудель с интересом разглядывал Флетча. Убедившись, что ключ при ней, женщина с треском захлопнула дверь квартиры.

— Смотрите под ноги,— предупредил Флетч.

Женщина, однако, едва не упала, споткнувшись о порожек перед кабиной лифта. Флетч нажал кнопку «I». Они поплыли вниз.

— Вы поселились в квартире Барта? — спросила женщина.

— Да. Моя фамилия — Флетчер.

Как могло случиться, что женщина ничего не слышала об убийстве? Впрочем, чего требовать от алкоголички?

Флетч погладил собаку.

— А когда уехал Барт? — Любопытство женщины, похоже, не знало границ.

— В субботу. Или в воскресенье. Он поживет в моем доме в Италии.

— О! — отреагировала женщина.

Как же она будет выгуливать собаку, гадал Флетч.

— Это невозможно.

— Что? — не понял Флетч.

— Я видела Барта во вторник.

— Неужели?

— Во вторник вечером. В баре на этой улице. Называется он «Снегирь».

— В какое время?

Она пожала плечами.

— Ближе к вечеру. В шесть часов.

— Вы уверены, что это было во вторник?

— Он был в твидовом пиджаке спортивного покроя. То есть шел он не с работы. Странно, подумала я. С ним была симпатичная женщина.

— Как она выглядела?

— Симпатичная. Молодая.

Кабина лифта остановилась.

Флетч распахнул дверь.

— Вы в этом уверены?

— Я люблю Барта.— Она протиснулась мимо него.

Задумавшись, Флетч наблюдал, как нетвердой походкой женщина идет по холлу. Догнал он ее у самой двери. Взялся за ручку, чтобы открыть ее.

— Вы говорили с Бартом во вторник вечером?

— Нет. Я ненавижу этого сукина сына.

Вслед за женщиной Флетч вышел на улицу.

— У вас очаровательная собака.

— О, я ее обожаю. Миньон. Ты у нас красавчик, не так ли? Я Джоан Уинслоу. Загляните ко мне как-нибудь. Пропустим по рюмочке.

— Благодарю вас. Обязательно,— пообещал Флетч.

ГЛАВА 13

— А вот и грозная пресса.— Флетч встал, протягивая руку.

Джек Сандерс опоздал на пятнадцать минут. Флетч, собственно, и не ожидал, что его босс прибудет вовремя, поэтому предусмотрительно заказал «мартини» с водкой, который и потягивал маленькими глоточками. Через окно он видел детектива в штатском, маящегося в переулке. Солнце то появлялось, то исчезало за быстро бегущими облаками, и детектив или щурился от ярких лучей, или уходил в тень. Флетч даже подумал, а не пригласить ли беднягу к столу.

— Извини, что припозднился.— Джек Сандерс пожал протянутую руку.— Моя жена защемила ресницы дверцей холодильника.

— Репортер всегда может опоздать, потому что твердо знает — именно его появление знаменует свершение события.— Они сели.— Как обычно, джин?

Джек заказал мартини. Если Сандерс и изменился, то лишь в мелочах: очки стали толще, волосы песочного цвета — реже. Да живот больше нависал теперь над поясом.

— За прежние времена,— поднял бокал Джек.

— За конец света,— предложил Флетч свой тост.— Это будет потрясающая история.

Они поговорили о новой работе Джека, о его жизни в Бостоне, вспомнили былые деньки в «Чикаго пост». Заказали по второму бокалу.

— Да, порезвились мы вволю,— мечтательно улыбнулся Сан-

дерс.— Помнишь, как ты разделался с начальником налогового управления. В виновности его сомнений не было. Дело передали в суд. И не смогли представить доказательств его вины, потому что все доказательства были у жены, а вызвать ее свидетельницей не представлялось возможным. Показания жен не принимаются во внимание, даже если они живут отдельно.

— И газета не слишком уж издевалась над бессилием окружного прокурора. Проявляла предельную деликатность, как выразился бы Флинн.

— Ответственность журналиста, Флетч. Вот что самое главное. Когда же ты это уяснишь?

— Паршивая подготовка процесса,— возразил Флетч.— Я не сделал ничего такого, что оказалось бы не по силам любому фэбээровцу.

— А как, собственно, ты получил ту информацию?

— Не имею права говорить.

— Перестань, я уже не твой босс.

— А вдруг ты им еще станешь.

— Надеюсь на это. Слушай, мы не в Иллинойсе, этот парень в тюрьме...

— С какой стати я должен раскрывать тебе свои методы? Твои отчеты о ходе судебного процесса ничем не отличались от прочих.

— Но когда ты принес статью, я ее напечатал.

— Да, напечатал. Разумеется, напечатал. Полагаешь, я должен благодарить тебя? Ты получил премию, а потом долго говорил о коллективных усилиях.

— Я же дал тебе наградной знак. На десять или пятнадцать минут. Я помню, как передавал его из рук в руки.

— А я помню, как ты забрал его обратно.

— Тебе стыдно. Ты стыдишься того, что сделал.

— Я получил нужные материалы.

— Ты стыдишься тех средств, к которым прибегнул, чтобы получить их. Поэтому ничего не говоришь мне.

— Немного стыжусь.

— Как ты их получил?

— Насыпал сахара в топливный бак машины его жены и поехал следом. Когда двигатель заглох, остановился, чтобы помочь ей. Поднял капот, осмотрел свечи, предложил ей еще раз завести двигатель. Ничего не получилось.

— Забавно.

— Отвез ее домой. Было уже восемь вечера. Она пригласила меня на чашечку кофе.

— Ты соблазнил ее.

— Ну зачем такие слова? Наша дружба крепла с каждой минутой и перешла в любовь.

— Как она в постели?

— Надо отметить, в ласках она не искушена, довольно фригидна.

— О Боже, ты пойдешь на что угодно ради статьи.

— У нее были свои плюсы. Чуть пониже подбородка.

— Я уверен, ты сказал ей, что работаешь в газете.

— Кажется, я упомянул, что продаю кондиционеры. Понятия не имею, с чего я это ляпнул. Наверное, потому, что из каждого ее отверстия веяло холодом.

— Но ты их затыкал.— От смеха из глаз Джека покатились слезы.— Затыкал, затыкал и затыкал.

— Видишь ли, дама шантажировала своего мужа, а уж тот запускал руку в карман государства. В свидетельницы она не годилась, потому что по закону оставалась его женой. Что она, по-твоему, заслуживала?

— Но я все-таки не пойму, как ты добился желаемого результата.

— Ну, мы вместе отправились в путешествие. В Неваду. И в мгновение ока милашку развели.

— Да, я помню представленный тобой расходный счет. Хорошо помню. Начальник финансового отдела едва не снял с меня скальп живьем. Ты хочешь сказать, что «Чикаго пост» заплатила за чей-то развод?

— В общем-то да. Но зато она получила возможность выступить на суде как свидетельница обвинения.

— Умора, да и только. Если бы они знали.

— Но я же все указал в счете. Оплата юридических услуг во время путешествия.

— О Боже, мы думали, тебя замели за марихуану или что-то другое, но в том же духе. Возможно, застукали без штанов в казино.

— Вот и хорошо. Я сказал даме, что мы должны вернуться в Чикаго, чтобы пожениться. Оказалось, что я забыл захватить с собой свидетельство о рождении.

— Ты и вправду сказал, что готов жениться на ней?

— Естественно. А с чего иначе ей было разводиться? Я имею в виду при сложившихся обстоятельствах?

— Ну ты и мерзавец.

— Так говорил мне мой папаша. Короче, едва дама поняла, что разведена и вскорости должна приземлиться в международном аэропорту Чикаго, ее охватила паника. Она представила себе, что у трапа ее встретит пара молодых людей в строгих синих костюмах. И я убедил ее, что наилучший выход — отдать мне все документы, запаковать чемоданы и разъехаться в разные стороны.

— Что она и сделала?

— Что она и сделала. Все полученные материалы, включая заверенное ее подписью признание, мы, как ты помнишь, опубликовали.

— Это точно.

— Я сказал ей, что прилечу к ней в Акапулько, как только найду свидетельство о рождении.

— И что с ней стало?

— Понятия не имею. Полагаю, она до сих пор ждет меня в Акапулько.

— Ты страшный человек. Сукин ты сын. Флетчер, ты просто дерьмо. Но без тебя жизнь пресна.

— Зато статья удалась на славу. Не поесть ли нам?

Они склонились над тарелками с шатобрнаном*.
— Сегодня мы уделили тебе больше места. Дали фотографию девушки.
— Благодарю.
— Пришлось, знаешь ли. У них серьезные улики, Флетч. На орудии убийства обнаружены отпечатки твоих пальцев.
— Тебе сказали об этом в полиции?
— Да.
— Пытаются настроить против меня общественное мнение. Негодяи.
— Бедный Флетч. Как будто ты сам ни разу не пользовался этим приемом. Что нам ждать дальше?
— Они рассчитывают на мое признание. Вот этого им не дождаться.
— Раз Флинн не арестовал тебя, значит, у него есть на то причины.
— Если ты посмотришь в окно справа от себя, то увидишь моего телохранителя.
— А ты не преувеличиваешь?
— Мне кажется, я уже понял, что к чему. Все было подстроено так, чтобы вина пала на первого человека, вошедшего в квартиру. Совершенно случайно им оказался я.
— И кто это сделал?
— Подозреваемых у меня двое. Но поставим на этом точку.
— Ты и раньше предпочитал не раскрывать карты до самой публикации.
— Журналистика — тонкое дело, Джек. Очень тонкое. При подготовке любой статьи ни на секунду нельзя терять бдительности. Возможны самые неожиданные повороты. Между прочим, нельзя ли мне воспользоваться вашей библиотекой? Меня интересуют некоторые жители Бостона.
— Конечно, можно. Кто именно?
— Во-первых, Барт Коннорс. Я живу в его квартире.
— Почти ничего о нем не знаю. Работает в одной из юридических контор на Стэйт-стрит. Кажется, занимается налогообложением.
— Ты не будешь возражать, если я загляну во второй половине дня, когда ты будешь на месте?
— Нет вопросов. По понедельникам и вторникам меня не бывает. Но ты, полагаю, захочешь зайти раньше.
— Да. Одному Богу известно, где я буду в следующий понедельник.
— Я наведывался в тюрьму Норфолка. Неплохое местечко для тюрьмы. Очень чисто. Хороший магазин. Правда, переизбыток заключенных.
— Вот почему Флинн не арестовывает меня.
— Мне думается, в редакции тебе не стоит называться настоящей фамилией. Издателю может не понравиться, если подозреваемый в убийстве будет пользоваться нашим архивом.

* Жареное мясо *(французское блюдо).*

— Ладно. Какую мне взять фамилию?
— Смит?
— Годится.
— Джонс? Нет, лучше Браун.
— Мне нравится.
— У меня не столь богатое воображение, как у тебя, Флетч.
— Как насчет Жаспера ди Пью Мандевилля Четвертого?
— Не слишком ли вычурно?
— Тогда просто — Локе.
— Джон?
— Ральф.
— Ральф!
— Кто-то ведь должен носить такое имя.
Кофе они пили без сливок и сахара.
— Я все не решался спросить тебя, что ты теперь делаешь.
— Я снова пишу об искусстве.
— О, да. Ты этим занимался в Сиэтле. Оно и спокойнее по сравнению с журналистским расследованием.
— Здесь есть свои плюсы.
— А как ты можешь себе такое позволить? Ты ведь не состоишь в штате и не получаешь жалованья.
— Дядя оставил мне наследство.
— Я понял. И. М. Флетчер все-таки кого-то ограбил. Всегда знал, что этим все и кончится.
— Рейтер или ЮПИ сообщили о ди Грасси?
— Ди Грасси?

— Из Италии. Граф Клементи ди Грасси.
— О, да. Странная история. Кажется, мы не стали давать этот материал. Что там особенного? Его похитили, а потом, когда выкуп не внесли, убили. Так?
— Так. Я собираюсь жениться на его дочери, Анджеле.
— О! А почему они не заплатили выкуп?
— У них не было таких денег.
— Какая трагедия!
— Осталась молодая жена, нынешняя графиня ди Грасси, ей около сорока, и Анджела, двадцати с небольшим лет от роду. У них не было ни гроша. Похитители запросили четыре миллиона.
— А почему его похитили?
— Кто-то ошибся, оценивая состояние семьи ди Грасси. Все, что у них осталось,— титул, полуразвалившийся дворец в Ливорно и маленькая квартирка в престижном районе Рима.
— Какая ужасная история! Может, нам дать пару строк?
— Едва ли,— покачал головой Флетч.— Произошла она у черта на куличках. К Бостону не имеет никакого отношения. Нет смысла рекламировать преступность.
Джек Сандерс расплатился по счету.
— Как приятно снова есть за счет газеты! — Флетч встал.— Пожалуй, придется пожалеть этого копа, что торчит на улице. У бедняги, похоже, плоскостопие. Ради него я поеду домой на такси. А мог бы пойти пешком.
— Поздравляю,— улыбнулся Джек.— Со скорой свадьбой.

— На этот раз брак будет счастливым,— заверил его Флетч.

ГЛАВА 14

В Канья часы показывали половину десятого вечера.

Флетч слонялся по квартире без пиджака и галстука. Любовался картинами.

В его распоряжении имелись показания ненадежной свидетельницы, Джоан Уинслоу из квартиры 6А. Из ее слов следовало, что Барт Коннорс находился в Бостоне в вечер совершения убийства. Во вторник. Более того, Флинн сказал, что ни одна из авиакомпаний не продавала билет Коннорсу между субботой, когда его в последний раз видела миссис Сэйер, и вторником. Однако вчера, в среду, Энди встретилась с ним в Канья.

Следует ли ему сообщить Флинну сведения, полученные от женщины из квартиры 6А?

Флетчу не раз приходилось иметь дело с полицией. Где-то они были союзниками, где-то — противниками, иной раз приходилось идти в обход. Флинн, похоже, парень неплохой, но борьба-то шла за собственную свободу. И излишняя доверчивость могла выйти боком.

Так что не оставалось ничего другого, как жарить куропатку, высохли у нее перышки или нет.

Флетч вновь взглянул на часы и позвонил на свою виллу в Канья.

— Алло?

— Энди?

— Флетч!

— Что ты делаешь в Канья?

— Ты же сам просил меня приехать.

— Это было вчера.

— Почему ты звонишь, Флетч?

— Ты ночевала на вилле?

— У меня забарахлила машина.

— «Порше»?

— Барт сказал, что-то с диафрагмой.

— Барт сказал! Это вторая ночь, Энди!

— Да. Машину починят утром.

— Энди!

— Подожди, я приглушу проигрыватель, Флетч. А то плохо слышно.

Несколько секунд спустя в трубке вновь раздался ее голос.

— Вот и я, дорогой.

— Энди, что ты делаешь в моем доме с Бартом Коннорсом?

— Это не твое дело, Флетч. Мы, конечно, собираемся пожениться, но это не означает, что ты имеешь право контролировать каждый мой шаг.

— Слушай, Барт Коннорс на вилле?

Энди замялась.

— Да.

— Тогда выметайся из дому. Проведи ночь в отеле или где-нибудь еще.

— Но почему, дорогой?

— Потому что есть свидетельства того, что твой хозяин очень вспыльчив и крут.

— Вспыльчив? Чепуха. Он просто котенок.

— Ты сделаешь то, о чем я тебя прошу?

— Думаю, что нет. Мы только что сели обедать.

— Энди, тебе бы приехать сюда. В Бостон.

— Я должна вернуться в Рим. Посмотреть, чем занята великая графиня.

— Графиня здесь.

— Где?

— В Бостоне. Сильвия здесь.

— Сука.

— Почему бы тебе не вылететь из Генуи?

— Все это очень странно, Флетч. Может, ты что-то выдумываешь? Из ревности. Я же не ревную к тем людям, с которыми ты проводишь время.

— Энди, ты, похоже, меня не слушаешь.

— Не слушаю и не собираюсь слушать. Я вообще не понимаю, почему ты позвонил сюда. Ты должен искать меня в Риме.

— Я позвонил, чтобы поговорить с Бартом Коннорсом.

— Вот и говори с ним.

— Энди, после того как я поговорю с Коннорсом, пожалуйста, еще раз возьми трубку.

— Сейчас я его позову,— ответила Энди.

Пауза затянулась.

— Алло? Мистер Флетчер?

— Мистер Коннорс? На вилле все в порядке?

— Вчера заехала ваша подружка. Она потеряла ожерелье. Мы перерыли всю виллу.

— Что сломалось в машине?

— Какой машине?

— «Порше».

— Дорога из Рима длинная. Не так ли?

— Когда вы прибыли в Канья?

— Вчера.

— В среду?

— Совершенно верно.

— Я думал, вы улетели в воскресенье.

— Мои планы изменились. Человек, с которым я собирался лететь, не смог этого сделать.

— И вы ее ждали?

— Да, но убедить не удалось.

— Вы летели через Нью-Йорк?

— Монреаль.

— Почему Монреаль? Или так удобнее?

— У меня была там деловая встреча. Я рад, что вы позвонили, мистер Флетчер, но такая болтовня стоит довольно дорого. Я надеюсь, вы звоните наложенным платежом. С оплатой по вашему номеру.

— И Рут сказала, что не поедет с вами?

— Кто?
— Рут. Она сказала, что не полетит в Канья?
— Какая Рут?
— Девушка, которую вы собирались взять с собой в Канья.
— Я не понимаю вас, мистер Флетчер.
— Мистер Коннорс, мне кажется, вам следует подумать о возвращении в Бостон.
— Что?
— В вашей квартире убили молодую женщину. Во вторник вечером. Тело обнаружил я.
— О чем вы говорите?
— Ее звали Рут Фрайер.
— Не знаю я никакой Рут Прайор.
— Фрайер. Ее ударили по голове бутылкой виски.
— Или я сошел с ума, или просто не могу понять, о чем речь.
— Во вторник вечером в вашей квартире убили девушку, которую звали Рут Фрайер.
— Это ваша работа?
— Мистер Коннорс, по всему выходит, что подозрение падает на вас.
— Как бы не так. Я в Италии.
— Но вы были в Бостоне, когда убили девушку.
— Я не имею к этому никакого отношения и не желаю, чтобы меня впутывали в это дело. Никто не мог войти в квартиру. Ключ был только у вас.
— И у миссис Сэйер.
— И у миссис Сэйер. Мой ключ при мне. Это что, шутка?
— Вас видели в Бостоне во вторник вечером, мистер Коннорс.
— В понедельник я переночевал в отеле «Паркер Хауз», потому что с воскресенья квартира считалась вашей. Знаете, Флетчер, я никак не возьму в толк, зачем вы мне все это говорите. Из квартиры ничего не украли?
— Нет.
— Я тут ни при чем. Я не знаю никакой Рут Фрайер. И какого черта вы допрашиваете меня, а?
— Меня тоже подозревают в убийстве.
— Тогда не стоит перекладывать вину на меня, дружище. Сожалею, что кто-то умер, сожалею, что это произошло в моей квартире, но не более того. Мое дело — сторона.
— Вы котенок.
— Что?
— Вас не затруднит передать трубку Энди?
— Если я вернусь, меня не оставят в покое. Газеты вцепятся в меня мертвой хваткой. Я адвокат, Флетчер. В Бостоне подобная реклама приводит лишь к оттоку клиентов. Мне это совершенно не нужно. О, Господи, так вы кого-то убили в моей квартире?
— Нет, я не убивал.
— Полиция уже кого-то допрашивала?
— Меня.
— Только вас?
— Да.

— Флетчер, почему бы вам не съехать с моей квартиры?

— Это не входит в мои планы.

— Я позвоню в свою фирму. Кто-то же должен защищать мои интересы.

— Я думал, происшедшее нисколько вас не заинтересовало.

— О, Господи. Вы испортили нам обед. Найдется ли у вас бутылка джина?

— Да, на нижней полке у левой стены кладовой. Джин, правда, швейцарский.

— Какая ужасная трагедия! Постараюсь держаться от нее подальше.

— Ваше право. Передайте трубку Энди.

Ему ответило тяжелое дыхание. Затем послышались гудки отбоя.

Флетч положил трубку. Вечер, решил он, пройдет на вилле совсем не так, как задумывал Коннорс.

— «Пан-Америкэн Эйруэйс». Говорит мисс Флетчер.

— Что?

— «Пан-Америкэн Эйруэйс». Говорит мисс Флетчер.

— Ваша фамилия Флетчер?

— Да, сэр.

— Это Ральф Локе.

— Слушаю вас, мистер Локе.

— Мисс Флетчер, я бы хотел вылететь из Монреаля в Геную, это в Италии, во вторник вечером. Такое возможно?

— Одну секунду, сэр, сейчас посмотрю,— если ей потребовалась не одна секунда, то максимум три.— «Транс Уорлд Эйрлайнс», рейс 805, вылет из Монреаля в одиннадцать вечера во вторник. С посадкой в Париже.

— А как вас зовут?

— Линда *, сэр.

— Линда Флетчер? Не были ли вы замужем за Ирвином Морисом Флетчером?

— Нет, сэр.

— Действительно, голос незнакомый. Сколько нужно времени, чтобы долететь из Бостона в Монреаль?

— Примерно сорок минут, если брать полетное время. Если вы берете восьмичасовой рейс компании «Истерн», то успеете отдохнуть перед трансатлантическим перелетом.

— Нельзя ли улететь попозже?

— Рейс компании «Дельта» в половине десятого.

Перед каждым ее ответом следовала короткая пауза: мисс Флетчер нажимала кнопки на консоли компьютера, вызывая на экран требуемую информацию.

— Вы позволите заказать вам билеты, мистер Локе?

— Может, позднее. Я перезвоню вам. Откуда вы родом, мисс Флетчер?

— Колумбус, штат Огайо, сэр.

— Огайо — это прекрасно. Никогда там не был.

* Так звали вторую жену И. М. Флетчера.

Флетчер побрился, принял душ, надел чистую рубашку. Время приближалось к шести.

В половине седьмого графиня обещала позвонить в полицию, если не увидит его в баре «Рица».

Но полиция сама позвонила ему.

Не успев завязать галстук, он снял трубку с телефонного аппарата в спальне.

— Как прошел день, мистер Флетчер?

— А, Флинн. Я хотел поговорить с вами.

— Часом, не решили сознаться в совершении преступления?

— Нет, об этом я как-то не думал.

— Надеюсь, у вас не сложилось впечатление, что я забыл о вас? Видите ли, сегодня утром в ванне убили члена Городского совета, женщину. Дело это имеет политическую окраску, поэтому его поручили мне. Я-то никогда не принимаю ванны по утрам, но политикам, наверное, просто необходимо отмываться по нескольку раз на день.

— Чем ее убили?

— Вас интересует орудие убийства? Пешней для льда, мистер Флетчер.

— Это же море крови.

— Да, конечно. Тем более что первый удар пришелся по шее. Для политического убийства это уж перебор, не так ли?

— Мне бы не понравилась ваша работа, Флинн.

— У нее свои минусы.

— Инспектор, я хотел бы сообщить вам некоторые сведения, представляющие определенный интерес.

— Какие же?

— Женщина из соседней квартиры, 6А, зовут ее Джоан Уинслоу, говорит, что видела Барта Коннорса в Бостоне во вторник около шести часов вечера. Он сидел в «Снегире», это бар на Бикон-стрит, с симпатичной девушкой.

— Действительно очень интересно. Мы с ней поговорим.

— Подозреваю, свидетелем на судебное разбирательство ее не пригласить. Но я говорил с Бартом Коннорсом. Он сейчас в Италии.

— Неужели? И, наверное, после вашего разговора останется там?

— Похоже, что так. Возвращаться он отказывается.

— Неудивительно. Впрочем, его отказ меня не волнует. С Италией у нас заключено соглашение о выдаче преступников. Разумеется, он может найти одну-две страны с таким же климатом, с которыми Соединенные Штаты не имеют аналогичного договора.

— Он сказал, что улетел в Геную из Монреаля во вторник вечером.

— Нам это известно. Рейс 770 компании «Дельта» Бостон—Монреаль, вылет в половине десятого. Затем одиннадцатичасовой рейс 805 «Транс Уорлд Эйрлайнс» в Париж.

— Ему хватало времени на убийство.

— Вполне.

— Но самое главное, он сказал, почему задержался с отъездом. Пытался уговорить одну девушку поехать вместе с ним.

— Но Рут Фрайер вернулась в Бостон в понедельник вечером.

— Он мог дожидаться ее.

— Мог.

— Выпил с ней в баре, привел в квартиру, не теряя надежды все-таки уговорить ее, вышел из себя, ударил.

— Ваши рассуждения не противоречат здравому смыслу.

— Могу предположить, что в последнее время он находился в состоянии эмоционального стресса.

— А вот это уже из области догадок. Отношения семейных пар не подвластны обычной логике. Даже после развода.

— Тем не менее...

— По меньшей мере вы уже более серьезно подошли к собственной защите. Становится понятен ход ваших мыслей. Вы осознали, и я с удовлетворением это отмечаю, что Рут Фрайер ударили по голове бутылкой. То есть отказались от предположения, что стукнула она себя сама, а перед тем как упасть, осторожно поставила бутылку на поднос.

— Вы поговорите с Уинслоу?

— Поговорим. А пока мы получили результаты вскрытия Фрайер. Смерть наступила между восемью и девятью часами вечера, во вторник.

— До аэропорта ехать десять минут. Коннорс улетел в половине десятого.

— Десять минут. Когда бостонской полиции удается ликвидировать пробки. В предыдущие три или четыре часа она выпила три коктейля.

— В «Сенгире».

— Последнее определить невозможно. Несмотря на то, что умерла она голышом, в последние двадцать четыре часа она не вступала в половые отношения с мужчиной.

— Разумеется, нет. Она отказала ему.

— Мистер Флетчер, может ли мужчина в возрасте Барта Коннорса и с его жизненным опытом убивать девушку только потому, что она не пожелала удовлетворить его плотские желания?

— Конечно. Если, как вы сами говорили, прилично выпьет.

— Даже тогда ему нужно преодолеть психологический барьер, чтобы убить юную особу, ответившую ему отказом.

— Откуда нам знать, что он его не преодолел?

— Должен согласиться с вами, мистер Флетчер, некоторые улики указывают на вину владельца квартиры, в которой вы сейчас живете. Но нет основания делать однозначный вывод, что убийца — мистер Коннорс.

— У меня есть одно преимущество, Флинн. Я знаю, что не убивал. И пытаюсь выяснить, кто это сделал.

— Однако собранные против вас улики куда весомее. Рут Фрайер встречала в Бостоне пассажиров первого класса, прибывших во вторник из Рима рейсом 529 компании «Транс Уорлд Эйрлайнс». Несколько часов спустя ее нашли убитой в вашей

квартире. На орудии убийства обнаружены отпечатки ваших пальцев.

— Ладно, Флинн. Что мне на это сказать?

— Вы можете сознаться в совершении преступления, мистер Флетчер, и дать мне возможность уделить все внимание расследованию убийства члена Городского совета. Так вы сознаетесь?

— Разумеется, нет.

— И по-прежнему полагаете смерть Рут Фрайер случайной и не имеющей к вам никакого отношения? В этом ваша позиция не изменилась?

— Нет.

— Гроувер настаивает, что мы должны вас арестовать и предъявить обвинеине в убийстве, прежде чем вы причините вред кому-нибудь еще.

— Но вы не собираетесь этого делать?

— Надо отметить, доводы Гроувера небезосновательны.

— А вы не искали девушку, которая подсказала мне, как добраться до дому во вторник вечером? На площади с рекламным щитом «Ситко».

— Разумеется, нет. Даже не пытались. Мы можем опросить всю женскую половину населения Бостона, но ие найти тех девушек, что бывают иа Кенмор-сквэа по вечерам. Там ночные клубы, знаете ли.

— О!

— Дела у вас неважнецкие, мистер Флетчер. Улики против вас налицо. Сомневаюсь, что мы сможем к ним что-нибудь добавить.

— Надеюсь, что нет.

— Коиечно, не слишком вежливо с моей стороны предлагать вам сознаться по телефону, но на мне виснт другое убийство.

— Почему бы вам не перестать подкармливать прессу компрометирующей меня информацией? Она приговорит меня без суда.

— А, вы об этом. Пресса давит на меня так же, как и на вас.

— Не совсем, инспектор. Не совсем.

— Ну хорошо. Я подумаю, что можно сделать. Даю вам передышку. Постарайтесь нспользовать ее с максимальной выгодой для себя. Наймите адвоката. Внутренний голос подсказывает мне никогда не следовать совету Гроувера. Может, вам следует обратиться к психоаналитику?

— К психоаналитику?

— Ваша твердая убежденность в собственной невииовности ставит меня в тупик. Вы думаете, что не убивали Рут Фрайер. Улики утверждают обратное.

— По-вашему, у меня провалы в памяти?

— Такое случалось. Человеческий мозг способен на удивительные выходки. Или я поступаю неверно, предлагая направление действий вашего адвоката?

— Предложение дельное.

— Суть в том, мистер Флетчер, что к уликам надо относиться серьезно. Даже вам. Вы можете начать с того, что поверите в улики. Видите ли, мы просто обязаны верить уликам.

— Которых предостаточно.

— Сожалею, что требую от вас признания по телефону, но идет расследование другого убийства.

— Я понимаю.

— Полагаю, мы сможем все устроить так, чтобы заключение психоаналитика...

— Я считаю преждевременным обращаться к нему, Флинн.

— Но вы согласны, что такая версия имеет право на существование?

— Да. Разумеется.

— Молодец.

— Но такого не было.

— Я не сомневаюсь, что вы так думаете.

— Я в этом уверен.

— Конечно, конечно. Ничего другого я пока предложить не могу. Пора возвращаться к члену Городского совета.

— Инспектор?

— Да?

— Я отправляюсь в «Риц-Карлтон».

— И что?

— Всего лишь предупреждаю вас. Напомните вашим людям, чтобы на этот раз они пристально следили за боковым выходом.

— Они проследят, мистер Флетчер. Обязательно проследят.

ГЛАВА 15

«Восемнадцать — двадцать миль» до «Риц-Карлтона», находящегося в нескольких кварталах от его дома, Флетч прошел пешком.

Послонялся по вестибюлю, разглядывая книги в киоске, пока стрелки часов не показали шесть тридцать пять. Затем направился к бару.

Графиня Сильвия ди Грасси не могла пожаловаться на невнимание официантов. Она уже допила бокал, но один из официантов протирал и так чистый столик, второй предлагал ей тарелочку с оливками, третий просто не мог оторвать от нее глаз.

Впрочем, у Сильвии было на что посмотреть. Взбитые осветленные волосы, правильные черты лица, великолепная кожа, самое глубокое в Бостоне декольте. Платье предназначалось не для того, чтобы закрыть грудь, а чтобы поддержать ее. В итоге грудь как бы шла впереди Сильвии.

— А, Сильвия. Как долетели? — Флетч чмокнул ее в щечку.— Извините, что опоздал.— Все трое официантов захотели отодвинуть ему стул.— Миссис Сэйер защемила ресницы дверцей холодильника.

— О чем вы? Какая миссис Сэйер? Какие ресницы?

Большие карие глаза Сильвии переполняла подозрительность.

— Как иначе я могу объяснить свое опоздание?

— Знаете, Флетч, мне сейчас не до ваших шуток. Нечего пользоваться тем, что я плохо понимаю английский. Мне нужна правда.

— Естественно. Что вы пьете?

— Кампари с содовой.

— Все еще бережете фигуру? Правильно, все так делают.— Он посмотрел на официантов.— Кампарн с содовой и «Барт Тауэл». Вы не хотите «Барт Тауэл», Сильвия? Отличный коктейль. Внски н вода. Так вы говорите, Сильвия, что намерены сказать мне правду. Почему вы в Бостоне?

— Я прилетела в Бостон, чтобы остановить вас. Вас и Анджелу. Я знаю, вы строите против меня козни. Хотите украсть у меня мои картины.

— Какая ерунда! Откуда у вас такие мысли?

— В комнате Анджелы я нашла ваши записи. Адрес: Бикон-стрит, дом 152. Телефон. Список картин.

— Ясно. И заключили нз этого, что я отправился в Бостон за картинами?

— А зачем же еще?

— И последовали за мной?

— Я вылетела раньше вас. Из Рима в Нью-Йорк, затем в Бостон. Я хотела опередить вас. Хотела, чтобы вы увидели меня в аэропорту.

— Забавно. Что вам помешало?

— Не смогла вылететь вовремя из Нью-Йорка.

— То есть вы были в Бостоне во вторник?

— Да. Мой самолет приземлился в Бостоне в пять часов.

— О-го-го. А я-то думал, что в Бостоне у меня нет ни одной знакомой души. И чем вы потом занимались?

— Прнехала в отель. Позвонила вам. К телефону никто не подошел.

— Я обедал вне дома.

— Позвонила иа следующий день, попросила оставить вам записку. Вы мне так и не перезвонили.

— Ладно, значит, вы убили Рут Фрайер.

— О чем вы говорнте? Я никого не убивала.

Сильвия подалась назад, грудь — следом за ней, освобождая место официанту, поставившему перед ней полный бокал.

— Какое еще убийство?

Флетч ие притронулся к стоящему перед ним бокалу.

— Сильвия, картин у меня нет. Я никогда их ие видел. Не знаю, где они сейчас. Я даже не увереи, все ли понял в той истории с картинами.

— Тогда почему вы в Бостоне со списком картин? Объясните мне.

— Я приехал в Бостон, потому что пишу книгу о творчестве американского художника Эдгара Артура Тарпа-младшего. Список мифических картин ди Грасси я привез на случай, если мне встретится упоминание о какой-либо из них. Бостон — большой культурный центр.

— Знаете, как говорят американцы? Дерьмо собачье, Флетч. Вы обручены с моей дочерью, Анджелой, намерены на ней жениться. А на следующий день после похорон ее отца садитесь в самолет со списком картин в кармане и летите в Соединенные Штаты, в Бостон. Какие еще мысли должны прийти мне в голову?

— С приемной дочерью. Анджела — ваша приемная дочь.

— Знаю. Я ее ие рожала. Она собирается ограбить меня.

— Завещание Менти оглашено?

— Нет. Вонючие адвокаты вцепились в него мертвой хваткой. Много неясностей, говорят они. Полиция закрыла дело. Разрешила мне надеть траур. У адвокатов все наоборот. Траур, мол, носите, но завещание пусть полежит. Да еще вы с Анджелой грабите, грабите, грабите меня.

— Анджела говорила о картинах. Менти говорил о картинах. Вы говорите о картинах. Я же их в глаза не видел. Даже не уверен в их существовании.

— Они существуют! Я их видела! Теперь, после смерти Менти, это мои картины. Бедняжка Менти. После его кончины это все, что у меня есть. Он оставил их мне.

— Вы этого не знаете. Завещание не оглашено. Это картины семейства ди Грасси. Он мог оставить их дочери. Она же — ди Грасси. Он мог оставить их вам обеим. Вам известно, как трактует подобные ситуации итальянское закоиодательство? Возможно, в завещании нет упоминания о картинах. Он мог оставить их музею в Ливорно или в Риме.

— Чепуха! Менти никогда бы не пошел на такое! Менти любил меня. Он очень сожалел, что картин у нас больше иет. Он знал, как я любила эти картины.

— Разумеется, любили. Но почему вы решили, что картины в Бостоне?

— Потому что вы здесь. Улететь через день после похорон! Вы

и Анджела — заодно. Анджела хочет захапать эти картины. Мечтает ограбить меня!

— Ладно, Сильвия. Я сдаюсь. Расскажите мне о картинах.

— Это коллекция ди Грасси. Девятнадцать картин. Некоторые Менти получил от родителей, другие купил сам. До второй мировой войны.

— А я подозревал, во время и после второй мировой войны.

— До, во время н после.

— Во время войны ои был офицером итальянской армии?

— Менти не воевал. Ди Грасси переоборудовал свой дворец в госпиталь.

— Дворец? Большой старый дом.

— Они лечили итальянских солдат, мирных жителей, немецких солдат, американских, английских... всех подряд. Менти говорил мне. Он потратил все свое состояние. Нанимал докторов, медицинских сестер.

— И прнобретал кое-какие картины.

— Картины у него были. Он их не продавал. Даже после войны. Родилась Анджела. Он продал свои земли, участок за участком, ио сохранил все картины. Вы знаете какие. Список у вас.

— Да. И иасколько мне удалось выяснить, о них иет никаких сведений. Нигде. Никто ие знает об их существовании.

— Потому что они составляли частную коллекцию. Коллекцию ди Грасси. Вот видите! Вы их ищете!

— Я иаводил справки,— признал Флетч.



— Сукин сын! Вы их ищете. И лгали мне!

— Энди дала мне список. Я пообещал что-либо узнать. И спросил одного торговца об одной картине. Пожалуйста, не называйте меня сукиным сыном. Я очень обидчивый.

— Я не позволю вам и Анджеле украсть мои картины!

— С этим мне все ясно. Вы обвиняете меня в воровстве. Вернемся к картинам. Когда их украли?

— Два года назад. Ночью. Все сразу.

— Из дома в Ливорно?

— Да.

— Разве там не было слуг?

— А какой от них прок? Старые, сонные. Глухие и слепые. Риа и Пеп. Менти очень любил их. Последние слуги семейства ди Грасси. Я предупреждала его. Не следовало оставлять целое состояние на попечение дряхлых идиотов.

— Они ничего не видели и ничего не слышали?

— Прежде всего они даже не поняли, что картины украдены, пока мы не вернулись в дом и не спросили: «А где картины?» Они привыкли к ним. Сжились с ними. И не заметили их отсутствия. Как оказалось, после нашего отъезда они не заходили в гостиные.

— И картины не были застрахованы?

— Нет. Эти глупые итальянские графы не страхуют вещи, которые всегда принадлежали им.

— Значит, Менти был старым глупым итальянским графом?

— Во всем, что касалось страховки, он ничем не отличался от других.

— Наверное, он не мог позволить себе ежегодные выплаты.

— Он не мог позволить себе эти выплаты. А потом в один день потерял все. Полиция не проявила особого интереса. Подумаешь, украли какие-то картины. И ни одна большая страховая компания не собиралась заставить их разыскивать картины и людей, совершивших кражу.

— Вас не было в Ливорно, когда воры забрались в дом?

— Это произошло во время нашего медового месяца. Мы с Менти уезжали в Австрию.

— Недалеко,— Флетч положил в рот одну из оливок.— Так где картины, Сильвия?

— Что означает ваше «Где картины, Сильвия?»?

— Я думаю, вы их и украли. Не потому ли вы не хотите, чтобы я их нашел? Не потому ли вы здесь?

— Украла их сама?!

— Конечно. В тридцать с небольшим лет вы вышли замуж за шестидесятилетнего итальянского графа, с дворцом в Ливорно и квартирой в Риме. Вы его третья жена. Он ваш второй муж. Первым был бразилец, не так ли?

— Француз.— В голосе уже чувствовались отзвуки грозы. Впрочем, хватало и изумления.

— То есть вы имели международные связи. Вы становитесь женой старика. Уезжаете на медовый месяц. Узнаете, что он разорен. О, немного денег у него есть. Но не состояние, на которое вы рассчитывали. Вы понимаете, что все его богат-

ство — это картины. Он на тридцать лет старше вас. Вы опасаетесь, что он может оставить картины дочери или музею. В конце концов вы же сказали ему, что вышли за него по любви, не так ли? Поэтому вы позаботились о том, чтобы картины украли. А потом схоронили в каком-то укромном месте. Не вы ли подготовили похищение и убийство Менти? А теперь испугались того, что я могу вас разоблачить.

Лицо Сильвии исказилось.

— Я вас ненавижу.

— Потому что я прав.

— Я любила Менти. И никогда не причинила бы ему вреда. Картин я не крала.

— Но вы тоже покинули Рим через день после похорон.

— Чтобы поспеть за вами.

— Если будущий зять усопшего спешно уезжает, это одно. А вот скорбящая вдова — совсем иное.

— Если я кого-то убью, так только вас.

— Очень кстати вы вспомнили об убийствах, Сильвия. Вы приходили ко мне во вторник вечером? Вам открывала дверь обнаженная девушка, сказавшая, что ждет Барта Коннорса? А когда она не смогла ответить на ваши вопросы, вы, разъярившись, ударили ее бутылкой виски по голове?

— Вы тоже не отвечаете на мои вопросы.

— Неужели?

— Вы же сказали, что ваша квартира в двадцати милях отсюда.

— Она совсем рядом, буквально за углом, Сильвия. И вы это знаете.

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Сначала вы утверждаете, что я убила Менти. Затем — какую-то девушку. У вас что-то с головой?

— Сегодня я уже допускал, что такое возможно.

— С кем вы говорили насчет картин?

— Пусть это останется моим маленьким секретом.

Флетч встал и задвинул стул под столик.

— Благодарю за коктейль, Сильвия.

— Вы не собираетесь расплатиться?

— Меня приглашали вы. Тут совсем другой мир, бэби. Платить придется вам.

ГЛАВА 16

— По-моему, отличная работа,— одобрительно кивнул Флетч.— Надписи как не бывало.

— Работа неплохая, если вам нравятся катафалки,— согласился управляющий.— Не отразится ли черный цвет на ваших заработках?

— Не знаю. Возможно, клиентам он понравится.

— А соседи могут подумать, что вы возите покойников.

С утра в пятницу небо затянули облака.

— Вы побывали в Бюро регистрации? — спросил управляющий.

— Я привез вам деньги,— ответил Флетч.
— Сейчас принесу счет.
Флетч расплатился наличными и получил ключи от черного фургона.
— Ладно, парень,— пробурчал управляющий,— если тебя остановят и выяснится, что цвет не соответствует указанному в регистрационном удостоверении, не говори, где тебе перекрашивали машину.
— В Бюро регистрации я заеду завтра,— пообещал Флетч.— В субботу.
Он уже садился за руль, когда управляющий остановил его.
— Вы не сможете уделить мне пару минут?
— А что такое?
— Течет труба. В мужском туалете.
— Извините,— покачал головой Флетч,— но я очень спешу.

ГЛАВА 17

— Если вам не трудно, скажите мистеру Сандерсу, что к нему пришел Ральф Локе.
Женщина, сидевшая за столиком регистрации, улыбнулась ему. Печальной улыбкой вдовы. Флетч предположил, что ее мужем был журналист, возможно один из тех, чьи фамилии значились на мраморной доске в вестибюле редакции, в длинном списке, берущем начало в 1898 году.
 — Сейчас спустится курьер и отведет вас к нему,— ответила женщина.
...Во второй половине дня Флетч вышел из подъезда дома 152 на Бикон-стрит и направился к своему «форду», припаркованному у тротуара.
На лобовом стекле, под одной из щеток белели шесть штрафных квитанций за стоянку в неположенном месте.
На глазах у двух детективов в штатском, сидящих в машине на другой стороне улицы, Флетч разорвал квитанции и бросил обрывки на асфальт.
Его не арестовали за пренебрежение к закону или за нарушение правил поведения в общественном месте.
Следом за ним они доехали до здания редакции «Бостон дейли стар». В старом районе, с узкими улочками, забитыми грузовичками, развозящими газеты по городу. В череде машин Флетч нашел два просвета для парковки. В один поставил «форд», на другой указал детективам. Курьер провел его в большой пропахший табачным дымом зал отдела городских новостей.
Джек Сандерс поднялся навстречу Флетчу. Мужчины обменялись рукопожатием. Сандерс повернулся к молодому журналисту, работающему за соседним столиком.
— Рэнди, это Ральф Локе из «Чикаго пост», он подбирает материалы для статьи.
— Мне знакомо ваше имя, мистер Локе,— улыбнулся юноша.
— Я рад,— скромно потупился Флетч.
Сандерс рассмеялся.
— Помоги ему разобраться, что к чему, Рэнди.

Флетч помнил все буквы алфавита. Мог отличить правое от левого. И довольно скоро избавился от юного лицемера.

Прежде всего он взялся за местный справочник «Кто есть кто». На странице 208 прочел:

«Коннорс, Бартоломео, родился в Кэмбридже, Массачусетс, 7 фев. 1936 г.; сын Ральфа и Лилиан (Дэй). Окончил Дармэт, 1958, юридический факультет Гарварда, 1961. Женился на Люси Орил Хислоп 6 июня 1963 г. С 1962 г. сотрудник «Таллин, О'Брайен и Корбетт», с 1972 г.— компаньон. Член «Гарвард-клаб» Бостона. «Гарвард-клаб» Нью-Йорка, «Бойлстон-клаб». Член совета попечителей Музея современного искусства, член совета директоров больницы Чайлдов, Сонтрол системс, Инк., Медикэл Имплимент, Инк. Адрес: Бостон, Бикон-стрит, 1952. Место работы: Бостон, Стэйт-стрит, 32».

Внимательно прочитал Флетч и страницу 506:

«Хорэн, Рональд Райсон, преподаватель, писатель, торговец произведениями искусства; родился в Бурлингтоне, штат Вермонт, 10 апр. 1919 г.; сын Чарльза и Беатрис (Лэмсон); в 1940 г. окончил Йельский университет, диплом бакалавра искусств. 1940—1945 — служба в ВМС США (звание коммандер). 1947 г.— диплом магистра искусств, Кэмбридж; 1949 г.— докторская степень, Гарвард. 12 окт. 1948 г. женился на Грэйс Галкис (умерла в 1953 г.). Преподаватель Гарварда — 1948 г.; ассистент профессора — 1954; редактор периодических изданий «Обджектс» 1961—1965 гг., «Международные стандарты искусства» — 1955; автор книг «Темы и образы», Септембер Пресс, 1952 г., «Методика установления подлинности предметов искусства», Септембер Пресс, 1959 г. Директор галереи Хорэна — 1953; член общества св. Павла, «Боусели-клаб», советник музея Каркоса. Адрес: Бостон, Ньюбюри-стрит, 60. Место работы: галерея Хорэна. Бостон. Ньюбюри-стрит, 60».

Для инспектора Фрэнсиса Ксавьера Флинна места в справочнике «Кто есть кто» не нашлось.

Вырезок по Коннорсу и Хорэну в картотеке газеты, можно считать, не было.

О Барте Коннорсе газета писала лишь единожды. Он представлял прессе и общественности налоговые декларации тогдашнего претендента на пост губернатора штата, своего клиента и сокурсника по Гарварду. Кстати, потерпевшего поражение на выборах. Коннорс характеризовался как «старший компаньон адвокатской фирмы «Таллин, О'Брайен и Корбетт» и сын бывшего посла США в Австралии Ральфа Коннорса».

Все материалы по послу Ральфу Коннорсу отправили в мусорную корзину, за исключением некролога. До назначения послом он был председателем совета директоров «Уэрдор-Рэнд, Инк.». Умер Ральф Коннорс в 1951 году.

Не нашел Флетч и фотографии Рональда Райсона Хорэна.

И его имя упоминалось на страницах газеты только один раз, в связи с попыткой ограбления галереи Хорэна, предпринятой в 1975 году. По стилю заметки Флетч догадался, что репортер писал со слов полицейского, вызванного на место происшествия. Далее эта тема газетой не разрабатывалась.

Не поленился Флетч прочитать иекролог Грэйс Галкис Хорэн, выпускницы Уэллсли-колледж и наследницы состояния Галкисов «Галкис Раббер». Ей принадлежала знаменитая Звезда Ханэна из нефрита. Умерла она от лейкемии.

А вот о Фрэисисе Ксавьере Флинне «Бостон стар» писала ие меиее сорока пяти раз, и все за последние восемнадцать месяцев.

Флетч не стал читать все заметки, но обнаружил, что каждый раз они подчиняются определенной схеме.

Сообщение о преступлении. Затем развернутая статья с указанием, что расследование поручено Флинну. Несколько дней подряд рутинные заметки, не сообщающие ничего нового. Нарастающее негодование общественности, возмущенной тем, что преступник до сих пор ие найдеи. Прозрачные иамеки репортеров на скрытность полиции. И, накоиец, заявление представителя полиции по связи с прессой о незамедлительном аресте преступника. Потом следовало иеожиданное заявление Флинна: «Чепуха. Мы пока никого ие арестовываем». Виовь возмущение публики, нападки иа полицию за ее полную некомпетентность. И, наконец, ие в ответ на эти иападки, а в выбранное им самим время, сообщение Флинна об аресте преступника. Обычно в малюсенькой заметочке иа последней полосе.

К середине пачки газетных вырезок Флетч заметил, что возмущение общественности явно шло на убыль, реже стали отмечать «некомпетентность полиции», а в конце и то, и другое пропало вовсе. Пресса пояяла, что Флинну не свойственна торопливость, а дело свое он знает лучше миогих.

В одной нз первых заметок указывалось, что «ранее Флинн руководил детективами одного из полицейских участков Чикаго».

— Вам нужно что-нибудь еще, мистер Локе?

Молодой лицемер появился между шкафов картотеки.

— Нет, благодарю, Рэндн.— Флетч задвинул ящик.— Пожалуй, я посмотрел все, что хотел.

— Над какой статьей вы работаете, мистер Локе?

— Ничего интересиого. История празднований Американской революции в Новой Англии.

— О!

Юноша, похоже, согласился, что эта статья ие слишком занимательиая. И, раз уж Ральф Локе занимается такой ерундой, сделал вывод, что и сам ои ничего из себя ие представляет.

— Надеюсь, вы ее прочтете,— улыбнулся Флетч.— Я напечатаю ее под своей фамилией.

ГЛАВА 18

Флетч вернулся к столу Сандерса.

Тот разглядывал снимок, переданный по фототелеграфу, и показал его Флетчу.

На снимке президент Соединенных Штатов пытался надеть свитер, не сияв предварительио фуражку и солнцезащитные очки.

— Это новости, да? — спросил Сандерс.

— Конечно,— подтвердил Флетч.— Я-то думал, что он надевает свитера через ноги.

Джек бросил снимок на стол.

— Пошлю его в воскресное приложение. Может, его опубликуют в разделе «Тенденции».

— Джек, я хотел бы пообщаться с твоим редактором по искусству.

— Я тоже,— ответил Джек.— Давно пора. Ему постоянно звонят. Чтобы обругать последними словами. Зовут его Чарльз Уэйнрайт.

Они вышли в длинный, мрачный коридор.

— Ты помнишь инспектора Флинна по Чикаго? — на ходу спросил Флетч.

— Какого Флинна? Здешнего «упрямца» Флинна?

— Да. В какой-то вырезке я прочитал, что ранее он руководил детективами одного из полицейских участков Чикаго.

— Об этом писала «Стар»?

— Да, газета, в которой ты работаешь.

— Фрэнк Флинн никогда не был в Чикаго. Во всяком случае, два года назад. Он там не служил. Иначе я бы знал его.

— Не помню его н я.

— Загадка века.

— Похоже, ты прав,— согласился Флетч.

Большего грязнули, чем Чарльз Уэйнрайт, Флетчу видеть не доводилось.

Брился он, похоже, квадратно-гнездовым методом, н островки гладкой кожи соседствовали с полями щетины. Лет пятидесяти с небольшим, нос и подбородок покрывали угри с черными головками. Воротник рубашки обтрепался, лацканы пиджака залоснились, а на самой рубашке, обтягивающей выступающий живот, остались следы от тех блюд, что откушал мистер Уэйнрайт в последние дни. От томатного соуса до яичного желтка.

— Это наш главный специалист по искусству, Чарльз Уэйнрайт,— заговорил Джек.— Чарльз, это Ральф Локе нз Чикаго, он готовит статью.

Флетч уже смирился с тем, что придется пожать Уэйнрайту руку, но тот даже не шевельнулся.

— Помоги ему всем, чем можешь.

— С какой стати?

Джек не сразу понял, что вопрос поставлен серьезно.

— Потому что я прошу тебя об этом.

— И все же я не понимаю, почему я должен пахать за кого-то. У меня полно своих дел.

Флетч поспешил вмешаться.

— Честно говоря, я не пишу статью, мистер Уэйнрайт. По Чикаго прошел слух, что один из бостонских торговцев произведениями искусства собирается подарить картину городскому музею, и нздатель попросил меня заглянуть к вам и разобраться, что к чему.

— Что значит разобраться? Вы хотите, чтобы я написал об этом статью?

— Если этот тип действительно намерен подарнть Чикаго

картину, я думаю, лучше вас никто об этом не напишет.
— Кто это?
— Хорэн.
— Ронни?
— Его так зовут?
Не скрывая своего отвращения к Уэйнрайту, Джек повернулся к Флетчу.
— Ну, я пошел,— и выскочил из маленького кабинетика, заваленного газетами н книгами. И то, и другое покрывал толстый слой пыли.
Уэйнрайт сидел за столом. А вокруг громоздились бумажные кипы.
— Я знаком с Ронни с незапамятных времен.
Флетч огляделся, но не обнаружил свободного стула.
— Мы вместе учились в Йеле.
— На гигиеническом факультете?
— Полагаю, будь у него на то желание, он мог бы подарить картину Чикаго. Не пойму только, с чего бы оно могло у него возникнуть.
— Старый город еще привлекает людей. Парное мясо, свежий ветер, знаете ли. Будоражит кровь.
— Может, Грэйс была как-то связана с Чикаго? Ее семейство нажило состоянне на резнне. Грэйс Галкис. «Галкис Раббер».
— Что-то я вас не понимаю.
— Ронни женился на Грэйс после войны. Когда писал докторскую диссертацию в Гарварде.

— И она богата?
— Была богата. Умерла через несколько лет после свадьбы. Одна из этих ужасных болезней. Рак, лейкемия, что-то в этом роде. Ронни не находил себе места от горя.
— И разбогател.
— Полагаю, он унаследовал ее деньги. Примерно в то же время создал галерею. Как вы понимаете, жалованья преподавателя Гарварда для этого бы не хватило.
— Больше он не женился?
— Нет. Появлялся в обществе со многими женщинами, но никому не предлагал руки и сердца. Вы слышали о нефритовой Звезде Ханэна?
— Что это такое?
— Большой кусок нефрита. Знаменитое украшение. Принадлежало Грэйс. Интересно, где теперь эта Звезда? Надо спросить Ронни.
— Вы спросите его, что он сделал с драгоценностями жены?
— Ну зачем так грубо. Можно подобрать другие слова.
— Получается, что у Ронни много денег.
— Не знаю. Неизвестно, какую часть наследства получил он, а какая вернулась в сундуки семейства Галкис. Об этом не говорят вслух, особенно в Бостоне. Вы же знаете, что произошло с деньгами после пятидесятых годов.
— До меня доходили какие-то слухи.
— Живет он хорошо, в своем замке на Ньюбюри-стрит, где находится его галерея. Два верхних этажа — его апартаменты.

Ездит на «роллс-ройсе». Каждый сидящий за рулем «роллс-ройса» должен разорнться.

— Нет ли у него другого дома?

— Может, и есть. Не знаю.

— Я хочу сказать, не может же он все время жить над магазнном.

— О другом его доме я ничего не слышал.

— Его прнзывали на военную службу?

— Да. Воевал на флоте во вторую мировую войну. На Тихом океане. Служил адъютантом адмирала Кимберли.

— До того, как женился на Грэйс Галкис?

— Да.

— Кто же помог ему получить такое теплое местечко? С улицы в адъютанты адмиралов не попадают.

— Он же учился в Йеле,— напомнил Уэйнрайт.— Обходительный, симпатичный парень. С прекрасными манерами.

— Откуда он родом?

— Точно не помню. То ли нз Мэна, то ли нз Вермонта. Забыл. Но деньги за ним не стояли. В Йеле он слыл бедняком.

— Ясно.

— Он до сих пор преподает в Гарварде. Обзорный курс живописи для первокурсников. Написал пару занудных книг.

— Занудных?

— Академических. Я не смог дочитать их до конца. Есть такие книги, в которых автор тратнт сто пятьдесят тысяч слов, чтобы поправить мнение человека, никогда не считавшегося авторитетом.

— Действительно занудство.

— Вас зовут Ральф Локе?

— Да.

— Какая газета?

— «Чикаго пост».

— Вы пишете об искусстве?

— О, нет,— покачал головой Флетч.— О спорте. Хоккее.

— Вульгарно.

— Грубо.

— Примитивно.

— Но читают,— подвел черту Флетч.— Раз вы пишете о живописи, у вас, должно быть, обостренное чувство цвета, перспективы.

Грязный человечек, сидевший в грязной комнате, промолчал.

— Расскажите мне о галерее Хорэна. Она процветает?

— Кто знает? Ронни умеет показать товар лицом. У него не выставочная галерея. Попасть в нее можно только по прнглашению. Клиенты в разных странах, сделки заключаются в глубокой тайне. Хорэн очень скрытен. Возможно, он заработал миллионы. Возможно, сидит без гроша. Я понятия не имею об его истинном фннансовом положении.

— А каково ваше личное мнение?

— Ну, на рынке сбыта произведений искусства в последнее время отмечались и спады, и подъемы. Поначалу появились японцы н начали закупать все подряд. Потом, правда, некото-

рым из них пришлось продавать. За ними последовали арабы, набитые нефтедолларами. Многие японцы недостаточно хорошо разбирались в западном искусстве. А ислам запрещает изображать людей и животных. Отсюда и неожиданные отклонения от привычной нам шкалы ценностей. Некоторые их уловили и озолотились. Другие ошиблись и проиграли.

— И вы не знаете, чего добился Хорэн?

— Нет. Но меня заинтересовали ваши слова о том, что он собирается подарить картину музею в Чикаго. Пожалуй, я упомяну об этом в своей колонке.

— Обязательно упомяните.— Флетч попятился к двери.— Премного вам благодарен за помощь.

ГЛАВА 19

Вслед за Флетчем детективы в штатском по запруженным транспортом улицам доехали до его дома на Бикон-стрит.

После общения с Уэйнрайтом Флетчу более всего хотелось встать под душ.

Захватив с собой последний выпуск «Бостон стар» (четверть первой страницы занимало убийство в ванной женщины — члена Городского совета), Флетч пешком поднялся по лестнице, огибающей шахту лифта, и остановился перед дверью своей квартиры.

Миньон не залаял.

Помывшись, он вновь вышел в коридор, осторожно притворив за собой дверь. Нажал кнопку вызова лифта. Скрипя, кабина поднялась на шестой этаж. Открыл забранную железной решеткой дверь. С грохотом захлопнул. Выждав пару мгновений, позвонил в квартиру 6А.

Джоан Уинслоу потребовалось немного времени, чтобы добраться до двери и открыть ее.

— К сожалению, я захлопнул дверь, забыв ключи внутри.— Флетч изобразил на лице растерянность.— У вас, случаем, нет ключа от 6В?

От Джоан пахло джином и освежителем воздуха. Из-под юбки выглядывал Миньон.

— Кто вы? — спросила Джоан.

— Питер Флетчер. Я живу в квартире Барта. Мы столкнулись вчера в лифте.

— О, да.— Она повернулась к маленькому столику в прихожей.— Вы тот человек, которому Барт подбросил тело.

— Простите?

В ящике столика лежало много ключей.

— Ко мне заходила полиция. Огромный мужик. Фамилия Уинн или что-то в этом роде.

— Флинн.

— Он говорил так тихо, что я едва разбирала слова. Приходил сегодня утром. Показал фотографию убитой девушки. Забыла, как ее звали.

— Рут Фрайер.

— Да.

Рука ее шарила по ящику.

— Нашли? — с надеждой спросил Флетчер.

Джоан вытащила ключ с белой биркой. На ней значилось: «Барт-6В».

—Держите.

Ее сильно качнуло, но она выпрямилась.

— Откройте дверь, а потом верните мне ключ, чтобы я могла дать его вам, если вы снова забудете свой.

— Вы впускали кого-нибудь в квартиру Барта во вторник вечером? — спросил Флетч, сжав в руке ключ.

— Нет. Разумеется, нет. Я никогда никого не впускала в квартиру. За исключением Барта. Люси. Теперь вас. И потом, во вторник вечером меня не было дома. Я встречалась с друзьями. Мы выпили по паре коктейлей. Потом пообедали.

— Где вы пили коктейли?

— В «Снегире». На другой стороне улицы.

— Понятно.

— Там я видела Барта. И девушку.

Флетч пересек холл и открыл дверь квартиры 6В ключом Джоан.

Возвращая ключ, спросил:

— С Бартом была та самая девушка, фотографию которой показывал вам сегодня Флинн?

— Да, конечно.

— Вы сказали об этом Флинну?

— Естественно. Я сказала бы кому угодно.

Джоан отступила назад, едва не наступив на Миньона.

— Заходите. Самое время выпить.

— Благодарю. С удовольствием.

Флетч вновь пересек холл, закрыл дверь квартиры 6В, вернулся, переступил порог, закрыл за собой дверь, прошел в гостиную. Джоан ждала его у бара.

По размерам гостиная в точности соответствовала квартире Коннорса, но по обстановке чувствовалось, что живет тут женщина. Никакой кожи, темного дерева. В обивке преобладали белый, розовый, голубой цвета. Мебель легкая, светлая. На стенах тоже картины, несомненно, подлинники, но принадлежащие кисти современных авангардистов.

— Раз сегодня пятница, давайте выпьем мартини,— предложила Джоан.— Почему бы вам не смешать его? У мужчин это получается лучше, чем у женщин.

— Неужели?

Джоан поставила ведерко со льдом и двинулась на кухню.

— Я принесу крекеры и сыр.

Вернувшись, села на диван, взяла с блюда крекер. Флетч разлил по бокалам мартини.

— Вы давно знакомы с Коннорсами?

— Очень давно. С самой их свадьбы. Мы въехали в этот дом практически одновременно. Они — после медового месяца. Я — после развода в Неваде.

— А раньше вы их не знали?

— Нет. Если б я встретила Барта Коннорса до того, как он женился на Люси, у нее не было бы ни единого шанса. Барт — такая душка. И со мной ему было бы лучше.

Она отпила из бокала.

— М-м, вкусно. Да, в приготовлении мартини мужчинам нет равных среди женщин.

— Я добавил немного вермута.

— Видите ли... как вас зовут? Питер? Не очень-то вам подходит, но уж буду вас так называть. Они привыкали к семейной жизни, я — к холостяцкой. Мой муж, инженер-строитель, годом раньше уехал по контракту в Коста-Рику. Этот пустоголовый болван нашел себе там другую жену. Я узнала об этом несколько месяцев спустя. И мне не оставалось ничего другого, как развестись. Не отправлять же человека в тюрьму только потому, что он болван? Как, по-вашему, я поступила правильно?

— Абсолютно,— без малейшего колебания ответил Флетч.

— Только Коннорсы так и не смогли привыкнуть к семейной жизни.— Одним глотком она опустошила бокал наполовину.— А я — к холостяцкой.

Джоан было чуть больше сорока. Похоже, не так давно она привлекала мужчин своей беззащитностью, женственностью. Возможно, привлекла бы и сейчас, если бы бросила пить.

— Они не знали дома, не знали района. В Люси было что-то отталкивающее. Уборщицы, мусорщики, никто не хотел иметь с ней дела. Частенько мне приходилось уговаривать их сделать что-либо для Коннорсов.

Джоан допила бокал. Флетч не спешил наполнить его вновь.

— Через год с небольшим стало ясно, что и с Бартом у нее полный разлад. Когда я приглашала гостей, в их число всегда входили Коннорсы. И они приглашали меня, одну или с кавалером, если устраивали вечеринку. Другого быть и не могло, правда? На этаже только две квартиры, мы были друзьями.

Джоан вновь наполнила бокал.

— Однажды вечером, после того как все мои гости разошлись, Барт заглянул ко мне. Мы пропустили по рюмочке. Потом по второй. В общем, набрались крепко. Он сказал, что Люси фригидна. И была такой всегда. Во всяком случае, с ним.

Год она ходила к психоаналитику. Все это время я была психоаналитиком для Барта. Он приходил по вечерам. Мы выпивали. Потом разговаривали. Люси, естественно, заметно охладела ко мне. То ли потому, что мне стали известны семейные секреты, то ли из-за повышенного внимания, которое уделял мне Барт. Но вот что я вам скажу. Весь этот период, довольно длительный, Барт хранил верность Люси. Если б он с кем переспал, я бы знала об этом. Я была его лучшим другом. Он поверял мне все.

Потом Люси отказалась от услуг психоаналитика. Барт нашел ей другого. Но она не пошла и к нему. Я думаю, к тому времени она поняла, в чем суть ее «болезни».

Тогда же я заметила молодую женщину, входящую и выходящую из иашего дома. Меня это удивило, поскольку я знала, что новых жильцов у иас иет. Встречала я ее только дием. Как-то раз мы вместе поднялись на шестой этаж, и оиа позвонила Коннорсам. Я решила, что эта женщина — давняя подруга Люси. Наконец мы встретились с ней иа вечеринке у Коннорсов. Ее звали Марша Гауптманн. Мие сказали, что Марша и Люси собираются открыть антикварный магазин. Как хорошо, подумала я.

И я иаходилась в иеведении до тех пор, пока приходящая уборщица — оиа убиралась в обеих иаших квартирах — не сказала мне, что Люси и Марша вместе принимают душ! Более того, спят в одной постели.

К слову, я тут же уволила эту уборщицу. Не следовало ей сплетничать о людях, у которых работаешь. Честно говоря, я не хотела ничего знать. Вы мне верите?

— Конечно,— заверил ее Флетч.

— А потом я повела себя довольно глупо. Ничего ие сказала Барту. Мы всегда были с ним предельно откровенны, ио у меня просто не поворачивался язык сказать ему такое. Я подумала, что, услышь об этом от меня, он потеряет веру в себя как в мужчину. Надеюсь, вы меня понимаете. Вместо этого я подтолкнула его на измену жене.

— С вами?

— Я полюбила Барта. Пожалуйста, иалейте мне еще.

Флетч наполнил ее бокал.

— Теперь я стыжусь того, что сделала. Я никогда ие была соблазнительницей, хотя меня соблазняли ие раз. И, боюсь, мое поведение показалось Барту иелепым. Может, ои и ие понял, чего я добиваюсь. Он считал меня подругой Люси. А для иего я была духовником. И внезапно — такая жаркая страсть. Он меня отверг. Иначе и не скажешь.

Месяц проходил за месяцем. Мы не приглашали друг друга на вечеринки. По вечерам Барт больше не приходил ко мне пропустить рюмочку.

Наверное, она-таки сказала ему, что уходит к другой женщине. Бедняга не мог оправиться от шока.

— Почему Люси так долго ие разводилась с Бартом, осозиав, что она лесбиянка? — спросил Флетч.

— Поначалу это могло показаться случайностью. Ей же постоянно твердили, что она фригидна, и Барт, и психоаналитик. Но выяснилось, что ничто человеческое ей не чуждо. Только возбудить ее может другая женщина. Кроме того, у Люси ие было ни гроша, а Барт очень богат. Его отец создал «Уэрдор-Рэнд», и он унаследовал большую часть состояния. Вы обратили внимание на картины? Их не купишь за десяток-другой долларов. Его отец был послом в Австралии.

— Понятно,— кивнул Флетч.— Так вы полагаете, она сказала ему правду?

— Полагаю, да. Можете себе представить, что значит для мужчины слышать такие слова? Осознать, что он женат на женщине, которая в сексуальном плане не испытывает к нему ни малейшего влечения. Ведь каждый мужчина хочет верить, что женат на секс-бомбе, которая считает его суперменом, во всяком случае, в постели. Такое было и с моим мужем. Похоже, дважды. А узнать, что ваша жена предпочитает женщин да еще покидает вас ради женщины... Какой удар для мужского самолюбия!

— Вы, разумеется, правы. Эта история стала достоянием общественности?

— Об этом знали все.

— Должно быть, Барт чувствовал себя круглым дураком.

— Вы знаете, он оказался таким наивным. Да и где ему было набраться житейской мудрости? Учился в колледже. В армии не служил. В Гарварде не поднимал головы от учебников. Потом работа в конторе. Отец умер. Я не удивлюсь, если Люси была у него первой женщиной.

— Теперь-то наивности у него не осталось.

Она предложила Флетчу блюдо с крекерами. Тот покачал головой.

— Вы все еще ненавидите Барта? — спросил он.

— Ненавижу? Я сказала, что ненавижу его? Наверное, да. После того как они с Люси объяснились, я ждала его, но он не пришел. Однажды я услышала, что он в холле, и открыла дверь. Дело было утром. «О, Барт! — воскликнула я.— Я так сожалею о случившемся». Я попыталась обнять его, но он отбросил мои руки.

— Он вновь отверг вас.

— Даже сказал, что мне надо меньше пить. И это после стольких вечеров, проведенных вместе за бутылкой. Такое не прощается.

— Мне кажется, бедняга просто возненавидел женскую половину человечества.

— Не скажите.— Из ее глаз покатились крупные, с горошину, слезы.— Он отверг меня не только как женщину. Это я могла бы понять. Он отверг меня как друга.

— Это ужасно.

Джоан продолжала говорить, не обращая внимания на слезы.

— А потом женщины пошли бесконечной чередой. С конскими хвостами. С химической завивкой. В джинсах. В мини-юбках. Так продолжалось из месяца в месяц.

— И вы думаете, что в конце концов он убил одну из них? — ввернул Флетч.

— Разумеется, убил. Мерзавец!

Джоан наклонилась вперед, схватила бутылку джина, плеснула в бокал и выпила.

— Он убивал не эту девушку. Не Рути... как ее там. Он убивал Люси. Только Люси.

Флетч промолчал. Миньон, сидя на диване, озабоченно смотрел на свою хозяйку.

— Могу я что-нибудь сделать для вас? — спросил наконец Флетч.

— Нет.— Она откинула со лба прядь волос.— Я приму ванну, а потом лягу спать.

— Без ужина?

— Я слишком устала.

Флетч положил ключ от квартиры Барта на кофейный столик.

— Мы можем съесть по сандвичу. Еще не так поздно. Как насчет бара, о котором вы говорили? На другой стороне улицы.

— Нет, я никуда не пойду. Полиция была здесь утром. Спрашивала о Барте.

— Я понимаю.— Флетч встал.— Как-нибудь я с удовольствием выгуляю Миньона.

— Он не станет возражать.

Джоан Уинслоу проводила его до двери.

Окончание следует.

Перевод с английского
ВИКТОРА ВЕБЕРА.

СЕРГЕЙ ДРОНОВ



Творческий путь молодого московского художника Сергея Дронова не примечателен какими-то неожиданными поворотами судьбы. Все, как у многих его коллег: детские рисунки, художественное училище и, наконец, факультет декоративно-прикладного искусства Московского текстильного института. На первый взгляд работы Дронова и воспринимаются как чисто декоративная живопись: яркие лубочные картинки, сочные краски, замысловатый ковровый рисунок. Но, присмотревшись внимательнее, вы почувствуете и человеческую боль, и утонченную, немного наивную красоту окружающего мира. Автор как бы предлагает зрителю два пути восприятия своих картин: внешний, созерцательный, и внутренний, путь разгадывания замысла художника.

— Нельзя требовать от зрителя, — говорит Сергей, — чтобы он воспринимал картину именно так, как ее воспринимает сам автор. Когда мы слушаем музыкальное произведение впервые, оно вызывает у нас одни чувства, а во второй и третий раз — другие, да и мелодия кажется изменившейся, более понятной. Чтобы подготовить зрителя, «настроить» его на картину, я пользуюсь броскими красками, стараюсь четко выписывать каждую деталь композиции. А дальше все зависит от самого человека, сможет он увидеть что-то более глубокое на полотне или нет.

Большинство работ Дронова посвящено конфликту толпы и личности. Личности неординарной, противопоставляющей себя обыденности и серости.

«Юродивый». Выставленная напоказ обнаженная человеческая сущность — предупреждение об опасности, о скрытой агрессии, которая живет в каждом из нас. Был

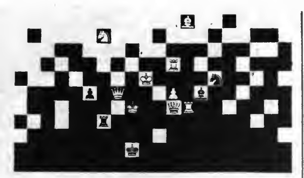


бы повод... Посмотрите на мужика с топором или на подтянутого райкомовского работника, стоящих в толпе деревенских жителей. Вечный символ поклонения и святости на Руси — юродивый, неожиданно появившийся в современной деревне, вызывает у обывателя ненависть, злобу.

Попытка художника понять, какими мы стали, что произошло с нашей душой, — в «Сеансе медитации в Горячем Ключе». Маленький курортный городишко, в котором по инерции еще чтут советские традиции. В день привычного, но никому не нужного праздника здесь веселятся, и веселятся тоже по инерции. И вдруг среди этого... ме-ди-та-ция! Свобода и отрешенность от мирских дел. Люди из толпы удивлены и напуганы, а кто-то сокрушенно покачивает головой.

...В безразличии тоже есть своя прелесть. Но и оно, как и все понятия, относительно. Ведь неравнодушен же мифический герой картины «Полифем» к своей дудочке, хорошо ему живется в горах. Это — его мир, спокойный и вечный. Скажете, опять символы и аллегории? Да. Но откуда мы знаем, что есть на самом деле, а чего не существует, что плод нашего воображения, а что есть в реальности? Да и что такое — эта реальность?..

НАТАЛЬЯ КИЛЕССО



32-я ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА

Под редакцией гроссмейстера
ВИКТОРА ЧЕПИЖНОГО

Подводим итоги

В 32-й олимпиаде «Смены» приняли участие более четырех тысяч любителей шахмат нашей и ряда зарубежных стран. К сожалению, нарушенный в связи с переходом журнала на малый формат ритм выхода номеров «Смены» в значительной мере осложнил проведение нашего заочного соревнования. Многие номера журнала поступали читателям с огромным опозданием в различных регионах, и задержки были разные. Все это ставило участников олимпиады в неравные условия. Кроме того, в силу указанных причин сроки присылки ответов в большинстве случаев были невыполнимы. Поэтому жюри олимпиады приняло решение не принимать этот показатель во внимание и не засчитало просрочки никому.

Увы, не обошлось и без накладок. Так, в 6-м задании VI тура была дана неправильная позиция этюда, в результате он оказался нерешаемым. Жюри засчитало баллы за это задание всем участникам, приславшим ответы на задания VI тура.

Многие участники успешно справились со всеми заданиями. Для выявления победителей жюри прибегло к помощи жребия. Многие сильные решатели недовольны таким способом определения победителей и советуют наращивать трудность заданий с каждым туром. Наоборот, решатели послабее ратуют за ровный подбор

заданий по ходу всего соревнования, чтобы для всех участников олимпиады сохранялся спортивный интерес до самого конца. Именно таких пожеланий значительно больше.

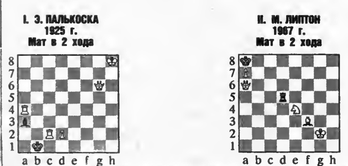
Победителями олимпиады стали:

И. Алешина (г. Раменское Московской обл.), **В. Алифанов** (г. Курск), **В. Андронов** (г. Пермь), **К. Борисенко** (г. Владивосток), **А. Варченко** (г. Миргород Полтавской обл.), **Е. Григоров** (г. Ростов-на-Дону), **В. Гриндей** (г. Черновцы), **И. Даниленко** (г. Днепродзержинск), **С. Зиновьев** (г. Красногорск Московской обл.), **И. Коновалов** (г. Киев), **Ю. Красильников** (п. Вознесенское Горьковской обл.), **Г. Кузурманов** (г. Ишим Тюменской обл.), **Г. Леонов** (г. Курган), **В. Мельников** (г. Канев Черкасской обл.), **А. Михайлов** (г. Уфа), **В. Новиков** (г. Мелитополь Запорожской обл.), **П. Николаовский** (г. Волгоград), **Ю. Ожерельев** (г. Киев), **Г. Преображенский** (г. Челябинск), **А. Проминский** (г. Глодяны), **С. Рождественский** (г. Днепропетровск), **И. Рыбак** (Польская Республика), **Ф. Сбитнев** (г. Москва), **А. Сурков** (г. Москва), **В. Цивилев** (г. Кировоград).

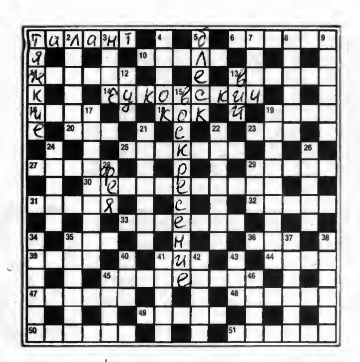
Редакция журнала «Смена» поздравляет победителей шахматной олимпиады и желает им успешного выступления в новых соревнованиях. Победители награждаются дипломами и шахматными книгами.

БАТАРЕИ САЛЮТУЮТ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Публикуемые задачи — наш батарейный салют победителям 32-й шахматной олимпиады. Они также являются хорошим дополнением к тематической подборке миниатюр, опубликованных в предыдущем номере «Смены».



Предлагаем нашим читателям решить задачи самостоятельно.



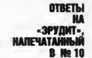
По горизонтали:

1. Высокая ступень на лестнице гениальности. 6. Возвращенный в 1927 году из Эрмитажа Польше меч, атрибут коронации польских королей. 10. Место, где воробьиный сыч с осени запасает до восьмидесяти жертв, обычно полевок. 11. Самоцвет. Юлий Цезарь запретил носить его бездетным женщинам. 13. Пятьсот саженей. 14. Писатель, «заставивший» героиню-бабулю зарезать зимой гусей, чтоб они не простудились. 16. «Царь ...» — самая популярная и единственная дошедшая до нас вертепная дама. 18. Повар, способный готовить на плаву. 19. Большой набитый сеном куль Ильи в романе М. Горького «Трое». 20. Сотая часть индонезийской рупии. 23. Представитель Золотой Орды, которого на Руси называли царем. 25. Отличный сорт «нантская-4» (овощ). 27. «Пеня, кара, взысканье, взыск, наказанье» (В. Даль). 29. Голландский купец и мореплаватель, один из руководителей экспедиции, во время которой открыт мыс Горн. 30. Советский поэт, назвавший в 1923 году свою, по его мнению, несознательную мать «пятнышком в нашей борьбе». 31. Участница сцены «Ну, жинка» в знаменитой опере М. Мусоргского. 32. Дерево, семенами которого в неурожай на рябину год кормятся снегири. 33. Воин первого постоянного войска в России. 35. Одна из отличительных особенностей лица Бориса на иконе «Борис и Глеб

с житием» (Третьяковская галерея). 36. Греческий бог ветра, любивший повреждать корабли. 39. Газ, в жидком виде кипящий при 196 градусах холода. 41. Плющ — корешок, ежевика — ..., ломонос — черепок. 44. Животное, больше других страдающее в Австралии от кроликов. 45. Поэт, на могилу которого после его смерти венок от Союза писателей СССР лег ровно через столько лет, сколько прожил М. Лермонтов. 47. Металл, названный от греческого слова, означающего «молодая зеленая ветвь». 48. Оружие, древнерусский знак власти военачальника. 49. Женщина, похищение которой — один из самых частых сюжетов в живописи Ренессанса. 50. Композитор, чья первая опера «Двоюродная бабушка» была исполнена в 1867 году в Париже. 51. Основной труд эмигрантской поры А. Куприна.

По вертикали:

1. Пуститься во все ... (предаться безудержному пьянству, разгулу). 2. «Пшеничный» остров в Эгейском море. 3. Общественный деятель и знаток искусств Александр Оленин до знакомства с комедией Д. Фонвизина «Недоросль» по его собственному мнению. 4. Житель норы глубиной до шести метров. 5. Важная характеристика самоцветов. 7. В ответ на стихи митрополита Филарета А. Пушкин написал: «Я лил потоки слез нежданных и ранам совести твоих речей благоуханных отраден чистый был...». 8. Ткань, названная по одному из центров борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 9. Полярная медуза, чьи щупальца свисают до тридцати метров. 12. Физик, вместе с Х. Гюйгенсом установивший постоянные точки термометра — таяния льда и кипения воды. 13. «Начальник гномов» в украинском фольклоре. Веки у него касаются земли. 15. «... Христа» — картина Эль Греко. 17. Каждый из людей, роман о которых пытался написать Л. Толстой. 19. «Деятельность» тех, кому прислуживаться не тошно. 21. Старинное название трофеев, добычи, захваченной у неприятеля. 22. Кончик кнута. 24. Русский художник, сделавший в Париже с картины Доменикино «Эней, спасающий своего отца Анхиза из горящей Трои» гравюру, которая понравилась Наполеону и за которую Александр I прислал бриллиантовый перстень. 26. Ключевое слово третьей книги стихов В. Ходасевича. 28. Сказочная девушка. 2[illegible]шая дочь библейского Лавана, обманом отданная в жены Иакову вместе с Рахили. 34. Модель человека или животного, на которой проверяют силу радиоактивного излучения. 35. Герой шотландского народа, прославившийся в борьбе за независимость от Англии. 37. Старение (в XVII веке слово означало зависть, ссору, а в начале XVIII — спор, несогласие). 38. Птичка с повадкой висеть на ветке спиной вниз. 40. Привычный для узбекских и таджикских музыкантов инструмент. 41. Автор первой общехимической теории — теории флогистона, позже опровергнутой Антуаном Лавуазье. 42. Дыхание как жизненный принцип в древнеиндийской философии. 43. Поделочный материал под названием «павлинье дерево». 45. Самый популярный в Аргентине из цветов. 46. Женщина, о которой напоминает аллея в парке села Михайловское.



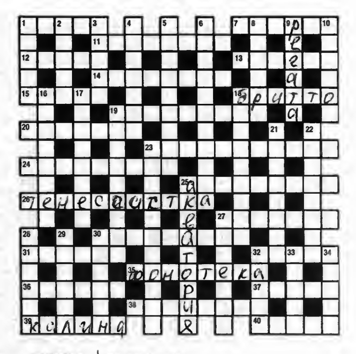
ОТВЕТЫ НА «ЭРУДИТ», НАПЕЧАТАННЫЙ В № 10

По горизонтали:

1. ...хрящик. 6. Бурцев. 10. Театр. 11. Далила. 12. Гофман. 13. Захаров. 14. Аякс. 17. Энгр. 18. Отруб. 21. Пуд. 23. Немврод. 26. Ландтаг. 27. Ладанка. 28. Ченслер. 29. Грандам. 30. Всадник. 31. Родонит. 34. Юст. 35. Кварц. 38. Елец. 41. Иона. 42. Филарет. 44. Катмай. 45. Молоко. 46. Греза. 47. Чаатас. 48. ...шельма.

По вертикали:

1. Хадбан. 2. Яблоко. 3. Июль. 4. Чебак. 5. Страх. 7. Умов. 8. Цемент. 9. Венера. 12. Государство. 15. Студент. 16. Луначарский. 19. Бегемот. 20. Свисток. 21. ...полевик. 22. Кайра. 24. Майдари... 25. Оксид. 32. Щелкач. 33. ...жертва... 36. Цоколь. 37. Чакона. 39. Дауры. 40. Ферзь. 42. Фата. 43. Моне.



КРОССВОРД
Составил Н. МЫРИКОВ, Рубцовск Алтайского края

По горизонтали:

1. Запутанный, смешной случай. 7. Пушистая лекарственная трава, не раз упоминаемая в стихотворениях М. Волошина (правда, в ином от общепринятого написания). 11. Способность стойко переносить лишения, невзгоды. 12. Река, на которой стоит Берлин. 13. Представитель народа в СССР, называющего себя вадул, деткиль или одул. 14. Небольшой съедобный гриб, по содержанию очень полезного бетаина сравнимый с боровиком. 15. Работник заповедника. 18. Вес товара вместе с упаковкой. 19. Предприятие по обработке древесины. 20. Жанр «Четырех книг о пропорциях человека» А. Дюрера. 23. Неотъемлемое качество человека, отвергаемое тоталитаризмом. 24. Один из предшественников фортепьяно. 25. Собрание стихотворений разных авторов. По-древнегречески это слово значит «сбор цветов». 26. Знаменитая Штефи Граф как спортсменка. 27. Положение фигур в шахматной задаче. 30. Автор первого казахского национального балета «Калмакан и Мамыр». 31. Винторогий козел, один из предков домашних коз. 32. Город первого концлагеря в фашистской Германии, где погибли не менее семидесяти тысяч узников. 35. Собрание звукозаписей. 36. Литовский писатель. 37. Рыба, которую в популярном рассказе А. Чехова ловят способом щупанья. 38. Человек в коллективе, наиболее рьяно выполняющий указания начальства. 39. «Сестра» рябины. 40. Один из издателей знаменитого русского энциклопедического словаря, в наше время малоизвестного.

По вертикали:

1. Шейный платок или шарф. 2. Известный советский разведчик. 3. Обширная прежде в нашей стране растительная зона, от которой мало что осталось. 4. Единица генетического кода. 5. Каждый из хищных моллюсков (каракатица, кальмар, осьминог). 6. Художественный фильм. 8. «Букет» музыкальных звуков. 9. Гонки парусников. 10. Золотой камень, известный с античных времен. 16. Часто используемый в архитектуре вид скульптуры. 17. Панцирь, от которого произошло название эпохи рококо. 18. Трава, яд из которой в древних Афинах применяли как средство казни. 19. Название города в Англии и двух городов в США. 21. Актриса, упомянутая в «Евгении Онегине» А. Пушкина. 22. Героиня оперы К. Глюка, начинающейся у ее гробницы. 23. Холодная прокатка металлов с малыми обжатиями. 25. Морская территория порта. 27. Применяемое в шахтах взрывчатое вещество. 28. Чувство. 29. Кейптаунский шофер, которого ошибочно считают изобретателем . кроссворда. 30. «Огненная гора». 32. Поэт, изображенный на знаменитой фреске Доменико ди Микелино во флорентийском соборе Санта Мария Новелла. 33. Название врача в Юго-Восточной Азии, якобы способного оперировать без инструментов. 34. Сибирский хвойный участок с преобладанием пихты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 10

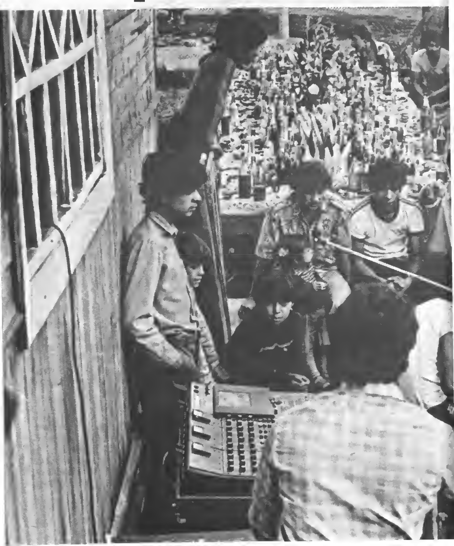
По горизонтали:

3. Очки. 7. Румб. 10. Уха. 12. Якутки. 13. Каспар. 15. Елизово. 17. Тетерон. 18. Имерети. 19. Аферист. 23. Шиллинг. 25. Цилиндр. 26. Головоломец. 27. Запад. 29. Васин. 31. Сват. 32. Пеон. 33. Чурек. 37. Игрок. 41. Лиственница. 43. Тюльпан. 44. Артишок. 45. Ярмарка. 49. Конкурс. 50. Скорняк. 51. Конотоп. 52. Лекало. 53. Анилин. 54. Эон. 55. Шейк. 56. Урал.

По вертикали:

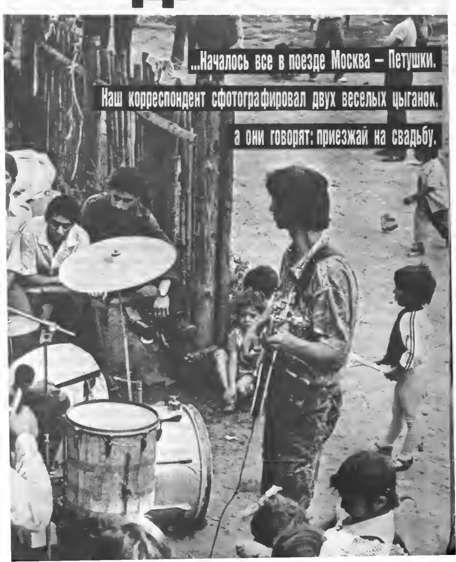
1. Гигиена. 2. Крокоит. 4. Чатуранга... 5. Буриме. 6. Калоши. 8. Масленица. 9. Шкатулка. 11. Вареники. 14. Стриж. 16. Хинди. 20. Фломастер. 21. Роом. 22. Столетник. 24. Годскин. 25. ...цевница... 28. Пор. 30. Сыр. 34. Ульянцев. 35. Елабужане. 36. Щепа. 38. Гармоника. 39. Ориентир. 40. Рюмка. 42. Норка. 45. Ясколка. 46. Менуэт. 47. Рутина. 48. Аспарух.

ЦЫГАНСКАЯ



СВАДЬБА

МАРИЯ БОГДАНОВА
Фото АЛЬБЕРТА ЛЕХМУСА



...Началось все в поезде Москва – Петушки. Наш корреспондент сфотографировал двух веселых цыганок, а они говорят: приезжай на свадьбу.

Выдался странно жаркий день, когда мы отправились в Усад. Свадьба игралась у жениха. Невеста Рада в роскошном одеянии из белых кружев и в венке из невероятных цветов сидела на крыльце своего нового дома. Прислонясь к забору или сидя на корточках, отдыхали мужчины, несколько старух курили, собравшись в кружок на траве. Карточки, сделанные в электричке, послужили нам «рекомендательными письмами». На наши попытки предъявить удостоверения только замахали руками, в чем проявилась, должно быть, давняя нелюбовь ко всякого рода «ксивам».

Пригласили к столу — он тянулся через весь двор и был уставлен ошеломительным количеством закусок и бутылок. Полуденной силы солнце вытапливало жир из ломтей севрюги, подсушивало черную икру; истекали соком жареные цыплята, оплывали шоколадные торты, пеклись на жаре горки бананов, груш, персиков и винограда... Все это изобилие казалось ненастоящим, бутафорским. Поражало, что к угощению будто никто и не притрагивался, все тарелки были полны. Стол словно служил только олицетворением щедрости и размаха игравшейся свадьбы, и совсем необязательно было все это есть. Главное, чтобы — красиво и много...

А у крыльца, где так и продолжала сидеть в белых кружевах невеста, возникло вдруг какое-то музыкальное оживление: гулко отдавались в усилителе переборы электрогитары, позвякивали медные тарелки.

— Теперь у вас не поют под гитару, как раньше? — спросила я Бабича Квина, «хозяина свадьбы», дядю жениха.

— Зачем? Мы купили электроинструменты...

— А старые цыганские песни поют?

— Нет, редко. Больше индийские. А знаете почему?

— Мелодичные, чувствительные...

— Потому что цыгане пришли из Индии,— веско и значительно проговорил Бабич...

И вправду, древние предки цыган шли с берегов священного Ганга в Европу долгим окольным путем, через Египет и Малую Азию. Потом, уже после разговора с Бабичем, я узнала, что в России цыган даже прозывали «фараоново племя», а английское название цыган «supsy» происходит от слова «Египет». Но далекие предки цыган были из древнеиндийской низшей касты бродячих кузнецов, музыкантов, акробатов — «дóмбов» или на новоиндийском — «дóмов».

«Дóмы,— предполагает ученый-востоковед Андрей Евгеньевич Снесарев,— вероятно, представляли собой остатки дравидского племени, разгромленного завоевателями (ариями) и осужденного на рабский труд и «унизительные занятия».

Потеря родины обрекла цыган на ту же участь, что и другой древний народ — иудеев. Их исторические судьбы в чем-то схожи. Но в отличие от иудеев цыгане не сохранили память о своем прошлом. Не знаю, откуда Бабич Квин почерпнул знания о происхождении своего народа, но гордиться тем, что они родом из древней великой Индии, было для него все еще свежим ощущением.

— Раньше удивлялся, что слова в индийских фильмах бывают вроде знакомыми. А их язык, оказывается, нам родственный...

Гудят и гремят усилители. Но

вот Рада берет в руки микрофон, и сквозь искажающее фонирование аппаратуры прорываются тягучие звуки песни то ли на цыганском языке, то ли на хинди. Сама невеста от разговоров уклонялась, но не думаю, что от застенчивости: в поезде или на улице с цыганкой только обмолвись словом — заговорит. Но дома они держались со мной настороженно. Выходит, на улице я их сторонюсь, а у себя дома цыганки сторонятся меня. Чего мы боимся?

— Сколько лет невесте? — спросила я Бабича.

— Не очень молодая — восемнадцать. У нас обычно выходят замуж лет в пятнадцать, а бывает — и в четырнадцать. Так лучше. У нас ведь после первой ночи надо простынь показывать.

— Но ведь каждый раз приходится брать специальное разрешение на такой ранний брак?

— А нам необязательно сразу регистрироваться. Главное — мы все знаем, что они муж и жена. Записать можно и потом.

— Но как же тогда школа?

— Читать-писать умеет — что еще надо.

— Учителя, наверное, к вам ходят, уговаривают посылать детей в школу?

— Ходить-то ходят, а вот в школе на наших внимания не обращают, на уроках не спрашивают. Раньше специальные цыганские классы были, но уже много лет назад их позакрывали...

Малограмотность все же тревожит цыган, поэтому решили они приглашать учителей на дом. Деньги немалые, но скупиться тут — себе дороже выйдет. Нынче одним «сложением-вычитанием» не обойтись: рыночная экономика — это не привычный исстари базар.

Несколько лет назад организовали цыгане кооператив «Радуга» по сварке металлических изделий. И, как мне признался председатель кооператива Михаил Михай, мужчины оценили выгоду самим зарабатывать...

Попрошайничеством у цыган промышляют только женщины и дети. Когда мужчины упоминали в разговоре это занятие своей женской половины, то таким полупрезрительным тоном, будто речь шла о вынужденном временном занятии, которое они-то сами не жалуют.

В Европе цыгане появились в XII—XIII веках многочисленными таборами, но никогда не проявляли воинственных намерений. Зато поразили, а затем и встревожили средневековую Европу своими странными обычаями и забавами, знанием множества таинственных вещей. И стали появляться то в одной, то в другой стране законы, по которым цыган надлежало изгонять, отбирать у них детей, а тех, кто не подчинялся, жестоко наказывать.

Таиться, увиливать, хитрить стало необходимостью — иначе не выжить. Русский исследователь Патканов писал: «...однакож по своей совести и справедливости могу свидетельствовать, что племя цыганское вообще с богатыми задатками на счастливую и спокойную жизнь, которую они не имеют. Цыгане способны, в характере их мягкость, гибкость, они от природы добры, уступчивы. Но все эти качества опошлены вечным рабством и презрением». Россия среди других европейских государств не отличалась особой жестокостью в преследовании цыган. Но и российские правители принимали суровые меры, чтобы лишить цыган их самобытности, смешать с общей массой подданных. Только ни в какие времена не становились цыгане такими, «как все»...

В Усаде цыгане поселились в 1956 году. Пытались сделать их сельхозработниками, каменщиками... Местная милиция, обеспокоенная непонятным неучастием цыган в нашей общей трудовой жизни, регулярно посещала слободу, выясняя, чем там они занимаются. Успокоились лишь несколько лет назад, когда цыгане обрели наконец то дело, которое оказалось им по нраву. Их предки в древней Индии были лудильщиками и кузнецами, так что умение обращаться с металлом — в крови. Управлять кооперативом «варягов» не приглашали, обошлись своими «кадрами». Хотя, как признается председатель Михаил Михай, вести дела трудно, не хватает знаний.

— Вот бухгалтера пришлось приглашать со стороны,— говорит Михай.— Женщина она умная. Но не все в нашей жизни понять может...

Теперь в Усаде еще два цыганских кооператива. Но пока новый образ жизни не разрушил традиционных связей цыганского сообщества...

— Если вы табором живете, то у вас должен быть барон? — спросила я молодого цыгана.

— Барон у нас есть. Но он не может сейчас здесь быть. Год назад у него умер сын, и в их доме траур...

Барон усадских цыган, Роман Михайлович Югоносов, встретился с нами через полгода. Мы сели за большой обеденный стол, покрытый темно-вишневой бархатной скатертью. Роман Михайлович достал из серванта несколько цветных фотографий: европейского вида семейство на фоне добротного дома, виднеется блестящий капот «мерседеса».

— Отец мой был на фронте, воевал в югославском партизанском отряде, да так и остался в Европе. Жил в Польше. Но меня после войны все-таки разыскал. А потом и с братом этим шведским,— он показывает на главу семейства, смуглого красавца,— нашли мы друг друга. Сами знаете, когда много родных — жить легче... А я уже и жену, и сына потерял...

На закате дня мы отправились на усадское кладбище. Среди крепких невысоких сосен стоял стеклянный домик. А в домике — выложенное керамической плиткой нечто вроде саркофага над открытой глубокой могилой, которую видно в окошечко.

Там, в темной глубине, угадываются очертания гроба, где лежит жена цыганского барона. Припав к окошечку, Роман Михайлович постоял секунду-две у саркофага и уступил мне место. Я посмотрела в тяжелую глубь могилы и поняла, что никогда бы не смогла нести бремя такой памяти...

По дороге с кладбища мы разговорились о прошлом усадских цыган. Оказалось, что табор вышел из-под Калуги, где стоял в карьере у Полотняного завода. Их оттуда, мягко говоря, попросили вон, а куда идти, когда на носу зима, неведомо было. Роман Югоносов, будущий цыганский барон, отправился в Москву за правдой. Обив пороги немалого числа присутственных мест, получил разрешение за подписью, как мне с гордостью сказал, самого Ворошилова, чтобы их цыганскому табору выделили земельный участок. Получили они его под Усадом. На окраине вырыли себе землянки...

Теперь-то в цыганской слободе есть и кирпичные, и двухэтажные дома, украшенные деревянной резьбой. Преимущество оседлого жилья цыгане поняли сами и оставили кочевье. А нынче и новое дело нашли — без принудиловки и приказов.







ИНДЕКС 70820. 1 р. 65 коп.



Музыка для нас с тобой.



Сеанс медитации в Горячем ключе.



Импровизация в стиле блюз.



Жажда.